ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

*Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*

БИБЛИОТЕКА НАУЧНОГО СОЦИАЛИЗМА под общей редакцией Д. РЯЗАНОВА

# Г. В. ПЛЕХАНОВ

## СОЧИНЕНИЯ

ТОМ I

ПРЕДИСЛОВИЕ

Д. РЯЗАНОВА

ИЗДАНИЕ 3-е (21-35 тыс.)

###### ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гиз № 37876.  | Ленинградский Гублит №14650. | Тираж 15.000 |

Типография им. Володарского. Фонтанка, 57.

## Содержание

Предисловие редактора**3**

**СТАТЬИ ДО 1883 ГОДА**

ПЕРИОД НАРОДНИЧЕСКИЙ

Предисловие к первому тому первого издания Собрания сочинений **10**

**Корреспонденции.**

Каменская станица. («Земля и Воля» № 2) **17**

Каменская станица, (Письмо второе.) («Земля и Воля» № 3) **20**

С Новой Бумагопрядильни («Земля и Воля» № 2)**23**

С бумагопрядильной фабрики Кенига («Земля и Воля» № 3) **24**

Волнение в среде фабричного населения («Земля и Воля» № 4)**29**

Закон экономического развития общества и задачи социализма

в России («Земля и Воля» № 3)**38**

Поземельная община и ее вероятное будущее («Русское Богатство»,

январь, 1880 г.) **51**

**Статьи из «Черного Передела»:**

От редакции («Черный Передел» № 1) **72**

Черный Передел («Черный Передел» № 1) **74**

Передовая из «Черного Передела» № 1**82**

Передовая из «Черного Передела» № 2**85**

От редакции (по поводу Чигиринского дела) («Черный Передел» № 2) **89**

Заявление прежних издателей «Черного Передела» («Черный Передел» № 3)**91**

Письмо в редакцию «Черного Передела» («Черный Пере­дел» № 3)**92**

Об издании Русской Социально-Революционной Библиотеки (Женева, 1880 г.)**94**

Предисловие к русскому изданию «Манифеста Коммунистической

Партии» (Изд. «Соц.Рев. Библ.» 1882 г.)**102**

Воспоминания об А. Д. Михайлове («На Родине» № 3)**104**

Новое направление в области политической экономии

(«Отечественные Записки», ноябрь, 1881 г.)**114**

Экономическая теория Карла Родбертуса Ягецова («Отечественные Записки»

1882—1883 гг.)**146**

## ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Издание собрания сочинений Плеханова давно уже является настоятельной потребностью. Теперь, когда наши коммунистиче­ские университеты, партшколы и марксистские кружки втяги­вают десятки тысяч революционной молодежи, когда партийные съезды, один за другим, ставят в порядок дня развертывание ра­боты марксистского просвещения, сочинения марксистских клас­сиков, и в том числе сочинения Плеханова — до 1914 г. — могут явиться богатейшим источником для ознакомления с теорией, историей и практикой марксизма.

Вопреки многим нашим Невтонам, обогатившим от «своего ума» марксистскую литературу одними только глубоко или мелкомысленными словосочетаниями, Плеханов является не только блестящим популяризатором марксизма, но и одним из наиболее глубоких и самостоятельных учеников Маркса и Эн­гельса, если и не «дополнявшим», то всегда развивавшим их учение.

Более того. Когда Плеханов вырабатывал основы программы группы «Освобождение Труда», когда он сложившемуся мировоз­зрению революционной интеллигенции 70х годов противопоста­влял новое, марксистское, ему пришлось производить эту работу почти одному. Он, правда, имел в русской литературе таких пред­шественников, как Н. Зибер и H—он, облегчивших ему анализ русской экономической действительности с новой точки зрения. Но ни первый, сошедший преждевременно с литературного по­прища, ни, в особенности, второй не могли ему ничем помочь в деле разработки теории революционного марксизма и приложения ее к русской действительности. А в европейской марксистской ли­тературе, в период от 1882 до 1884 гг., когда русский марксизм сложился в своих главных очертаниях, Плеханов, среди учеников Маркса и Энгельса, почти не имел себе равного ни по разносто­ронности своих знаний, ни по глубине и силе теоретической мы­сли. Каутский тогда сам только что освободился от своих дарвинистских и мальтузианских увлечений и, под непосредственным влиянием Энгельса, все больше превращался в последовательного марксиста. А Лафарг, который, в ряде полемических статей, не­сомненно оказавших влияние на Плеханова, отстаивал в фран­цузской литературе принципы марксизма, не уступая Плеханову в разносторонности своих познаний, не всегда являлся выдержан­ным теоретиком.

Правда, как я уже заметил в другом месте, Плеханов, имев­ший тогда уже все шансы стать одним из наиболее видных *международных* теоретиков марксизма, ушел целиком в борьбу с на­родовольчеством и с народничеством. Вместо того, чтобы теоре­тически исследовать все вопросы, выдвигаемые развивающимся ка­питализмом и рабочим движением, ему приходится в течение не­скольких лет доказывать, что русский капитализм действительно существует и развивается, что он необходимо вызовет широкое рабочее движение, что социализм и политическая борьба не яв­ляются взаимно исключающими понятиями, что свой синтез они нашли в учении научного социализма.

В то время, как Плеханов все более и более вынужден был условиями своей деятельности сосредоточиваться на общих вопро­сах и утрачивал непосредственную практическую связь с револю­ционным движением в России, которое умирало, как народо­вольческое, но еще не успело возродиться, как рабочее, Каут­ский, наоборот, должен был тщательно разрабатывать все про­граммные вопросы, выдвигавшиеся многосложной практикой не­мецкого и международного рабочего движения.

Только со времени возрождения Интернационала, с начала 90х годов, а в особенности после Лондонского съезда 1896 г., на который русская делегация явилась уже после грандиозной за­бастовки петербургских ткачей, Плеханов выступает непосред­ственно на международную арену. В борьбе с ревизионизмом, когда против новоявленных «критиков» и всякого рода «допол­нителей» пришлось защищать самые основы марксизма, Плеха­нов сразу занимает первое место в рядах защитников марксизма, как диалектического материализма.

Во всей международной литературе марксизма, после Маркса и Энгельса, нет ни одного произведения, которое могло бы срав­ниться с философскими работами Плеханова по эрудиции или по блеску изложения. Эти его работы, обогатившие историю и теорию марксизма, вошли в инвентарь международной марксистской мысли и долго еще будут служить неиссякаемым источником по­учения для революционной молодежи всех стран.

И как раз то обстоятельство, что не все сочинения Плеха­нова являются одинаково «интернациональными», что многие из них носят явную печать своего «русского» происхождения, де­лает их особенно драгоценными для изучения истории развития русской общественной и революционной мысли последнего 50летия. Всякий русский марксист, не желающий быть Иваном Не­помнящим, должен внимательно изучать сочинения Плеханова, ибо это не только лучшее средство вработаться в основы мар­ксизма вообще, но и в историю русской революционной мысли в особенности.

Настоящее издание сочинений Плеханова ставит себе целью стать *полным.* Нам уже удалось — мне и моему главному сотруд­нику В. Ваганяну — собрать почти все произведения Плеханова за исключением нескольких статей в иностранных газетах и жур­налах. Все издание рассчитано на 26 томов, при чем последний том будет содержать, наряду с именным и предметным указате­лем, различные био ибиблиографические материалы, необходимые для изучения жизни, научной и публицистической деятельности Плеханова.

Мы не считали нужным держаться, при распределении мате­риала по отдельным томам, строго хронологического принципа. Всякая попытка размещать произведения Плеханова, в порядке их появления в печати привела бы только к ненужной перетасовке всего материала и разрыву тесно связанных между собою работ, т. е. в конце концов только затруднила бы изучение эволюции взглядов Плеханова.

А в его литературной деятельности ясно намечаются три пе­риода: первый, подготовительный, в течение которого Плеханов превращается из революционного народника в революционного марксиста (1878—1882 гг.); второй — от 1883 до 1914 — в течение которого основоположник русского марксизма, несмотря на раз­ные колебания, остается в революционных рядах, и третий — от 1914 до 1918 г., когда он расходится даже с меньшевиками и те­ряет почти всякую связь с рабочим движением.

Если для литературных произведений первого и третьего пе­риодов можно выбрать даже чисто хронологический принцип их опубликования, то для второго периода это было бы ненужные педантизмом. В то время, как для публицистических работ Пле­ханова сам собою диктуется метод распределение их по отдель­ным эпохам и в пределах каждой из них — в хронологическом по­рядке, для его философских, литературных, социологических ста­тей не менее настоятельно диктуется метод группировки по от­дельным темам.

Исходя из этих соображений, мы выработали следующий план издания сочинений Плеханова.

В первый том войдут статьи до 1883 г., охватывающие глав­ным образом *народнический* период литературной деятельности Плеханова, в течение которого он эволюционировал от револю­ционного народничества чрез «чистый» марксизм к революцион­ной социалдемократии.

Вторым томом начинается новый период. Он охватывает ра­боты 1883—1888 гг. — от основания группы «Освобождение Труда» до организации очень скоро распавшегося Русского социалдемо­кратического союза, — работы, в которых Плеханов дает блестя­щее обоснование марксистской программы в приложении к рус­ской действительности.

В следующих четырех томах (3, 4, 5 и 6) собраны работы, отно­сящиеся к периоду 1888—1894 гг. Организация «Народной Воли», после Лопатинского процесса, окончательно распалась. Попытки «молодых народовольцев» воскресить методы деятельности и об­новить программу старой «Народной Воли» терпят крушение. Кри­тика Плеханова медленно, но неотвратимо производит свое дей­ствие на новое революционное поколение. К этому времени отно­сится первая попытка создать крупный периодический журнал, в котором марксизм мог бы откликаться на все злобы дня, освещать с своей точки зрения «текущий момент». Пять томов «Социал-Де­мократа», в огромной своей части, заполняются Плехановым, вы­ступающим и в качестве экономиста, и в качестве философа, и в качестве литературного критика, внутреннего и иностранного обозревателя. Последняя книжка «Социал-Демократа» выходит в разгар «Всероссийского разорения», которое должно было по­служить гранью между эпохой революционных сумерек восьмидесятых годов и новой эпохой неудержимо развивавшегося мар­ксизма и рабочего движения.

Все разнообразные работы, напечатанные в пяти томах «Социал-Демократа», с прибавлением нескольких брошюр и памфле­тов, вышедших за тот же период, пришлось разделить по груп­пам: статьи на *русские темы* и статьи на *международные темы.* Кроме того, пришлось выделить в особую группу статьи о Черны­шевском, которым Плеханов занимался с особенной любовью и к которому он охотно возвращался почти до самой своей смерти. Пришлось сделать некоторые отступления от хронологического принципа, но о них и о мотивах, заставивших нас сделать это, мы поговорим подробнее в предисловии к соответствующим то­мам.

Пятилетие от 1895 до 1899 гг. было временем подъема рабо­чего движения и вторжения марксизма в легальную литературу. Для Плеханова это было повторением старых споров середины 80х годов, но в новой обстановке — вместо подпольной и зару­бежной литературы легальная и подцензурная — и с новыми про­тивниками — вместо Тихомирова и Лаврова — Михайловский и В. В. За границей основывается новый Союз русских социалдемокра­тов, а в России организуются союзы борьбы за освобождение ра­бочего класса, которые скоро выдвигают задачу организации Р.С.Д.Р.П. Плеханов в этот период принимает, сравнительно со старым временем, незначительное участие в русской нелегаль­ной литературе. Обоснование и защита диалектического мате­риализма как в русской, так и в иностранной печати, статьи и книги по истории материализма, по истории литературы, полемика снародничеством — все эти работы должны войти в томы 7, 8, 9 и 10, причем в последний том, опять-таки с нарушением хроно­логического принципа, отнесены и две первые статьи о беллетри­стах-народниках, написанные до 1892 г.

Период от 1899 до 1903 г., который начинается борьбой с ре­визионизмом в международной социалдемократии и с его рус­ской разновидностью, экономизмом, а также с русскими «крити­ками» — сначала почти без всяких помощников, а затем в союзе с группой «Искры» и «Зари» — и заканчивается вторым съездом и расколом, посвящены томы 11 и 12, в которых сгруппированы отдельно теоретические работы этого периода (том 11) и от­дельно же собраны в хронологическом порядке статьи Плеханова на специально русские темы от Vademecum'a до речей на втором съезде.

Тринадцатый том включает статьи из «Искры» и«Дневника», относящиеся к тому периоду после второю съезда и до первой ре­волюции, когда Плеханов разошелся с большевиками, чтобы по­литически занять место на правом крыле меньшевизма. В четырнадцатый том вошли статьи политературе и искусству, на­писанные до 1907 г.

Пятнадцатый том составлен из статей, писанных в эпоху первой революции (1905—1907 гг.), когда, в своем стремлении не забежать чересчур вперед, Плеханов выдвигает впервые идею коалиции с наиболее радикальными буржуазными партиями и ста­новится сотрудником «Товарища».

Со второй половины 1907 г. до второй половины 1909 г. Плеханов ведет страстную борьбу против различных новых тече­ний в революционном движении, против синдикализма и анар­хизма, а также против всяких уклонений от марксизма, против эмпириомонизма Богданова и богоискательства А. Луначарского. Эти статьи собраны в шестнадцатом и семнадцатом томах.

Расцвет ликвидаторства с конца 1909 г. послужил поводом для нового сближения Плеханова с большевиками и блестящей кампании в защиту подполья. Статьи эти войдут в 18й том, а в 19й — литературные статьи этого периода, — главным образом, статьи о Льве Толстом.

В последние годы своей жизни Плеханов больше всего ра­ботал над «Историей русской общественной мысли». Труд этот остался незаконченным. Он будет перепечатан в томах 20—22, а в 23м будут собраны статьи, которые вошли бы, вероятно, в пе­реработанном виде в следующие томы «Истории русской обще­ственной мысли».

Статьи социал-патриотического периода деятельности Пле­ханова составят главное содержание 24го и 25го томов.

Теперь о комментарии или примечаниях. Настоящее издание предназначается для читателей, имеющих уже известную подго­товку и навык к самостоятельной работе. Мы, поэтому, считаем совершенно излишним детальный справочный комментарий, ста­вящий себе целью избавить читателя от всяких поисков в энциклопедических словарях или, что еще менее целесообразно, пред­полагающий совершенно невежественного читателя, который не имеет никакого представления ни об эпохе, когда писались глав­ные произведения Плеханова, ни о темах и предметах, обсуждае­мых им. Как бы ни были детальны такие примечания — они всегда грозят в таких случаях превратиться в старый подстроч­ный комментарий к латинскому или греческому автору, предна­значенный для школяров, — они не могут избавить читателя от необходимости прежде, чем приступить к *изучению* сочинений Плеханова, познакомиться подробно с историей России XIX столе­тия и в особенности России после крымской войны. В этом отно­шении предварительное знакомство с «Русской историей» М. По­кровского, с «Историей России в XIX веке» в издании бр. Гра­нат, с главными работами по истории революционного движения в России, даст читателю несравненно больше, чем педантиче­ский и докучливый подстрочный комментарий.

Конечно, наряду с этим собранием сочинений Плеханова, придется издать ряд отдельных его работ, — а среди них имеются написанные так популярно, что они могут быть легко поняты и мало подготовленным читателем — с особыми предисловиями и примечаниями, — изданий, специально приспособленных для студен­тов наших партшкол и коммунистических университетов.

Читателя, которого приходится водить на помочах, все равно не заставишь прогуляться по собранию сочинений, состоя­щему из 26 томов.

Мы думаем, поэтому, кроме библиографических указаний, ограничиться только наиболее необходимыми примечаниями и разъяснениями в тех случаях, когда, по нашему мнению, ни в боль­ших русских энциклопедиях, ни в соответствующей специальной литературе читатель или совсем, не найдет, или с большим тру­дом найдет нужную справку или объяснение какого-нибудь «тем­ного» места. Чтобы не задерживать выхода отдельных томов, все эти примечания и разъяснения будут отнесены в последний том, в котором, как уже сказано выше, будет дан общий предметный и именной указатель ко всем сочинениям Плеханова.

Несколько слов специально о первом томе. Он отличается по содержанию от первого тома, как его издал сам Плеханов в 1905 году и как он был переиздан в «Библиотеке научного социа­лизма», которая должна была выходить под моей редакцией. Он состоял из двух частей, из которых первая охватывала народни­ческий период развития Плеханова, от 1878 г. до 1883 г., а вто­рая — его первые социалдемократические работы. Я сохранил это разделение и, в отступление от хронологического принципа, оставил предисловие, написанное в 1905 г., потому что оно пред­ставляет комментарий самого автора к его сочинениям от 1878 до 1885 гг. Правда, комментарий весьма субъективный, на котором сильно отразился момент, когда его, писал Плеханов. Даже в 1878 г. он не был таким бакунистом, — и это отличало его уже тогда от Аксельрода и в особенности от Дейча, — каким он себя изображает в этом предисловии. Еще менее это можно сказать о Плеханове 1880—1881 гг., когда он уже был «экономическим материалистом».

Если Плеханов уже тогда питал «великое уважение к мате­риалистическому объяснению истории», то вряд ли он вынес его из сочинений Бакунина. Последний, правда, уже знал, что Маркс «сказал и доказал ту несомненную истину, подтверждаемую всей прошлой и настоящей историей человеческого общества, народа и государств, что экономический факт всегда предшествовал и предшествует юридическому и политическому праву, что в изло­жении и в доказательстве этой истины состоит именно одна из главных научных заслуг Маркса», но уже из самой формулировки видно, как плохо понимал апостол разрушения диалектический метод Маркса. Гораздо отчетливее и гораздо раньше излагал в русской литературе «экономический материализм» и с немень­шими комплиментами по адресу Маркса и Энгельса главный тео­ретик русского бланкизма — П. Ткачев.

Несравненно большее влияние имел на Плеханова тот русский марксист — Н. Зибер, — которого он сам называет в своей первой программной статье «одним из талантливейших учеников и по­пуляризаторов Маркса»[[1]](#footnote-1). Когда Плеханов в этой своей первой теоретической статье говорит об «общественной кооперации», о ее различных формах, о «капиталистической продукции», мы узнаем терминологию тогдашних статей Зибера. Самая поста­новка вопроса указывает уже на сильное влияние «материалисти­ческого объяснения истории».

И непосредственно по следам Зибера идет Плеханов в своей статье «Поземельная община и ее вероятное будущее», которая теперь впервые перепечатывается. Если, действительно, обществу не может перескочить через естественные фазы своего развития, когда оно напало на след естественного закона этого развития,— а Плеханов признает это положение уже в 1878 г., — если западноевропейские общества напали на этот роковой след «именно тогда, когда пала западноевропейская община», то для России этот вопрос решается в связи с решением этого основного вопроса: несет ли русская община в себе самой элементы своей погибели? Ибо «пока за земельную общину держится большин­ство нашего крестьянства, мы не можем считать наше отечество ступившим на путь того закона, по которому капиталистиче­ская продукция была бы необходимою станцией на пути его прогресса». И Плеханов доказывает в своей статье, что, вопреки М. Ковалевскому, разложение общины вообще и русской в част­ности вызывается не внутренними самопроизвольными причи­нами, не неизбежным, процессом индивидуализации имуществен­ных отношений, а чисто внешними причинами, посторонними, вра­ждебными для общины влияниями. Плеханов не закрывает глаза на то обстоятельство, что при известной комбинации отрицательных влияний разрушение общины неизбежно, но он все же считает еще возможным и такую комбинацию условий, при которых об­щина, напротив, стала бы развиваться и расти. Ответ в сущности сводится к ответу Маркса и Энгельса, который они дали в пре­дисловии к русскому изданию Коммунистического Манифеста в 1882 г.: «Если русская революция послужит сигналом рабочей революции на Западе, так что обе они пополнят друг друга, то современное русское землевладение может явиться исходным пунктом коммунистического развития».

В духе опять «материалистического объяснения истории» Плеханов выдвигает свою теорию причин возникновения в перво­бытных обществах частной собственности на движимость. Эти причины он видит в свойствах первобытных орудий и обусловли­ваемой ими организации труда.

Эта же статья показывает, как ошибался Плеханов в 1905 г., когда писал, что взгляды его на сельскую общину, вы­сказанные им в 1883 г., являлись, в той форме, в которой они были выражены, результатом его теоретической уступчивости предрассудкам народничества. В действительности эти взгляды — в осо­бенности взгляд на исторические условия возникновения сель­ской общины — подвергались значительным изменениям, и пере­печатываемая статья является новым доказательством, что взгля­ды, высказанные Плехановым в1883 г., представляют только дальнейшее развитие взглядов 1880 года. Под оболочкой чернопеределъчества постепенно назревали новые марксистские формулировки.

В этом отношении особенно характерно письмо Плеханова, помешенное в № 3 «Черного Передела», но не перепечатанное им в 1905 г. В нем социализм определяется, как «теоретическое выражение, с точки зрения интересов трудящихся масс, антаго­низма и борьбы классов в существующем обществе», а главной практической задачей революционной деятельности считается «организация рабочего сословия, указание ему путей и способов его освобождения». Это уже социально-демократическая програм­ма, по своей определенности почти ничем не уступающая тогдаш­ней немецкой программе, и стоящая значительно ниже только программы тогдашней французской рабочей партии.

Письмо Плеханова составляет естественный переход к предисловию, которое он предпослал своему переводу «Коммунистиче­ского Манифеста», так и к статьям о «Новом направлении в обла­сти политической экономии» и в особенности к статьям о Родбертусе.

Мы поместили последние статьи в первом томе, потому что без них непонятны были бы частые ссылки на Родбертуса впер­вых же социал-демократических произведениях Плеханова, — в «Социализм и политическая борьба» и в «Наших разногласиях», где он местами повторяет свою аргументацию против Родбер­туса, а раз даже прямо указывает, что об этом вопросе говорил уже в «другом месте» и только осторожности ради, чтоб не повредить легальному журналу, не цитирует своих статей в «Отече­ственных Записках».

Работа о Родбертусе представляет еще громадный интерес и потому, что она показывает, как путем критики этого выдаю­щегося экономиста, которого тогда немецкие катедер-социалисты противопоставляли Марксу, Плеханов вырабатывал свои собствен­ные экономические взгляды, как, анализируя и вскрывая все раз­личия между теориями Маркса и Родбертуса, он углублял и уточнял свое понимание основ марксизма. Если прибавить, что эта работа Плеханова была написана до выхода в свет второго тома «Капитала», до появления статей Энгельса и Каутского о Род­бертусе, что он имел перед собою только статьи Зибера («Юри­дический Вестник», 1881 г., №№ 1—3), то значение ее становится еще больше. Сравнение критики Плеханова с критикой Энгельса и Каутского — интересная тема для всякого исследователя эволю­ции взглядов Плеханова — дает любопытный материал для опре­деления степени идейной самостоятельности и оригинальности основоположника русского марксизма.

В первый том вошло почти все, написанное Плехановым за 1878—1883 гг. Упоминаемые О. Аптекманом[[2]](#footnote-2) прокламации: «К русскому обществу» (по поводу покушения Засулич), «Адрес Палену от учащейся молодежи» и «Воззвание к славному войску донскому», нам не удалось достать. Корреспонденции, которые Плеханов печатал в легальной газете «Новости» о волнениях на фабрике Торнтона[[3]](#footnote-3) будут напечатаны в третьем томе, как при­ложение к его статьям о «Русском рабочем в революцион­ном движении».

*Д. Рязанов.*

Ноябрь 1922 г.

.

### СТАТЬИ ДО 1883 ГОДА

## ПЕРИОД НАРОДНИЧЕСКИЙ

## Предисловие к первому тому первого издания Собрания сочинений.

В этот первый том моих сочинений входят, между прочим, и те, которые относятся ещё к народническому периоду моего развития и ко­торые были напечатаны в свое время, главным образом, в «Земле и Воле» и «Черном Переделе». Пусть читатель не удивляется, поэтому, если на первой сотне страниц этого тома он встретит взгляды, не вяжу­щиеся с моим нынешним миросозерцанием, т. е. с марксизмом. Но пусть не удивляется он также, если я прибавлю к этому, что основная мысль, лежавшая в моих народнических взглядах, — при всем несходстве этих взглядов со взглядами марксистов, — не так далека, как это может показаться на первый взгляд, от основной идеи марксизма, и что мое нынеш­нее миросозерцание представляет собой не более, как логическое раз­витие основной мысли, увлекавшей меня уже тогда, когда я работал в органах революционного народничества. Дело тут вот в чем.

Современные анархисты относятся, как известно, весьма отрица­тельно к *материалистическому объяснению истории.* Оно кажется им одной из ошибочных и вредных «догм» марксизма. Не так смотрел на этот вопрос один из основателей современного анархического учения, покойный М. А. Бакунин. В своих сочинениях (в книге *«Государствен­ность и анархия»,* вполемике с Мадзини, если память мне не изменяет, в брошюрке *«Наука и насущное революционное дело»*),он называл теорию исторического материализма великим открытием и неоспоримой заслугой автора *«Капитала».* Такое отношение Бакунина к этой теории разделялось первоначально и многими его учениками. В народнический период моего развития, я, — как и все наши народники, — находился под сильным влиянием сочинений Бакунина, из которых я и вынес великое уважение к материалистическому объяснению истории. Я уже тогда был твердо убежден в том, что именно историческая теория Маркса должна дать нам ключ к пониманию тех задач, которые мы должны решить в своей практической деятельности. Читатель легко убедится в этом, про­читав мою статью; *«Закон экономического развития общества и задачи социализма в России»,* напечатанную в № 3 *«Земли и Воли»* и зани­мающую в этом томе стр. 56—74, а также мои статьи, появившиеся первоначально в № 1 и 2 *«Черного Передела»* и занимающие в этом томе стр. 108—136. В одной из этих статей я категорически говорил, что «эко­номические отношения в обществе признаются нами основанием всех остальных, коренною причиною не только всех явлений политической жизни, но и умственного и нравственного склада его членов» (см. стр. 114 этого тома). Это уже несомненный марксизм. Но этот марксизм достиг до моего сознания, пройдя сначала через призму бакунинского учения, и потому он приводил меня к несостоятельным утопическим *выводам.* Какие же это были выводы? Те самые, которые делал Бакунин из мате­риалистического объяснения истории. Он рассуждал, как известно, так: если *политические* отношения всякого данного общества основываются на его *экономических* отношениях, то «политика» ни в каком случае не может служить средством освобождения пролетариата; занимаясь «политикой», социалисты изменяют делу рабочего класса, который мо­жет свергнуть иго капитализма только путем *экономической* революции. На основании этого соображения, Бакунин и его последователи горячо и упорно восставали против того параграфа в уставе Международного Товарищества Рабочих, который гласит, что *политическая борьба должна служить средством достижения великой цели современного сознатель­ного пролетариата.* Я, разумеется, не могу приводить здесь все те до­воды, которые выдвигались бакунистами против этого параграфа: интересующийся ими читатель найдет их в известном «Mémoire de la Fédé­ration jurassienne»; мне же достаточно сказать, что мы, русские народ­ники, считали эти доводы неотразимыми, и сами горячо и упрямо осу­ждали всякую «политику».

Споры, происходившие в народническом обществе «Земля и Воля» около времени его распадения, целиком вертелись вокруг этой мысли о негодности «политики», как средства освобождения «трудящихся». Те из нас, которые продолжали признавать правильность этой мысли, сгруп­пировались вокруг газеты *«Черный Передел»*;те же, которые стали отно­ситься к ней отрицательно, сложились в «Партию Народной Воли». Так как бакунинское отрицание «политики» несомненно было неоснова­тельно и происходило из непонимания того, что в процессе обществен­ного развития, — как и во всяком другом процессе, — причина является следствием, а следствие, в свою очередь, становится причиной, то «народовольское» отрицание отрицания, т. е. отрицание народовольцами мысли о вреде «политики», было совершенно правильно и являлось большим шагом вперед в истории нашей революционной мысли, как я это открыто признал еще в брошюре «Социализм и политическая борьба», воспроизведенной на 25—88 стр. II тома. Но слабая сторона «народо­волъской» теории состояла в том, что они, по немецкому выра­жению, вместе с водой выплескивали из ванны и ребенка: в борьбе с бакунинским отрицанием политики они зашли так далеко, что стали отрицать также и лежавшую в основе этого отрицания совершенно правильную, но плохо понятую Бакуниным и народниками теорию исто­рического материализма. Издававшаяся в России газета *«Народная Воля»* не раз обнаруживала большую симпатию ко взглядам Дюринга, который считает политическую силу основным двигателем историче­ского развития. Это была огромная ошибка, которая не замедлила нало­жить свою печать на все политические взгляды и на всю политическую деятельность народовольцев. Эта ошибка помешала им понять, что сила и значение всякой данной политической *партии* обусловливается силой и значением того общественного *класса,* интересы которого она пред­ставляет и защищает. А не понимая этого, народовольцы не сумели возвыситься и до понимания того, что наиболее революционная точка зрения нашего времени есть классовая точка зрения пролетариата. Народовольцы не пошли дальше бланкизма, распространение идей кото­рого было облегчено литературной деятельностью покойного П. Тка­чева в середине семидесятых годов. Но точка зрения бланкизма, это — точка зрения *заговора.* Партия «Народной Воли» в самом деле была не более, как тайной организацией заговорщиков, пользовавшейся боль­шими симпатиями со стороны так называемого *общества* и по временам заводившей коекакие связи с *рабочими,* но главные свои упования воз­лагавшей на революционную *интеллигенцию.* С этой стороны «народо­вольство» было *большим шагом назад* сравнительно с народничеством, которое, при всех своих ошибках, имело всетаки ту заслугу, что твердо помнило первый параграф устава Интернационала: *освобождение рабо­чих должно быть делом самих рабочих[[4]](#footnote-4)*. Правда, народники весьма своеобразно истолковывали этот параграф. Сообразно *крестьянскому* характеру того «народа», который они хотели освобождать, определен­ное понятие: *рабочие* заменилось у них весьма расплывчатым понятием: *трудящиеся.* Но, как бы там ни было, они всетаки стремились возбуждать революционную самодеятельность народной *массы,* и в этом отно­шении стояли несравненно выше народовольцев.

Чтобы устранить и ту, и другую односторонность, чтобы исправить ошибки как народников, так и народовольцев, необходимо было, вопер­вых, отвести политической борьбе надлежащее место в нашей револю­ционной программе, а, вовторых, суметь связать эту борьбу с основ­ными положениями правильно понятого научного социализма. Попыт­кой решения этой, самой насущной тогда для нас, задачи и была моя брошюра *«Социализм и политическая борьба».*

Эпиграфом для этого своего сочинения я взял слова Маркса: «Вся­кая классовая борьба есть борьба политическая». Этими словами я хотел напомнить *народникам* о том, что заниматься «политикой» вовсе еще не значит изменять интересам «трудящихся»; и теми же самыми сло­вами я хотел поставить *народовольцам* на вид, что их политическая борьба будет плодотворной и победоносной только в том случае, если она станет *классовою* борьбой. Таким образом точке зрения «интелли­гентных» *заговорщиков* была противопоставлена мною точка зрения *рабочего* класса. Само собою разумеется, что заговорщикам это понра­виться не могло, и совершенно понятно, что моя брошюра послужила поводом к полемике между мной и главным тогда публицистом «народо­вольства», ныне в реакции почивающим г. Л. Тихомировым.

Так же понятно и то обстоятельство, что наш *политический спор* тотчас же перешел на *экономическую почву.* Чтобы отстоять свою точку зрения *заговорщика,* г. Л. Тихомиров сделал попытку показать несо­стоятельность моей *классовой* точки зрения. С этой целью он пустился доказывать, что у нас разделение общества на классы зашло пока еще не далеко, что буржуазия наша совершенно бессильна, что рабочих у нас всего 800.000 и т. п. Словом, в споре со мной главный народоволь­ческий публицист окончательно вдался в те историкосоциологические рассуждения, к которым так охотно прибегали некогда славянофилы в своих литературных стычках с западниками. В самом деле, наши сла­вянофилы имели довольно точное понятие о борьбе классов: не даром же исторические взгляды многих из них складывались под сильным влиянием буржуазных историков «гнилого» Запада. Даже Погодин совершенно определенно высказывался в том смысле, что западноевропейское общество было историческим продуктом многовековой классовой борьбы, и что в более или менее близком будущем классовое господство *буржуазии* должно рухнуть под напором *пролетариата.* Но наша история шла, по мнению Погодина, совсем не так, как западная: у нас не было классов, не было классовой борьбы, и то, что на Западе достигается классовой борь­бой, будет достигнуто у «ас благодаря мудрому действию верховной вла­сти. Революционные теоретики, вроде г. Тихомирова, почти целиком раз­деляли эту погодинскую философию русской истории, внося в нее лишь одну поправку: они объявляли, что наше общественное развитие соверша­лось и будет совершаться *вопреки* царской власти и благодаря здоровым инстинктам *народа* и прогрессивным стремлениям *интеллигенции.* Вот по­чему между тем, как славянофилы, вроде Погодина, приурочивали все свои упования на счастливое будущее к действиям *царского правитель­ства,* революционные публицисты, вроде г. Тихомирова, всего ждали от действия *интеллигентных заговорщиков.* Но чем больше эти публицисты усваивали себе, — хотя и бессознательно, — существенное содержание славянофильской философии русской истории, тем более *взгляды их* утрачивали всякий революционный характер и тем более их революцион­ные *«идеалы»* становились плодом простого и переходящего *настроения.* Это лучше всего видно на примере самого г. Л. Тихомирова: пока он сохранял свое революционное настроение, он оставался, — как я называл его *еще* в то время, — *взбунтовавшимся славянофилом,* а когда бунтов­ское настроение у него улетучилось, он поспешил войти в ту мирную гавань, в которой он почивает по сие время. Да и один ли г. Л. Тихоми­ров пережил подобное превращение?

Г. Л. Тихомиров обрушился на социалдемократические взгляды группы «Освобождение Труда» в статье *«Чего нам ждать от револю­ции?»,* напечатанной во второй книжке «Вестника Народной Воли». Я ответил ему в книге *«Наши разногласия»* (см. стр. 89 и след. II тома). Теперь может, пожалуй, показаться странным, что я счел нужным отве­тить на его статью целой книгой. Но в борьбе с г. Тихомировым я дол­жен был перейти в наступление, а перейдя в наступление, я немедленно очутился в Авгиевых стойлах экономических предрассудков народниче­ства, в которых мне поневоле пришлось замешкаться довольно долго. В примечании ко второму изд. «Наших разногласий», в конце, я говорю о том, кчему свелись те возражения, которые были сделаны мне редак­цией «Вестника Народной Воли». Здесь я прибавлю только, что мне было до последней степени неудобно писать за границей об экономических отношениях России: недостаток литературного материала страшно сте­снял меня буквально на каждом шагу. Тем не менее, я смею утверждать, что дальнейший ход экономического развития России как нельзя лучше подтвердил все то, что я сказал об этом предмете в своей книге.

Один из «народовольцев» признавался мне, года три спустя после выхода моей книги, что, прочитав ее, он принял меня за человека, про­давшегося царскому правительству. Ему надо было лично познакомиться со мной, чтобы убедиться в неосновательности своего предположения. Это достаточно характеризует прием, оказанный моей книге сторонни­ками старых воззрений в нашей революционной среде...

На этом останавливаться не стоит; полезнее будет сделать здесь следующие пояснения.

Когда я понял, к каким политическим выводам должно приводить правильно понятое материалистическое объяснение истории, и когда я стал марксистом, я понял также и то, что душу марксизма составляет его *метод.* Я с восторгом читал и перечитывал слова молодого Энгельса в «Deutsch-Französische Jahrbücher»: «Еще очень несовершенна та общественная философия, которая выдает дватри положения за свой ко­нечный результат и предлагает «Морисоновы пилюли». Нам не так нужны голые результаты, как *изучение.* Результаты без развития, кото­рое ведет к ним, — ничто: это мы знаем уже со времен Гегеля. А резуль­таты, которые фиксируются, как неизменные, и не кладутся в основу дальнейшего развития, хуже чем бесполезны». Поэтому и я не столько дорожил нашими тогдашними *«результатами»,* — т. е. практической про­граммой группы «Освобождение Труда», — сколько *методом* марксизма, его *точкой зрения,* огромные преимущества которой мне хотелось выяс­нить «русским социалистам». Я совершенно искренно говорил в своем от­крытом письме к П. Л. Лаврову: «Будущее нашей группы кажется Вам сомнительным. Я сам готов сомневаться в нем, поскольку речь идет о на­шей группе как таковой, а не о тех воззрениях, которые она пред­ставляет» (см. стр. 101 тома II). Под воззрениями я разумел здесь именно теорию Маркса, рассматриваемую с точки зрения ее метода. Еще лучше видно это из следующих строк:

«Мы указываем нашей социалистической молодежи на марксизм, эту алгебру революции... эту «программу», научающую своих привер­женцев пользоваться каждым шагом общественного развития в интере­сах революционного воспитания рабочего класса. И я уверен, что рано или поздно наша молодежь и наши рабочие кружки усвоят эту един­ственную революционную программу. *В этом смысле* будущее нашей группы вовсе не сомнительно»... (стр. 104 тома II).

Наконец, в полном согласии с моим предпочтением метода резуль­татам, я прибавлял:

«Повторяю, между самыми последовательными марксистами воз­можно разногласие по вопросу об оценке современной русской действительности. Поэтому мы ни в каком случае не хотим прикрывать свою программу авторитетом великого имени. К тому же, мы наперед готовы признать, что она заключает в себе многие «недостатки и непрактич­ности», как всякий первый опыт применения данной научной теории к анализу весьма сложных и запутанных общественных отношений. Но дело в том, что ни я, ни мои товарищи не имеем пока окончательно вы­работанной и законченной от первого до последнего параграфа про­граммы. Мы только указываем нашим товарищам *направление,* в кото­ром нужно искать решения интересных им революционных вопросов; мы только отстаиваем верный и безошибочный критерий, с помощью кото­рого они смогут, наконец, сорвать с себя лохмотья революционной мета­физики, почти безраздельно господствовавшей до сих пор над нашими умами; мы только доказываем, что наше революционное движение не только ничего не потеряет, но, напротив, очень много выиграет, если русские народники и русские народовольцы сделаются, наконец, рус­скими марксистами, и новая, высшая точка зрения примирит все суще­ствующие у нас фракции (эти строки взяты из брошюры «Социализм и политическая борьба»). Наша программа еще должна быть закончена и закончена там, на месте теми самыми кружками рабочих и революцион­ной молодежи, которые станут бороться за ее осуществление. Поправки, дополнения, улучшения этой программы совершенно естественны, неиз­бежны, необходимы, Мы не боимся критики, а ожидаем ее с нетерпением, и уж, конечно, не станем, как Фамусов, затыкать перед нею уши. Пред­ставляя действующим в России товарищам этот первый опыт программы русских марксистов, мы не только не желаем соперничать с «Народной Волей», но ничего не желаем так сильно, как полного и окончательного соглашения с этой партией. Мы думаем, что партия Народной Воли *обязана* стать марксистской, если только хочет остаться верной своим революционным традициям и желает вывести русское движение из того застоя, в котором оно находится в настоящее время».

При таком отношении к делу мы не могли не быть уступчивыми в том, что касалось *частностей.* Наиболее ярким примером нашей уступ­чивости может служить то, что было сказано мною в брошюре «Социа­лизм и политическая борьба» по вопросу об общине. Для меня уже тогда совсем не было сомнения в том, что наша сельская община не обладает никакой внутренней силой, необходимой для ее перехода «в высшую форму общежития», как выражались народники. Но в то время, когда я писал названную брошюру, — т. е. летом 1883 года, — я готов был не то что отказаться от моего взгляда, на это я, разумеется, никогда не согласился бы, а не высказывать его в печатной полемике до тех пор, пока вопрос об общинном землевладении не подвергнется новому пере­смотру с *точки зрения марксизма.* И я даже напоминал своим читателям о том, что вопреки уверениям народников, — которые искали в марксизме именно только «Морисоновых пилюль», не замечая его метода, — Маркс нигде не давал разнавсегда готового и закостеневшего ответа на этот вопрос. К сожалению или к счастью, это мое сдержанное отношение к предмету ничему не помогло и ничего не облегчило. Из статьи г. Л. Ти­хомирова я увидел, что наши противники не только не понимают его, но и не хотят понять, а следовательно, и никогда не поймут. Поэтому в «Наших разногласиях» я заговорил уже другим языком. Но что и там я не был таким неуступчивым, каким меня сочли многие и многие чита­тели, это видно из сказанного мною там же о «терроризме». Я говорил, что мы «нисколько не отрицаем важности террористической борьбы, ко­торая естественно выросла из наших социальнополитических условий и так же естественно должна способствовать изменению их в лучшую сторону». В таком же духе высказывалась и написанная мною в конце 1883 г. «программа социалдемократической группы Освобождение Труда»[[5]](#footnote-5)*.* Так как впоследствии я стал, как говорят у нас, «отрицать террор», то мои противники высказывали ироническое сожаление о том, что я не остался при моем старом взгляде на него. Но тут они забывали то, чего забывать не следовало. Поскольку у меня в «Наших разногла­сиях» речь шла о рабочих кружках и об «интеллигентах», посвящавших им *свои* силы, я и там не одобрял террора, по той простой причине, что мой предварительный революционный опыт показал мне, как сильно и быстро расстраивается, — благодаря террористическим увлечениям дея­телей, всякая организационная и агитационная деятельность в рабочей среде. Я и тогда хотел, чтобы «чаша сия» миновала то, что я называл «элементами» будущей нашей рабочей партии.

«Есть другие слои населения, — говорю я в этой книге, — которые с гораздо большим удобством могут взять на себя террористическую борьбу с правительством. Но помимо рабочих нет другого такого слоя, который в решительную минуту мог бы повалить раненое террористами политическое чудовище».

Но «элементы будущей рабочей партии» составляли тогда очень мало заметное и очень слабое меньшинство в нашей революционной среде. И не к ним и обращалась моя речь о «терроре». Она обращалась к тому *большинству,* которое свысока смотрело на «занятия с рабо­чими» и видело в «терроре» самый важный прием борьбы с царизмом. Я прекрасно знал, что это большинство, взятое в его целом, никогда не перейдет на точку зрения пролетариата, и что, поэтому, если бы оно от­казалось от увлечения террором, — на что рассчитывать тоже было тогда совершенно невозможно, — то оно сосредоточило бы свою деятельность на совершенно уже бесплодных попытках «захватить власть». При та­ком их настроении нельзя было не считать «террор» наиболее произво­дительной затратой сил *этой части нашей тогдашней «социалистиче­ской» партии.* При том же моя уступчивость на счет предмета, по отно­шению к которому неуступчивость была бы во всех смыслах бесплодной, позволяла мне ожидать некоторой уступчивости со стороны, по крайней мере, некоторых народовольцев по вопросу о марксизме вообще и о «занятиях с рабочими» в частности. Стало быть, мне нужно было усту­пать, и я уступал, можно сказать, до последнего предела.

Но скоро обстоятельства изменились: настроение «интеллигентных» революционеров сделалось иное, да к тому же становилось все более и более очевидно, что и *«ранить»то* царизм скольконибудь серьезно мо­жет *только рабочий класс,* которому *неудобно* заниматься террором. Вот почему я счел своим политическим долгом предостеречь нашу на­рождавшуюся социалдемократию от «террористических» увлечений. И я был бы очень рад, если бы меня убедили в том, что моя литературная деятельность не осталась без влияния с этой стороны. Но и это не зна­чит, что я безусловно «отрицал» и «отрицаю террор». Повторяю, обсто­ятельства меняются, а террор — не принцип. Может быть, скоро придет такое время, — когда я не менее энергично стану высказываться в *пользу террора.*

«Терроризм» — *не принцип,* а только прием борьбы. И когда я стану говорить *за* террор, тогда меня, пожалуй, опять упрекнут в противоре­чии; но те, которые упрекнут меня в нем, только покажут, что они спо­собны усваивать лишь мои «пилюли», по необходимости изменяющиеся с изменением обстоятельств, — и не могут усвоить себе тот *метод,* кото­рый помогает мне понять *общий исторический смысл этих обстоятельств.*

Впрочем, об этом мы поспорим, если будет нужно, впоследствии, а теперь я хочу заметить еще вот что. Есть люди, одновременно упрекаю­щие меня за то, что я был слишком уступчив по отношению к партии, «господствовавшей» в начале восьмидесятых годов, и за то, что я стал спорить с ней, т. е. за то, что я выказал неуступчивость. Такая манера драть с одного вола две шкуры решительно противоречит всем правилам потоки; лучше держаться какогонибудь одного из этих двух упреков.

Если же кого интересует вопрос о размерах моей уступчивости (или неуступчивости), то я скажу, *что я ни уступчив, ни неуступчив.* Я — просто человек, преследующий известную цель и твердо решившийся употреблять для ее достижения такие приемы, которые в данный момент кажутся мне наиболее действительными.

Хочется мне еще напомнить, что те споры, которые нам, маркси­стам, пришлось вести с народниками и с «субъективистами» в девяно­стых годах были в своей сущности лишь повторением того спора, ко­торый я вел в «нелегальной» литературе с г. Л. Тихомировым. Позиции борцов остались те же; только арена сделалась шире.

Еще два слова в заключение. Лассаль говорит в своей статье о Лессинге: «Всякое революционирование внешней действительности само остается внешним и теряется в песке, если духу не удается так же спра­виться с исторически унаследованным внутренним содержанием, про­вести свой новый принцип через все инстанции и области и все их за­ново построить на основе этого принципа». С тех пор, как я правильно понял марксизм, я всегда считал, что революционер изменяет самому себе и своему *«новому принципу»,* если ограничивается одним «внешним *революционированием».* Этим и объясняется мое будто бы излишнее при­страстие к *полемике,* этим объясняется также мой «догматизм», заста­вляющий меня решительно восставать против всяких попыток *«соеди­нить Маркса»* с тем или другим из *идеологов буржуазии* или из *социа­листовутопистов.*

*Г. Плеханов.*

Флюэлен. 26 августа 1905 года.

## Корреспонденции.

## Каменская станица.

Вся русская история представляет не что иное, как непрерывную борьбу государственности с автономными стремлениями общины и лич­ности. Борьба эта тянется красною нитью через все 1000летнее суще­ствование русского государства, принимает самые различные формы — от восстания Стеньки и Пугачева до возведения бегства от властей и полного отрицания государственности в религиозный догмат. Эта борьба на жизнь и смерть между двумя противоположными принципами отнюдь не прекращается и в настоящее время. Удалось ли государству внушить крестьянину другие привычки, другие стремления, можно ли опираться революционной партии на эти, повидимому, задавленные стремления к автономии общины и личности — это вопрос другой; я же в настоящем письме хочу только описать один из эпизодов этой борьбы — эпизод, имеющий тем больший интерес для читателя, что он совершается на на­ших глазах. Я говорю о волнениях донских казаков по поводу введения новых правил пользования общественными лесами. Правила эти состоят в следующем. Лес делится большими просеками на 30 равных участков. Рубка может происходить ежегодно только в одном из них. Воспрещается пасти в лесу скот. Вводится правильный сбор лесных плодов. Каждый казак имеет право только на определенное количество леса, между тем как до сих пор каждый казак пользовался всем, «куда топор и коса хо­дили». Недоверие казаков, как и всего народа, к его земским опекунам таково, что вопрос о том, целесообразны или нет предлагаемые меры, вовсе и не поднимался, и только те станицы, в которых преобладали степные хутора, согласились подписать приговор об отдаче леса под зем­скую опеку, лесные же почти все протестовали.

Особенно упорно держалась и держится Луганская станица Донецкого округа. Эта станица со своими хуторами окружена со всех сторон лесами. Удобные места для пастьбы окота отстоят верст на 15 от нее, и, разумеется, гонять скот так далеко очень неудобно, особенно, когда грозит еще перспектива постоянных штрафов. «Вышла свинья за во­рота — она уж в лесу: вот тебе и потрава» — говорят казаки, и всякий знакомый с местностью вполне согласится с ними. Но не одни только эти неудобства заставляют протестовать против отдачи леса. Вековое недоверие народа к правительству таково, что, вслед за известием об «отнятии» лесов, пошли толки о том, что тамде пойдут отбирать озера, а после «хоть ложись да помирай».

Одна казачка, на станичном сборе, даже сравнила земство с парнем, который сулит девке золотые горы, покуда не добьется своего, а потом кругом обманывает ее.

Казаки, назначенные атаманом прокладывать просеки в лесу, отка­зались, по желанию всей Луганской станицы, выйти на работу. Из Чер­касска наехало разное начальство, в том числе какойто генерал, кото­рый хвастался перед казаками, что усмирял в 1861 г. бунтовавших крестьян. «Мы тебе не мужики!» — отвечали на это казаки. На одном из сбо­ров, урядники, по приказанию начальства, стали было записывать наиболее восстававших против отдачи леса. Но это заметили казачки, ко­торые вообще очень интересуются общественными делами, — кинулись на урядников и принялись их бить на глазах у начальства, которое бро­силось бежать из станичного правления.

Началось было следствие по этому делу, но станица заявила, что «били все». Несколько раз потом приказывали казакам выезжать для рубки просек в лесу, и ни разу они не послушались.

Приказано было собрать новый сход; но едва кончилась обедня, и атаман вышел из церкви, как его окружила толпа казаков, послышались ругательства и угрозы, которые едва не перешли в действие. Атаман не­медленно же отказался от должности, и сход не мог состояться. Потом казаки отравились к квартире землемера, назначенного для межевания леса и проживавшего в станице, и грозились убить его, если он не уедет. Прошло несколько дней. Ночью, когда вся станица уже спала, ктото выстрелил в окно хаты, занимаемой землемером. Хотя он не был даже ранен, но переполох был чрезвычайный. Утром землемер поспешил уехать из Лугани, а за ним и храбрый военачальник, усмирявший в 1861 году крестьян. Этот последний, еще накануне хвалившийся, что он хоть тридцать лет проживет в станице, а поставит на своем, так стру­сил, что не решился удирать без конвоя.

Всё начальство засело в Митякинской станице, в 25 верстах от Лу­гани, и оттуда требовало на суд тех казаков, которые отказались делать просеки в лесу. Последние не ехали, а требовали, чтобы суд сам ехал к ним. А пока тянулась между ними переписка, в Луганской станице шло следствие по делу «о покушении на жизнь таксатора». Подозревали сна­чала нескольких казаков — один был даже арестован, — но потом оказа­лось, что в ночь, когда было сделано покушение, он был на одном из хуторов. Стали валить всё на какихто темных личностей, которые жили перед тем в станице, бывали даже на сходах и подстрекали будто бы ка­заков к бунту. Стали разыскивать этих таинственных посетителей, но оказалось, что их и след простыл. Всё дело было свалено на нигилистов.

К выстрелу население относится сочувственно и жалеет только, что таксатор не был убит. Между тем, казаки, которых требовали на суд по делу о неповиновении распоряжениям атамана, решились ехать: какойто смельчак уговорил других, что им де и там ничего не посмеют сделать. Но когда они явились в Каменскую станицу, — главную в Донецком округе,— всех их (30 чел.) арестовали и посадили в острог. Но это только подлило масла в огонь: между казаками пошли толки о том, чтобы не платить совсем земских и страховых (штраховых, как они на­зывают) денег. Они стали обвинять атамана в предательстве и грозились убить его. Казаков пугают военной экзекуцией, а они говорят, что «при­мут ее в пики». Поднялся вопрос: стоит ли давать землю (паек в 200 дес.) тем из офицеров, которые особенно энергично «усмиряли» казаков.

Чем всё это кончится — неизвестно; одно только можно сказать, что волнение не ограничивается одной Луганской станицей. В остальных станицах того же округа, напр., в Гундеровской, казаки, хотя и не гонят таксаторов, но владеть лесами собираются постарому, и приговор под­писали только «господа», т. е. офицеры, «чернь» же — простые казаки — противится ему.

Вообще, как бы ни было различно сопротивление, недовольство везде одинаково сильно. Припоминаются какието предсказания «ста­риков», которые давно говорили, что придет время, когда будут стеснять казаков, когда у них отберут все угодья, и тогда произойдут на тихом Дону смуты, и будет кровопролитие.

И теперь уже казаки других станиц начинают с завистью, сме­шанной с уважением, смотреть на луганцев.

«Ведь у нас какой народто: им бы, как луганцам, гнать таксатора, а они уперлись, что не отдадут лесу, да и только; а таксатор — вон уже просек в лесу наделал», говорила мне одна хуторская казачка.

До сих пор я рассказывал вам о событиях, которых или был очевид­цем, или знаю от верных людей. Что же касается до слухов, то говорят, что в Слонской станице, УстьМедведицкого, если не ошибаюсь, округа, за таксатором, выехавшим делать в лесу просеки, бегали казаки с шаш­ками, так что он едва спасся. Волнуются и в Урюпинской станице, вол­нуются в УстьМедведицкой, Казанской и Раскольницкой. До сих пор казаки воображают, что стоят на легальной почве. «Мы своей кровью завоевали эти места, — говорят они, — кто же может отобрать их у нас? Когда государь был на Дону, он прямо сказал, что у нас останется всё по старому».

Теперь, к осени, стали возвращаться казаки с войны и, понятно, встретят далеко нe с радостью эту новую «царскую милость».

Интересно здесь особенно то, что казаки Донецкого округа, где волнение приняло самые большие размеры, составляли 3й Орлова полк, имеющий самое большое число георгиевских кавалеров и отличившийся в забалканском походе. Эти герои возвращались домой и без того сильно раздраженные мошенничеством их полкового командира, полковн. Гре­кова, заменившего Орлова. По рассказам казаков, он не выдавал им совсем фуражу для лошадей, между тем, как сам получал по 2½руб. за каждый пуд сена, которое он будто бы выдавал лошадям. На возвратном пути при посадке на железную дорогу, казаки, если верить их рассказам, «приняли его в нагайки». После этого скандала, был вызван прежний ко­мандир полка, Орлов, который и взялся умиротворить казаков. На пло­щади в нашей станице происходил публичный торг казаков с Орловым. Он предложил казакам 7.000 руб. с тем, чтобы они прекратили всякое неудовольствие на Грекова. Казаки насчитали, что он украл у них 200.000, и требовали их сполна, грозя в противном случае подать жа­лобу. В конце концов согласились на 25.000 руб., по рублю на водку каж­дому казаку и по 25 рублей на сотню для угощения. После этого публич­ного скандала, они разошлись по домам и, разумеется, только усилят собою контингент недовольных правительством.

## Каменская станица

## *(Письмо второе.)*

Я уже писал вам о так называемой Луганской истории, волно­вавшей население нашего округа с самого начала весны 1878 т. Вы по­мните, вероятно, что 30 чел. луганцев, «наряженных» для резки леса станичным начальством и отказавшихся исполнить это распоряжение, были посажены в каменский острог. Этих козлов отпущения держали в тюрьмах до конца ноября, постоянно таская на допросы. Ответы аресто­ванных были коротки и единодушны: «мы ни в чем не виноваты, бунто­вали не мы одни, а вся станица, да и по прочим станицам также недо­вольны земством и разными прочими нововведениями и терпят только до поры до времени».

«Неповиновение власти» было слишком упорно, соблазн для других станиц слишком велик: начальство решилось действовать «со скоростью и строгостью». Посылать солдат в станицу, в которой, вместе с принад­лежащими ей хуторами, считается до 15 т. жителей, было слишком ри­скованно, поэтому изобретательное начальство прибегло к другому спо­собу действий. В Луганскую станицу снова является какойто «генерал» и обращается к проживающему там шпиону из отставных офицеров, Апостолову, с просьбой указать бунтовщиков и тем поддержать «ос­новы». Тот, разумеется, не заставил повторять просьбы, и его усердие превзошло даже генеральское ожидание. Бунтовщиков оказалось целых полторы сотни, в число которых, замечу я от себя, попали казаки, даже не бывшие на сборах. Но проверять верность показаний «доносителя» было некогда, да и надобности не представлялось. Импровизированным бунтовщикам была объявлена следующая альтернатива: или уговорить казаков отдать лес, или разделить участь арестованных раньше 30 чел., которым грозит Сибирь. Вы, мол, бунтовали, вы и усмиряйте. Усмирить они должны были в весьма короткий срок.

Узнав об этой дикой выходке начальства, луганцы призадумались. Поддержки другие станицы не оказывают, а начальство грозит Сибирью даже невинным решено стереть Лугань с лица земли. Несколько дней шли всевозможные толки в станице и, наконец, стачечники решили, что «один в поле не воин». «Эх, — говорили они, с проклятием подписывая приговор об отдаче леса, — поддержи нас другие станицы, не так бы кон­чилось дело». Как только приговор был подписан, немедленно были осво­бождены от следствия не только 150 чел., оболганных Апостоловым, но и те 30 чел., что содержались в Каменском остроге. Тяжкие обвинения, которые взвалились на них, были забыты начальством тотчас же, как миновалась надобность в заложниках, на которых можно было бы со­рвать сердце и показать спасительный пример строгости.

Так кончилась Луганская история; кончилась, как и множество дру­гих так называемых мелких бунтов победою правительства, при чем со­противление населения во время «бунта» только редко и то не надолго переходило из пассивного в активное. Но причины, вызвавшие сопроти­вление, не только не перестали существовать, но, напротив, получили за­конную санкцию. Это, разумеется, только увеличивает неудовольствие казаков, и вот почему я думаю, что нам, быть может, придется еще уви­деть эпилог только что закончившейся драмы.

А эпилог, пожалуй, будет интереснее самой драмы, хотя бы потому, что разыгрывать его будут не новички. Луганский «бунт» оставил каза­кам драгоценный опыт в подобных делах. Этот опыт показал, во 1), что для того, чтобы рассчитывать на какойнибудь успех в борьбе с прави­тельством, необходимо действовать дружно и единодушно; он показал, во 2), полную возможность единодушного действия, так как причины не­удовольствия одинаковы во всем войске.

Казаки хорошо знают это, и мне кажется, что ни в какой другой части населения России нельзя встретить более осмысленного и более сильного недовольства существующим порядком вещей.

Недовольны казаки своим новорожденным земством, которое отби­рает леса, озера, реки, налагает пошлины на мельницы, налагает вместе с правительством акциз на соль, добываемую в войске, так как прежде добывание ее было вольное, и т. д.

Недовольны они плохим наделом земель. Это можете показаться странным, так как всем известно, что свободных земель в войске про­пасть. Но в томто и дело, что из этих свободных земель никаких при­резок станицам не делается, хотя население растет. Официальный душевой надел казака в нашем округе считается 30 десятин, он и подать (по­ложим, небольшую — 50 коп. с пая) платит за 30 десятин, — а, между тем, количество земли, действительно, удобной для обработки, колеблется от 8 до 10 дес, да и то ценится так дешево, что арендная плата не превы­шает 50 копеек.

Рядом с этими, так сказать, экономическими причинами недоволь­ства, являются правительственные, вроде отобрания оружия у казаков. По возвращении с театра военных действий у них в Киеве были отобраны пушки, а затем, когда они приехали в Черкасск — и ружья. Казаки объ­ясняют эти меры тем, что начальство, дескать, боится общего бунта на Дону.

Насколько ненавидят казаки земство и как хорошо понимают они, что замена прежнего казацкого самоуправления земским — равносильна замене действительного, неподдельного самоуправления фиктивным и, притом, не дешево стоящим, — видно во всяком слове казака, толкуете-ли вы с ним в хате, встретитесь ли и разговоритесь по дороге или, нако­нец, явится ли он на сбор в станичное правление.

Случилось мне недавно пойти в один хутор, недалеко от нашей ста­ницы. Дорогой меня нагнал казак, ехавший в телеге. После обычных приветствий и вопроса: «где (т. е. куда) идешь?» — вызвался подвезти меня до хутора. Я воспользовался предложением, и у нас завязался раз­говор, который, разумеется, тотчас же свелся на земство.

«Земство, — говорил мой собеседник, — будет постепенно отнимать наши права; оно хорошо знает, что если захочет отнять их сразу, то ка­заки взбунтуются все. Казак — что бык: если его будут приучать к упря­жи постепенно, будет терпеть, пока хватит сил, если же сразу под ярмо — непременно взбесится. Многие еще не понимают земства и его подходов, когда же узнают, то это даром не пройдет, казаки — им не му­жики».

«Если уже земство так умно, что всюду сует свой нос, — иронизи­ровал другой казак на сборе в Гундеровской станице, — то пусть лучше обучает мою старуху хлебы печь, а к нам не мешается».

С кем из казаков ни заговорите, везде услышите одно и то же. Появляются свои доморощенные ораторы, которые производят сильное впечатление и на нашего брата, а о казаках и говорить нечего. Я встре­тил одного из таких выразителей общего недовольства. Теперь уже се­дой и вдобавок глухой, этот замечательный человек всю жизнь свою не мог осесться на одном месте. Летом он бурлачит, зимой ходит по хуто­рам и станицам и рисует планы. Пламенные речи свои он начинает сло­вами: «приутих, приуныл славный Дон», далее следует мастерское сравнение прежнего вольного казачьего житья с настоящим, конечно, не в пользу последнего; оканчивает он их песней собственного сочинения, которой я, к сожалению, не мог записать, запомнил же только начало:

Ктойто, братцы, наше войско Губит, грабит, разоряет.

Ктойто, братцы, нашу землю Податями облагает.

Таково положение дел у нас на Дону в настоящее время. Сделать из описанного те или другие выводы предоставляю читателю.

## С Новой Бумагопрядильни.

Читатели помнят стачку на Новой Бумагопрядильне, что на Обводном канале, стачку, наделавшую столько шуму в Петербурге и провинциальных городах. В настоящее время на той же фабрике случилось следующее, не лишенное интереса, происшествие. 8 но­ября (Михайлов день) рабочие этой фабрики не явились на работу мотивируя свое отсутствие тем, что, дескать, — праздник, работать грех; между тем, на остальных фабриках работа шла своим чередом, и так как каждый рабочий день 2.000 чел. приносит очень значительный барыш гг. хозяевам Нов. Бумаг., то естественно, что такое воздержание при­шлось им очень не по вкусу. Чтобы вознаградить себя, гг. хозяева ре­шили увеличить рабочий день с 13 час. (от 5 ч. утра до 8 час. вечера, с вычетом 1 час. на еду), как это было до сих пор, до 13¼и продолжать на этих условиях, пока из этих кусочков времени не составится полный рабочий день.

Два дня на фабрике работа продолжалась до 8¼ час, возбуждая общее неудовольствие рабочих; но на третий день комуто пришло в го­лову завернуть главный газопроводный кран в 8 часов и таким образом прекратить работу. Как только кран был завернут, рабочие подняли крик, начали бить стекла, портить основу (испорчено 9 основ) и густой толпой повалили с фабрики. Верный союзник отечественной промышлен­ности, полиция не успела на этот раз явиться во время для восстановле­ния «тишины и порядка», но за то на другой день после этого происше­ствия на фабрику явилась целая масса охранителей, и до сих пор работа продолжается в их присутствии, хотя уже не до 8¼,а только до 8 час.

Началась разборка: кто потушил, не видал ли кто, кто мог это сде­лать? Человек 7 рабочих таскали в участок, но они отвечали, что ничего не знают. Пристав (тот самый, что во время стачки уговаривая рабочих идти на работу, угощал их апельсинами и поил их водкой) горячился и кричал, что он «ушлет их в Архангельскую губернию» (!), но и это не помогло. Одна женщина, которая работала недалеко от крана, будучи спрошена, показала, что какойто человек с лицом, завязанным передни­ком, влез на лестницу и затворил кран. Так и до сих пор неизвестно, кто потушил газ, хотя полиция употребляет все усилия для разыскания виновного, и фабрика кишит полицейскими.

## С бумагопрядильной фабрики Кенига.

Конец прошлого 1878 г. ознаменовался несколькими более или ме­нее крупными столкновениями петербургских рабочих с нанимателями. Мы хотим рассказать о некоторых из них, заранее извиняясь в том, что несколько запоздали своим сообщением.

Самым характерным образом обрисовывает положение нашего «освобожденного» рабочего стачка на Бумагопрядильной фабрике купца Кенига, потому мы отводим ей первое место в нашем рассказе. Читате­лям известно, что наши рабочие по своему экономическому положению резко разделяются на «заводских» и «фабричных». Между тем как пер­вые при меньшей продолжительности рабочего дня получают плату почти достаточную для сносного (в русском смысле этого слова) суще­ствования, фабричные находятся в положении поистине ужасном. Рабо­чий день здесь не бывает короче 14 час: в 5 час. утра рабочий стано­вится на работу, домой возвращается в 8 час. вечера. Во всё это время ему дается только один час (от 12 до 1 час.) на обед и отдых. На неко­торых фабриках продолжительность рабочего дня еще более. Его заработок редко доходит до 25 рублей в месяц, чаще же всего он колеблется между 17—20 руб. Из этой ничтожной суммы он должен найти средства для прокормления своей семьи, для уплаты податей и, наконец, для по­крытия многочисленных и разнообразных штрафов. Эти последние соста­вляют очень значительную отрицательную величину взаработке рабо­чего. Налагаются они под самыми различными, подчас весьма остро­умными, предлогами; так, напр., хотя работа на фабрике Кенига, по усло­вию, должна начинаться в 5 час, предприниматель, по пословице «с миру по нитке — голому рубаха», начинал ее в 43/4 ч.; кто не являлся за пять минут до срока, установленного таким образом вопреки условию, подвергался уже штрафу.

Второй пример. При фабрике есть вечно пьяный и ничего не смы­слящий фельдшер. Самым радикальным средством от всех недугов рабо­чего он считает холодную воду, которою и обливает заболевших. Боль­ничные сцены из гоголевского «Ревизора», как видит читатель, повто­ряются и в настоящее время. Несмотря на очевидное даже для рабочих невежество фельдшера, они обязаны были лечиться у него, под страхом штрафа за попытку получить более полезный совет на стороне. Если при расчете, происходящем 15 и 30 числа каждого месяца, рабочий позволит себе спросить, на каком основании сделан тот или другой вычет из сле­дуемых ему денег, его штрафуют снова. Если хозяин не приезжал ко дню расчета, и рабочие осведомлялись, когда же они получат «жалованье», они подвергались новому штрафу. Штрафовали за нечистоту ма­шины, за местоимение «ты», употребленное в разговоре с мастером, и т. д., и т. д. О прогульных днях нечего и говорить; несмотря на то, что плата была поштучная, за каждый прогульный день рабочий должен был проработать 2 дня бесплатно.

При таком положении дел, спокойствие на фабрике, естественно, находилось в очень неустойчивом равновесии. Достаточно было малей­шего повода, чтобы вызвать то, что на полицейском языке называется «бунтом». Таким поводом послужило следующее обстоятельство. При производстве работы на бумагопрядильной фабрике, получается много отброса, состоящего из порвавшихся ниток. Этот отброс образует возле станков кучу так называемой «пыли». Для сортировки ее на фабрике Ке­нига существовали особые женщины. Незадолго до описываемого вре­мени переменили на фабрике Кенига директора, и новая метла стала мести еще чище старой. Новый директор рассчитал разбиравших «пыль» женщин и возложил ее сортировку на «задних мальчиков»[[6]](#footnote-6).

29 ноября эти мальчики, числом 33 чел., заявили мастеру, что они не будут работать, пока их не избавят от этой новой обузы. Дело про­исходило в 12 ч., когда рабочие отправляются на обед. После обеда маль­чики, действительно, не пошли работать и стали дожидаться хозяина у здания фабрики. Когда он явился к ним, и они попытались изложить ему свои жалобы, он без разговоров послал их к черту. Они разошлись по домам.

Подождавши некоторое время своих подручных, мюльщики заявили мастерам, что не могут управиться со станками без помощи мальчиков. Мастер уверял, что к вечеру всё уладится. Но время приближалось к 8 час., а мальчики не являлись. Чтобы иметь возможность узнать имена «бунтовщиков», хозяин решил выдать всем бывшим налицо подручным билеты. Всякому, кто на другой день не предъявит такого билета при входе на фабрику, грозили хозяйской карой. Но едва мастер стал разда­вать эти билеты, раздался свисток, возвещающий окончание работы, и только трое из подручных успели их получить.

Несмотря на это, когда рабочие стали на другой день собираться на фабрику, у подручных спрашивали билеты, и так как они были только у трех, то все остальные были прогнаны с работы. Г. Кениг переходил таким образом в наступление.

Но в это время малолетние стачечники получили неожиданное под­крепление. Их взрослые товарищи объявили мастерам, что будут рабо­тать только под условием исполнения требований «мальчиков». Фабрич­ная администрация не была расположена к уступкам, рабочие, со своей стороны, решились привести угрозу в исполнение. Они вышли гурьбою из здания фабрики и присоединились к толпившимся на улице подручным. Они надеялись, что хозяин приедет для объяснения с ними, и им удастся убедить его сделать уступки. Кениг, однако, не являлся, и рабочие ре­шили заявить полиции о своем отказе от работы. Толпой отправились они в участок, но здесьто и начались мытарства «бунтовщиков». Де­журный околоточный послал их в Екатерингофский сад, куда обещался приехать для объяснений пристав. В 9 час. последний, действительно, появился в саду, сопровождаемый какоюто личностью, которую потом видели в III Отд., и вступил в переговоры с рабочими. Прежде всего он осведомился об именах близ стоявших прядильщиков. Он узнал и записал таким образом 4 фамилии, пока простяки не поняли в чем дело и не объявили ему, что знать имена для него не важно, так как отказались работать все. Они передали ему письменное изложение своих жалоб. Пристав запел обычную в этих случаях песню о том, что мешаться в от­ношения рабочих к хозяевам полиция не имеет права, так что сделать он ничего не может, но впрочем, передаст их заявление градоначальнику. Толпа стала расходиться по домам. Те 4 рабочих, имена которых успел записать пристав, были задержаны и отправлены в участок. Там их про­держали до обеда и, отпуская, приказали явиться к 8 ч. вечера в III Отд. Несчастные ничего не понимали, но, явившись туда, они встретили своего хозяина с двумя мастерами. Начался разбор их взаимных обвинений. Первое слово дано было Кенигу. Если читатель припомнит защититель­ные речи гетевского Рейнеке Лиса, он составит себе полное понятие о смысле кениговских объяснений. По его объяснениям, выходило, что рабо­чие его фабрики живут, как нельзя лучше, что его отношения к ним всегда были безукоризненны, так что стачку нужно целиком отнести насчет «посторонних внушений». Г. Кениг обещался даже узнать и ука­зать полиции подстрекателей. Когда рабочие пытались возражать ему, их не хотели и слушать. «Знаем мы эти речи, — закричали на них, — мы упечем вас туда, куда вы и не ждете. Завтра же идите на работу, в противном случае мы заставим вас работать силой; так и товарищам ска­жите».

С этим назиданием их отпустили домой. Третьеотделенское внуше­ние не произвело, однако, ожидаемого впечатления, и на утро фабрика была пуста, как и накануне. Рабочие толпились около здания фабрики, но и не думали приниматься за работу. Часам к десяти утра приехал ка­който «генерал» да синих иопросил: «все ли рабочие налицо». Получив утвердительный ответ, он велел всем идти на двор фабрики. Тех, кто не шел во двор добровольно, вталкивали городовые. Когда на улице не оста­лось никого, фабричные ворота были заперты, и рабочим предложили войти в контору. Здесь их расставили двумя рядами, и генерал, сопро­вождаемый двумя мастерами, обошел все ряды; очевидно, кениговское указание на постороннее подстрекательство произвело впечатление у Цепного моста, и там решили поймать агитаторов. Но никого из посто­ронних не оказалось. После этой проверки генерал приступил к «уве­щеванию». То ласково, то грозя строгим наказанием за ослушание, про­сил он рабочих покориться хозяину и приняться за работу.

Когда рабочие были, повидимому, достаточно обстреляны артилле­рийским огнем жандармского красноречия, пустился в атаку сам г. Ке­ниг; он прочитал новые правила, предлагая рабочим или согласиться на них, или убираться с фабрики. Как видит читатель, план атаки был со­ставлен очень недурно; сначала жандармское внушение, затем, как снег на голову, новые правила и неизбежная для рабочих альтернатива — или идти на работу, или выказать себя «бунтовщиками» и «зачинщиками» в глазах строгого генерала. Рассчитывали на неизбежное в таких случаях отсутствие единодушия, на невозможность для более влиятельных рабо­чих высказаться и поддержать колеблющуюся массу. Этот план непре­менно удался бы, если бы г. Кениг не пересолил в своих вновь высиженных правилах, которые оказались еще тяжелее старых. Эта бестактность по­губила ловко задуманный гешефт. Рабочие единодушно заявили свое не­желание работать и начали выходить из конторы. Генерал окончательно потерял терпение. Угрозы тюрьмой, Сибирью и т. д. снова посыпались на «свободных» рабочих. «Вы слушаете злых людей, — кричал потерявший всякий такт бурбон. — У меня здесь сто шпионов следит за всем, что про­исходит у вас, но если хозяин найдет, что этого мало, я пришлю еще столько же. Как только узнаю, что к вам ходят бунтовщики, сейчас же в Архангельск сошлю» и т. д. Однако и эти новые громы не принесли желанного результата: рабочие разошлись по домам и решились на край­нюю меру, к которой всегда прибегает русский человек, пока не убедится, что ему остается апеллировать только к собственному кулаку — они решились подать просьбу наследнику. Утром 2 декабря человек 30 рабочих отправились к Аничкову дворцу. Оказалось, разумеется, что державный сынок так же не любит оборванной черни, как и его па­пенька: даже прошение не было принято. Какойто наивный офицер по­советовал им обратиться к Зурову. Совет был исполнен, и 4 декабря Зуров явился с ответом. Как видит читатель, это было только несколько дней спустя после знаменитого Зуровского «ответа» студентаммедикам. Энергичный градоначальник и в этом случае не изменил себе. Выругавши рабочих самыми непечатными словами, он объявил им, что прочел их просьбу и завтра пришлет своего чиновника для разрешения их недора­зумений с Кенигом. Вместо обещанного вестника мира, в ночь 5—6 де­кабря полиция начала ходить по квартирам рабочих и выгонять их на улицу. Собравши порядочную толпу, их потащили в III Отд. Новые за­стращивания, брань и новые приказания сегодня же становиться на ра­боту. «Да нынче праздник», — пытался возразить один из рабочих. — «Я тебе дам праздник, лентяй ты этакий, — закричал на него увещавший, — нынче нет праздника?» — «Как нет? Да нынче Никола, ваше благоро­дие», — заговорили рабочие, и IIIотделенские святоши должны были при­кусить язык. В 7 час. утра рабочих выпустили, наконец, приказав им со­браться у фабрики и ожидать там чиновника для окончательного реше­ния дела. Приказание и на этот раз было исполнено: немедленно около здания фабрики образовалась толпами стала ожидать, что будет. К уступ­кам никто из рабочих не был расположен. Часов около 9 утра к толпе подъехал Кениг и стал глумиться над рабочими: «Подождите, подождите, а мне ждать некогда, я покуда поеду в город». На заявление рабочих, что, за его отсутствием, чиновнику нельзя будет разобрать дело, Кениг на это ответил «подождите», — и преспокойно отправился в город. Через не­сколько минут после его отъезда, приехал чиновник и, узнавши, что Ке­ниг не хотел его дожидаться, смиренно заявил, что он может подождать «господина Кенига». Прошло около часу бесплодного ожидания на силь­ном морозе. Соскучившиеся рабочие начали донимать чиновника шуточ­ками, высказывая предположение, что шинель недостаточно греет «ге­нерала». Малопомалу шутки начали переходить в резкие замечания, а затем и в брань. «От него ничего не дождешься, — кричали рабочие, — он тоже, должно, с хозяинато получил». Чиновник рассвирепел: «бери их, подлецов», крикнул он близ стоявшим городовым. Но четверо полицей­ских ничего не могли поделать с выведенною из терпения толпою: рабо­чие не позволили арестовать никого из своих товарищей. В эту критическую минуту вернулся из города Кениг, и рабочие успокоились в ожидании разбора их дела. Оказалось, что несчастный чиновник приезжал совершенно напрасно. Несмотря на все предыдущие застращивания, рабочие твердо настаивали на исполнении их требований, а так как Кениг не желал уступить, то все они взяли расчет.

Количество рабочих на бумагопрядильне Кенига было невелико: около 200 человек, из которых взрослых было не более 80. Поэтому он без труда нашел новых рабочих, которые согласились на условия по­истине невероятные. Рабочий день продолжается ныне на бумагопря­дильне Кенига с 5 часов утра до 12 часов вечера; из этих 19 час. только 1 час полагается на еду. Мы не говорим о других условиях, которые были бы непонятны читателю, не имеющему специального знакомства с техни­кой прядильного ремесла. Скажем одно — все они сводятся к тому, что, затрудняя труд рабочего, сильно понижают и без того низкий заработок.

Пусть же судит читатель, ошибаются ли люди, утверждающие, что русский рабочий находится под двойным гнетом рабства экономического и политического.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В тех ремеслах, где продолжительность труда не достигает таких размеров, как в прядильном и ткацком, стачки не всегда кончаются в ущерб рабочим.

Так, напр., в конце августа, на фортепьянной фабрике Беккера, что на набережной Большой Невки, произошло столкновение рабочих с хо­зяевами по следующему поводу. В одной из мастерских фабрики рабо­тает до 40 человек. Половина из них, т. н. ящичники, столяры, делающие остов фортепьяно, остальные — сборщики — немцы. Все эти рабочие получали от хозяина квартиру, отопление и освещение. Говоря точнее, они жили частью на кухне, частью в мастерской. В описываемое нами время хозяину понадобилась кухня, и он без церемонии приказал рабочим очи­стить ее. Таким образом им предстояли новые расходы на квартиру, и они решили потребовать повышения поштучной платы, именно, наба­вить на каждый ящик по 2 р. (прежняя плата доходила до 29—38 руб. за ящик). Хозяин отвечал, что они легко могут увеличить свой зарабо­ток, если перестанут «понедельничать», т. е. будут аккуратнее являться на работу в понедельник. Рабочие забастовали, через три дня хозяин объявил через мастера, что он согласен на повышение платы, и работа пошла по прежнему: только г. Беккер перестал заходить в мастерскую, опозорившую себя «бунтом».

Так же неудачно для хозяев кончились стачки на табачных фабриках Мичри и Шапшала. Эти последние стачки тем интереснее, что они произошли в среде исключительно женской.

24 сентября, на табачной фабрике Мичри появилось объявление, за подписью управляющего, гласившее приблизительно следующее:

«Сим объявляю, что папиросницы, получавшие 65 коп. за 1000 шт. папирос 1го сорта, отныне будут получать 55 коп.; за 1000 папирос 2го сорта, вместо прежних 55 коп., будет платиться 45 коп.».

Это понижение мотивировалось плохим сбытом готовых папирос.

Мастерицы, как называют себя работницы, сорвали это объявление и отправились в контору для объяснений. Там они объявили приказчику, что несогласны работать за уменьшенную цену и просили принять у них палочки и машинки для делания папирос. Ответом на это заявление была непечатная брань со стороны приказчика. Он предложил им убраться не­медленно, так как на их место много охотниц. Грубое обращение при­казчика окончательно взорвало мастериц: палочки, машинки, скамейки полетели в окна; приказчик струсил и послал за хозяином. Г. Мичри не заставил себя долго ждать. Он немедленно явился на фабрику, и ласко­вая речь его, а более всего обещание не понижать плату успокоили толпу, состоявшую приблизительно из 100 мастериц. Попытка понизить и без того невысокую плату окончилась полной неудачей.

Через два дня та же история повторилась на табачной фабрике бр. Шапшал[[7]](#footnote-7), на Песках.

26 сентября на фабрике было вывешено следующее объявление:

*«Мастерицам табачной фабрики Шапшал.*

Сим объявляю, что, по случаю остановки товара, я сбавляю с ка­ждой тысячи папирос — 10 коп.

*Шапшал».*

Мастерицы, здесь уже в количестве 200, немедленно сорвали это объявление и на его место вывесили следующее:

*«Хозяину табачной фабрики Шапшал.*

Мы, мастерицы вашей фабрики, сим объявляем, что не согласны на сбавку, потому что и так от нашего заработка не можем порядочно одеться.

*Мастерицы вашей фабрики».*

Приказчик собрал мастериц и потребовал, чтобы они указали писав­шую объявление. Это требование было встречено решительным отказом.

Мастерицы объявили приказчику, что объявление писалось от имени всех их, и что ни одна из них несогласна на понижение платы. Они на­чали собираться и уходить. Приказчику оставалось только «умыть руки» и послать за хозяином. После тщетных попыток убедить мастериц рабо­тать за пониженную плату, г. Шапшалу пришлось уступить — величина платы осталась прежняя.

## Волнение в среде фабричного населения.

И несут эти люди безвестные Неисходное горе в сердцах...

Едва мы окончили в № 3 рассказ о стачке у Кенига, как нам при­ходится описывать стачку, происшедшую разом на двух фабриках и от­разившуюся рядом волнений в среде всего фабричного населения Пе­тербурга.

Наша легальная литература не посмела или не нашла нужным хоть скольконибудь распространиться об этих фактах. Только «Русская Правда» поместила несколько строк о стачке на Новой Бумагопрядильне.

Правительство, со своей стороны, свалило и в этом случае всю вину на подпольную агитацию.

Индифферентизм так называемого общества и УгрюмБурчеевские преследования со стороны правительства — вот что встречает рабочий в трудную минуту своей жизни.

Социалисты, разумеется, не могут оставаться равнодушными зрите­лями таких важных событий в жизни рабочих, как стачка; но, спросим еще раз, мыслима ли была бы хоть какаянибудь агитация, если бы ода не имела прецедентов в положении рабочего?

Наши освободительные подвиги на Балканском полуострове так тя­жело отразились на экономическом положении рабочих, что мы боимся надоесть читателю однообразием нашей летописи рабочей жизни, если описанию каждой стачки, — а они не замедлят своим повторением, — бу­дем предпосылать описание экономического положения рабочего.

Наша летопись, действительно, будет очень однообразна. Смысл описываемых ею событий всегда одинаков. Весь он выражается в одном силлогизме:

*Первая посылка:* 14часовой труд не только для мужчин, но и для женщин и для детей, низкая заработная плата и штрафы, штрафы без конца.

*Вторая посылка:* общее хроническое недовольство рабочих, с одной стороны, и оборонительный и наступательный союз фабрикантов и око­лоточного — с другой.

*Вывод* отсюда ясен: какойнибудь мелкий, сам по себе неважный факт — и на фабрике происходит «бунт», со всеми его последствиями; эти последние можно всегда предсказать заранее; масса будет «искать правды» у всех, кто только придет на память в данную минуту; ей бу­дут отвечать драгонадами те, к которым она до сих пор обращается с такою трогательною доверчивостью.

Что это — водевильное недоразумение или безобразная историче­ская драма? По нашему, это драма, имеющая гораздо больший интерес, нежели всевозможные «битвы русских с кабардинцами» — происходят ли они под Телишем или под Карсом. Не все, впрочем, думают так, как мы. Эти последние битвы воспевались Тряпичкинымиочевидцами, им же имя легион. Наши газеты послали «специальных» корреспондентов на оба театра войны, но ни один из газетных строчил и не подумал заглянуть на Обводный канал или на Нарвскую заставу, хотя это и не стоило бы никаких издержек.

Пусть же читатель не сетует на нас за утомительные и подчас однообразные подробности. Ведь только наш, взапуски разыскиваемый сотнями шпионов, станок и печатает отчеты об этих драмах, что еже­часно и ежесекундно разыгрываются за всевозможными «заставами», на всевозможных «каналах» и «реках», в этих грязных и мрачных пред­местьях нашей столицы, где смертность вдвое более, чем в буржуазных кварталах города.

Но мы приступим к рассказу.

15го января рабочие Новой Бумагопрядильни, по обыкновению, явились в 5 час. утра. Несколько часов прошло обычным порядком; но перед обедом в ткацкое отделение фабрики явился главный мастер и вы­весил какоето объявление. Объявление отличалось лаконизмом: в нем были только имена 44х ткачей, назначенных «к расчету». Но мастер пополнил его довольно обстоятельным словесным объяснением. Он очень развязно заявил рабочим, что 44 их товарища выбрасываются на улицу за то, что они «бунтовщики», и что подобное правило будет и впредь «принято к руководству», и все неблагонадежные будут изгоняться с фабрики. Заявил он также, что вообще администрация фабрики, ввиду постоянных «бунтов» рабочих, думает заменить мужчинткачей — жен­щинами и детьми.

Речь его была прервана взрывом негодования рабочих. Объявление было изорвано в клочки, сам оратор должен был ретироваться. Ткачи высыпали на улицу и разбрелись по домам обедать.

После обеда, как всегда бывает в подобных случаях, перед воротами фабрики образовалась толпа, через которую не прошел ни один из тех, кто еще колебался пристать к стачке.

Пролог разыгрался.

Опытный взгляд, впрочем, заметил бы «бунт», если б и не видел толпы. Около фабрики забегали какието подозрительные личности, очень внимательно прислушивавшиеся к толкам рабочих, присматри­вавшиеся к их лицам.

«Фискалы, пауки!» — кричали им вслед рабочие; это — название, ко­торым окрестили они шпионов.

Показались околоточные в полной форме, с револьверами на боку; их сопровождали десятки городовых.

Обычные в этих случаях картины.

Полиция начала расспрашивать, в чем дело. Для начала ее обра­щение было очень мягко. Узнавши, что рабочие объявили забастовку, она малопомалу скрылась. Вероятно, еще не было получено надлежа­щих инструкций.

Рабочие, придя к единодушному решению относительно забастовки, тоже разошлись по домам. Нужно было выработать план действий, со­ставить требования — и вот начались сходки. Сходки в таких случаях бывают двух родов. Иногда рабочие собираются открыто на улице, и тогда сходки бывают очень многочисленны; замечательно, что полиция никогда не решается нападать на них.

Иногда же они сходятся по квартирам. В грязной, низкой и душной комнате собирается несколько десятков рабочих; малолетние «подруч­ные» — гамены наших рабочих кварталов — становятся на часы и зорко следят, не появится ли паук или полицейский.

Тутто принимаются решения стоять до «конца», не идти против «общества» и т. д.; здесь же пишутся те прошения, которые подаются потом по начальству, и неизвестно, вызывают ли в нем злобный смех или зевоту.

Вечером 15 января требования стачечников были формулированы следующим образом:

1. 44 человека, назначенных к исключению, должны остаться на своих местах.

2. Заработная плата должна быть повышена на 5 коп.

3. Рабочий день сократить на 2½ часа.

4. Штрафы за поломку «вилок» (один из инструментов, необходи­мых для тканья) прекращаются, так как эти поломки — вещь неизбеж­ная в работе.

5. При приеме готовых уже кусков полотна, кроме браковщиков от хозяина, должны присутствовать выборные от рабочих.

6. Несколько ненавистных мастеров и подмастерьев должны быть выгнаны.

7. Хозяин должен заплатить за все время стачки, как будто работа и не прекращалась.

Эти требования были приняты единогласно, несколько раз прочи­таны и потом, для памяти, записаны на бумаге.

Слухи о стачке на Обводном канале стали распространяться между рабочими других фабрик, и на другой день человек 30—40 ткачей яви­лись с *фабрики Шау,* что за Нарвской заставой; они решились пристать к стачечникам и предлагали выработать общие требования. Полного тождества в требованиях рабочих обеих фабрик быть не могло, так как порядки, практикуемые у Шау, несколько отличаются от принятых на Новой Бумагопрядильне.

Дело в том, что работа у Шау идет безостановочно и день и ночь. Рабочие разделяются на две смены: одни сутки одна смена работает 16 час, другая 8, другие — наоборот. Трудолюбивый фабрикант не пре­кращает работу даже вечером накануне праздника — она кончается только в 6 час. утра. В отношении низкой заработной платы и постоян­ных штрафов порядки, впрочем, одинаковы. Г. Шау принял на себя также и продовольствие рабочих: он имеет лавочку, в которой рабочие должны брать продукты; когда они являются за «получкой» в контору, там уже сделаны вычеты за «харчи», и иногда рабочему не достается получить ни гроша.

Правила, выработанные на общем собрании представителей рабочих обеих фабрик, мало чем отличались от предыдущих. Приведем, впрочем, требования рабочих г. Шау, «шавинских», как их называют остальные рабочие:

1. Чтобы на каждый вытканный кусок прибавили платы по 5 коп.

2. Чтобы прогульные дни не считались, если сам хозяин виноват b прогуле.

3. Чтобы основы выдавались хорошие и чтобы материал выдавался при наших выборных.

4. Чтобы товар не браковали зря; чтобы за этим тоже наблюдали наши выборные.

5. Чтобы не штрафовали за полом инструмента, за отсутствие из фабрики по болезни или надобности и пр.

6. Чтобы за харчи платить не в конторе, как теперь, а в лавке, по получке денег на руки.

7. Чтобы на больницу платилось не по 11/2 коп. с рубля, как теперь, а по 10 коп. в месяц.

8. Чтобы за кипяток на фабрике рабочие не платили.

9. Чтобы утром давалось время с 8½ до 9 час. на завтрак.

10. Чтобы накануне праздников работа кончалась не в 6 час. утра, как теперь, а в 9 час. вечера.

11. Чтобы газовые горелки расположить, как лучше для работы; мы сами укажем места для них; а то теперь в иных местах вовсе свету нет.

12. Чтобы прогнать с фабрики подмастерьев: Никифора Арсентьева и Нефеда Ефимова, Николая Волкова и шпульника Кирилла Симонова. Нам от них житья нет! и мы с ними не хотим работать.

13. За время стачки — денег с нас не вычитать, потому что мы не работаем не по своей вине, а по упорству хозяев.

14. Чтобы никого из нас не брали в полицию за то, что не рабо­таем; а тех, что теперь забрали, пусть выпустят.

На сходке представителей от обеих фабрик обсуждались также меры для поддержания беднейших из стачечников, а таких, естественно, должно было более оказаться на фабрике Шау, где хозяин грозился пре­кратить выдачу припасов из своей лавки; поэтому решено было первые сборы отдать в пользу «шавинских». Сборы же предполагалось делать на всех фабриках и заводах; в этом смысле были напечатаны воззвания ко всем петербургским рабочим. Надежда на их помощь не оказалась тщетною; сборы делались почти повсеместно, и возбуждение рабочих во время этих сборов было подчас так велико, что грозило перейти в забастовку.

На фабрике Мальцева (на Выборгской стороне) разбросаны были прокламации стачечников; был даже арестован рабочий, подозреваемый в их распространении. Рабочие заволновались. Пошли толки о том, чтобы поддержать «новоканавцев», но хозяину, тактичным обращением и обещанием всяких благ в будущем, удалось восстановить спокойствие. Г. Чешеру (его фабрика тоже на Выборгской стороне) не удалось отде­латься одними обещаниями — он должен был прибавить по 3 коп. на кусок, и только этою уступкою ему удалось отклонить грозившую стачку. Волновались рабочие на Охте... Так заразительно подействовал пример. Между тем, полиция и «пауки» делали свое дело.

В ночь на 16—17 число произведено было несколько арестов и обысков. Арестовано было 6 человек из рабочих Шау, около 20 человек с Новой Бумагопрядильни, один слесарь на Лиговке и т. д.

Со стороны полиции «в битвах с неприятелем» больше всех отли­чился некий Степанович. Он был еще во время мартовской стачки 1878 г. околоточным 3 участка АлександроНевской части, в районе которого находится Н. Б., и отличился такою энергией, что, хотя и был переве­ден кудато в другой участок, но, едва повторилась стачка на Н. Б., он был снова переведен в 3 участок — усмирение бунтовщиков составляло его миссию.

Между тем, забастовка увлекала все новые массы рабочих. 17 число было апогеем стачечных успехов. В этот день все прядильное отделение Н. Б. присоединилось к стачке. Из начальственных мероприятий за это число можно отметить в нашей летописи приезд какогото «полковника» за Нарвскую заставу, для выслушания жалоб рабочих. Такие миро­творцы являются обыкновенно вместе с хозяевами забастовавших, со­провождаемые, как древнеримские консулы ликторами, целым отрядом жандармов. Наш полковник, конечно, не изменил этому почтенному обычаю. Он спросил собравшуюся толпу рабочих о причине забастовки. Ему подали письменное изложение жалоб. «Согласны вы на это требование? — спросил он, обращаясь к г. Шау; тот отвечал, раз­умеется, отрицательно, — ну так чего же вы такиесякие хотите? Да я вас...» и т. д. и т. д. Начались обычные увещания, обильно пересыпанные крепкими словами. «У меня, — заключил храбрый полковник, — сейчас 25.000 солдат под ружьем, попробуйте только бунтовать». — «Больно уж много ты, ваше благородие, для нас наготовилто, — Отвечали ему, с обычным юмором русского простого человека, рабочие, — нас всегото здесь 300 человек, и с бабами, и с ребятишками, а мужиковто не будет и 70».

«Полковник» понял, что зарапортовался и, для поддержания своего авторитета, приказал схватить одного из остряков, но толпа окружила его и не позволила бросившимся городовым исполнить начальническое приказание.

Переговоры кончились безуспешно.

Между тем, начавшиеся аресты производили свое действие на рабо­чих: снова собрались представители обеих фабрик и решили добиваться освобождения товарищей. Нужно сказать, что в числе рабочих, арестованных ночью с 16 на 17, был малолетний прядильщик — «подручный» с Нов. Бумагопрядильни. Его товарищи, такие же малыши, как он, от­правились утром, в числе около 50 человек, к участку и требовали его освобождения. Пристав Бочарский мужественно вышел навстречу к этим «бунтовщикам» и, с помощью десятка городовых и 3—4 мастеров, погнал ребятишек на работу. Разумеется, придя на фабрику, все они тотчас же разбежались.

Взрослые рабочие последовали примеру своих подручных и решили вступить в переговоры с полициею относительно освобождения аресто­ванных.

Часов около 10 утра, 18 числа, толпа рабочих, около 200 человек, собралась недалеко от фабрики.

Здесь было громогласно прочитано и одобрено следующее заявление:

«Мы, рабочие с Нов. Бумагопрядильни, сим заявляем, что не пойдем на работу, пока не будут уважены все наши заявленные хозяину требо­вания. Что же касается полиции, то мы отказываемся от всякого вмеша­тельства с ее стороны для примирения нас с хозяином, пока не будут освобождены наши товарищи — люди, за которыми мы не знаем ничего худого. Если их обвиняют в чемлибо, пусть судят их у мирового, при чем мы все будем свидетелями их невинности.

«Теперь же их арестовали и держат без суда и следствия, что про­тивно даже существующим законам».

Пока читалось это заявление, явился околоточный; он предлагал рабочим отправиться для объяснений к приставу, но они сочли более удобным переговорить с градоначальником. Путь рабочих лежал через Загородный проспект. На нем есть дом мещанской гильдии с проходным двором. Едва рабочие прошли этот двор и вышли на Фонтанку, онибыли атакованы жандармами с приставом Бочарским во главе.

Пристав ехал на дрожках и махал палкой. С криком: «бей их, бун­товщиков» соскочил он с дрожек и кинулся на толпу: «рыцари ордена собачьей головы и метлы» поддержали своего полководца, и началась расправа во вкусе Александра Освободителя...

Описывать ли эту сцену или воображение русского читателя восстановит ее во всех деталях, как давно и хорошо знакомую?

Оторопевших рабочих били и мяли лошадьми; разумеется, что здесь уже некогда было разбирать не только правого от виноватого, но даже рабочих от простых прохожих. «После разберем» — вот обычный девиз укротителей.

А после оказалось вот что.

11 человек пришлось отвозить в больницу; из них было несколько человек прохожих, попавшихся под руку. «Незначительных ссадин», вроде тех, что констатировал, по словам «Правит. Вестника», меди­цинский осмотр у студентовмедиков, после их избиения, оказалось, вероятно, немало у тех из рабочих, которых ее сочли нужным отпра­влять в больницу.

«Виктория» была решительная. «Внутренний враг» обратился в беспорядочное бегство, оставив в руках победителя 52 человека плен­ных которые ибыли препровождены в пересыльную тюрьму.

На поле битвы была оставлена засада, в которую и попадались интересовавшиеся участью своих товарищей и привлеченные слухами о побоище, рабочие. Говорят, что цифра пленных в этот день дошла до 80. Как, вероятно, весело сочинять и получать «реляции» о таких подвигах! Мы предлагаем нашему «обожаемому монарху» учредить го­довщину этой битвы и праздновать ее разводом в манеже и обедом в Зимнем дворце.

Узнав о месте заключения пленников, родные и знакомые поспе­шили навестить их и снабдить деньгами и пищей. Их не только не до­пустили до свидания с арестованными, но некоторые из них были задер­жаны и также посажены в пересыльную.

Между тем, околоточный Степанович продолжал «тревожить не­приятеля» партизанскими ночными атаками. Нечаянные нападения на артельные квартиры, обыски и аресты нескольких человек — в этом про­шла вся ночь.

Печально встретили утро следующего дня рабочие Нов. Бумаго­прядильни.

В некоторых квартирах не осталось ни одного жильца, и они были заколочены, точно после чумы. В других — из 15 жильцов осталось всего 4—5 чел. Не было почти ни одной квартиры, где бы не был арестован хоть один жилец[[8]](#footnote-8).

К этому прямому насилию присоединилось, так сказать, косвенное. Полиция ходила по мелочным лавочкам и запрещала купцам выдавать рабочим в долг провизию. Только двое из лавочников (Балясников и Цветков) не послушались этого приказа и продолжали выдачу «на книжку».

Квартирных хозяев, у которых рабочие снимали свои артельные помещения, понуждали требовать уплату старых долгов, чтобы этим принудить рабочих выйти на работу.

Нужно сознаться, — меры эти были как нельзя более своевременны. Забастовка продолжалась уже несколько дней и, повидимому, до­вольно чувствительно отражалась на акциях «компании Н. Б.». Так, по крайней мере, мы объясняем себе то обстоятельство, что, несмотря на совершенное отсутствие рабочих, г. директор Бумагопрядильни при­казал ежедневно топить печи, разводить пары, зажигать газовые рожки утром и вечером, давать сигнальные свистки и т. д. При русской, если можно так выразиться, гласности, и такие меры служат иногда к под­держанию кредита.

Кроме того, г. директор снесся с III отделением, и 20 чел. жандар­мов были присланы для охранения тишины и спокойствия. Засевши в доме Кобузева, на Обводном канале, эта шайка начала свои бесчинства. От директора ей присылалось угощение: водка и надлежащая закуска.— Идет мимо дома Кобузева фабричный и играет на гармонике. Из ворот выбегает жандарм, выхватывает гармонику и снова прячется во двор. Вечером из этого гнезда раздаются звуки отнятой гармоники, крик, гам и разгульные песни. «Обещался Рюрик грабить по закону, а на место того — вон что вышло» припоминается нам место из одной сатиры. По трактирам рыскали околоточные, городовые и шпионы; они без разговора хватали всякого, кто хоть скольконибудь был похож на « подстрекателя».

Пока все это происходило на Обводном канале, г. Шау решил не вводить «во искушение» полицию и покончить дело при помощи меро­приятий, так сказать, экономических. Рабочих на его фабрике было немного, и он рассчитал, что может заменить их всех новым составом. Когда рабочие отказались брать расчет, он попросил у полиции одной услуги — принудить рабочих взять его.

Просьбу его, разумеется, поспешили исполнить; но полиция не могла отказать себе в удовольствии устроить облаву на бунтовщиков и повторила здесь те же сцены, что и на Обводном канале: обыски, аре­сты, шпионство и здесь пошли полным ходом. Около деревни Волынки, за Нарвской же заставой, стояло все это время несколько рот солдат. Из 70ти взрослых рабочих здесь было взято около 20ти человек. Пойдет человек за чаем в трактир — и пропал, и не возвращается; где, куда делся, — его сожители не знают и могут только догадываться.

Пошло несколько человек на Обводный канал на сходку — и также пропали без вести. Это была сходка, на которую собралось несколько десятков рабочих с обеих забастовавших фабрик; никто из них не вер­нулся домой; на утро послали мальчика на квартиру, где собиралась сходка — пропал и мальчик.

Как ни тяжело влияло все это на рабочих Н. Бумагопрядильни, но они всетаки народ не в первый раз «бунтовавший», так сказать, уже обстрелянный; на «шавинских» же все это нагнало панику: принужден­ные полицией взять расчет, они в ужасе бежали на другие фабрики или прятались у своих знакомых в городе.

Место их заняли новые рабочие — и фабрика снова пошла обычным ходом. Ходили потом слухи о какомто неудавшемся покушении на це­лость здания фабрики, но определенного насчет этого таинственного покушения мы ничего пока сообщить не можем.

23 января вышло, наконец, «решение» взятых в плен на обоих театрах военных действий. Их разделили на две категории. Первую ка­тегорию, в которую вошли малолетние рабочие (до 15 лет), *пересекли поголовно* и освободили, пригрозивши вторичной поркой, если ктонибудь из наказанных не пойдет на работу. Да, читатель, это факт, о котором тебе расскажет любой из рабочих Нов. Бумагопрядильни. Мало­летних детей порют поголовно за участие в стачке.

Во вторую категорию вошли взрослые рабочие, которых выслали административным порядком частью на родину, частью в Вологод­скую губ. До самого отъезда к ним не допускали никого из родных или знакомых. «С воли» сидящим не позволялось передавать ни деньги, ни даже съестные припасы. На Николаевский вокзал их пригнали с партией преступников, которую сопровождал конвой солдат, усиленный на этот раз жандармским полувзводом. Пришедшие было проводить их това­рищи лишь издали могли перекинуться с ними прощальным приветом.

Эта высылка произвела очень тяжелое впечатление на стачечников. У некоторых из высланных остались в Петербурге семьи, которые лиши­лись таким образом всякой поддержки, что, при отсутствии заработка во время стачки, при запрещении лавочникам давать рабочим в долг съестные припасы, ставило их в положение совершенно безвыходное. Одна надежда была на сборы, делаемые в среде учащейся молодежи и рабочих других фабрик, но, при той сети шпионов, которой были оку­таны стачечники, даже раздача денег беднейшим из них не могла про­изводиться открыто; наконец, собранных денег не всегда хватало, и тогда стачечники сами собирали свои гроши для помощи голодавшим, Тот, кто хоть раз присутствовал при таких сборах, не забудет их ни­когда. Стоит толпа рабочих, человек в 80—90. Толкуют о положении дел; сообщают о новых подвигах полиции; принимают те или другие решения. «Послушайте, братья, — раздается из толпы голос, — я видал сегодня старика (называют имя); у него жена, ребятишки; верите ли, купил он давеча утром на гривенник харча, а завтра что будет есть — и сам не знает, надо бы помочь». — «Надо, надо, — соглашается толпа.— Эй, Ванюха! Обходи народ с шапкой». Ванюха снимает картуз и об­ходит присутствующих. И тянется загрубевшая, мозолистая рука фаб­ричного и кидает он в шапку серебряные и медные монеты, при чем по­ложивший мало считает долгом извиниться собственным стесненным положением. «Вот что, братья, я только 3 коп. кладу — ну, ей Богу, са­мому есть нечего». — «Знаем, знаем, — отвечают ему, — ты об этом не го­вори, а кто что может, то и клади». В шапке оказывается несколько рублей, которые и вручаются комунибудь из присутствующих, для пере­дачи по назначению. Иногда тот, для кого делаются такие сборы, ока­зывается присутствующим в толпе, и тогда деньги передаются ему непосредственно. «Спасибо вам, братцы, — кланяется тронутый рабочий, — дай вам Бог...» — «Не на чем, не на чем, мы должны помогать друг дружке, дело общее; мы тебе собрали от всего общества» — возра­жают ему.

— Пауки через забор глядят, — раздаются тоненькие голоса «под­ручных», — и толпа начинает расходиться.

А ночью новые обыски, новые аресты. Около 5 час. утра толпы городовых, под предводительством нескольких околоточных, ходят по квартирам рабочих, расталкивают их тесаками и буквально силой гонят их на работу; кто энергичнее протестует, тому приказывают «оде­ваться» — его арестуют и ведут в участок.

Днем происходят другие сцены. Стоит у дверей трактира рабочий, к нему подходит околоточный в сопровождении 5 городовых. «Что не идешь на работу?» Рабочий чтото отвечает. «Ах, ты такойсякой». Околоточный хватает и трясет его за бороду, «так аж зубами он за­щелкал», говорил нам очевидец.

Идет фабричный на улице, навстречу ему околоточный. «Порав­нялся с ним — да в бок кулаком... а потом развернулся да по щекам... да по щекам...» рассказывают потом друг другу рабочие.

Гн хроникер «Вестника Европы»! точно ли крепостное право тру­дами людей вашего пошиба уничтожено в России?

Нам кажется, что оно только приняло иные формы. Кто из нас прав — пусть судит читатель.

Все описанные происшествия сломили, наконец, энергию рабочих. Стачка держалась 9 дней, на 10й — шпулечницы (около 50) и часть мюльщиков вышли на работу. Первым прибавлено по 3 коп. за пуд смо­танной пряжи; вторые не получили никаких уступок.

На другой день пошли на работу и ткачи, сначала человек 100, после обеда около половины, а к вечеру только несколько десятков человек продолжали упорствовать. Теперь большинство работает, но опустоше­ния, произведенные полицией в среде рабочих, так велики, что много станков остается не занятыми.

Фабрики снова в полном ходу; пыхтит пар, стучат колеса, покри­кивают мастера и браковщики, и только унылые лица рабочих и не­сколько десятков семей, лишившихся трудовых рук своих отцов, содер­жащихся по «чижовкам» — напоминают о случившемся, да несколько де­сятков сосланных, которых их товарищи называют «политическими» и тем выделяют из массы ссылаемых за уголовные преступления, — разно­сят по отдаленным окраинам России весть о новой жизни рабочего, наступившей для него после 19 февраля 1861 г.

Еще недавно масса смотрела на «политических», как на «измен­ников» и «бунтовщиков»; некоторые не сильные в мышлении люди ви­дели в этом проявление ее здравого смысла. Теперь масса знает, что называется бунтом на языке предержащих властей; она знает, что в числе «политических» есть люди, которые пострадали за «общее», «правое» дело.

Так популяризуется идея бунта и политических преступлений в России!

Стачечники вышли на работу; ходят слухи, что каждый из них за­платит трехрублевый штраф. Может быть, они подчинятся и этому но­вому грабежу. Но стачка всетаки не кончилась, только продолжение ее отсрочено на неопределенное время. В томто и заключается жизнен­ная сила таких протестов, что они вспыхивают, когда не удовлетво­ряется минимум даже самых необходимых потребностей массы. Никакие репрессии не застращают ее надолго, когда ей представляется альтерна­тива: бунтовать или умирать с голоду. А когда ей удается отвоевать себе удовлетворение этого минимума, явятся новые потребности, стой­кость ее окрепнет, благодаря опыту, приобретенному в борьбе, и от бунта за 5ти копеечную прибавку она постепенно будет переходить к более и более широкому протесту, пока не исполнит, наконец, завета своих дедов и прадедов, завета всей русской истории, пока не возьмет в свои могучие трудовые руки красного знамени *Земли и Воли.*

## Закон экономического развития обще­ства и задачи социализма в России.

«Основная задача социальнореволю­ционной партии — установить на развалинах теперешнего государственно-буржуазного порядка такой общественный сирой, который, удовлетворяя требова­ниям народа в том виде, как они вы­разились в мелких и крупных народ­ных движениях и повсеместно присущи народному сознанию, — составляет, вме­сте с тем, справедливейшую форму об­щественной организации»

(См. «Речь Мышкина»).

### I.

Было время, когда творить социальные перевороты считалось делом сравнительно очень нетрудным. Стоило устроить заговор, захватить в свои руки власть и затем обрушиться на головы своих подданных рядом благодетельных декретов. Человечество считали способным «познать по приказанию начальства» и провести в жизнь любую истину. Такое воз­зрение свойственно было, впрочем, не одним революционерам. Оно вы­текало из общего взгляда на социальные явления, по которому все они обусловливаются волею одного или нескольких лиц, держащих «кормило правления». В истории каждого народа можно насчитать несколько бо­лее или менее эксцентричных законодателей, мечтавших перестроить страну по планам, выдуманным в их кабинетах и санкционированным их властью. Это было время теологического периода в развитии социо­логии. Как в природе, во время господства этого периода в естествозна­нии, все явления объяснялись волею одного или нескольких божеств, так и в обществе ход его развития предполагался зависящим исключительно от влияния законодательной власти.

Развитие более правильных взглядов на социальные явления необхо­димо должно было вытеснить вышеупомянутые теории общественного явления, и только небольшая кучка революционеров держится их в на­стоящее время.

Когда убедились, что история создается взаимодействием народа и правительства, причем за народом остается гораздо бóльшая доля влия­ния, — большинство революционеров перестало мечтать о захвате власти. Они поняли, что перевороты бывают гораздо более прочными, когда они идут снизу. И вот явилось разработанных до мельчайших деталей социальных систем, которые предполагалось пропагандировать в массе, чтобы таким образом подготовить ее к желательному для рево­люционеров социальному перевороту.

«Социалистические писатели 30х и 40х годов, — говорит один из талантливейших учеников и популяризаторов Маркса, — составили, как известно, громадное множество планов желательного в интересах большинства народонаселения кооперативного устройства будущего об­щества. При этом, естественно, предполагалось, что люди могут по соб­ственному желанию ввести в употребление какую им угодно форму со­четания труда, лишь бы она казалась им выгодною и разумною».

Поскольку эти взгляды обусловливали собою изменение старой формулы революционеров «всё для народа» в том смысле, что всё должно быть сделано посредством народа, — они были шагом вперед в воззрениях социалистов, но и они не отводили надлежащего места законам обще­ственного развития. «Забывали, — говорит далее цитированный нами пи­сатель, — что форму общественного строя нельзя придумать, нельзя и воротить назад, как невозможно перескочить из ремесла, помимо ману­фактуры, в фабрику, и из фабрики в мануфактуру. Форма эта дается самой жизнью». На жизньто социалисты 30х и 40х годов не обратили внимания. Придуманная ими форма общежития считалась годною для общества, какова бы ни была его экономическая история: они не знали пределов своей реформаторской фантазии. Метафизическая сущностьпропаганда считалась способною изменять по произволу ход истории. Мысль считалась всем, жизнь — ничем. Серьезное внимание на те эле­менты социальных переворотов, которые составляют результат предше­ствующей жизни общества, — социалисты обратили очень недавно.

Родбертус, Энгельс, Карл Маркс, Дюринг образуют блестящую плеяду представителей позитивного периода в развитии социализма. У автора «Капитала» социализм является сам собою из хода экономиче­ского развития западноевропейских обществ. Маркс указывает нам, как сама жизнь намечает необходимые реформы общественной коопе­рации страны, как самая форма производства предрасполагает умы масс к принятию социалистических учений, которые до тех пор, пока не су­ществовало этой необходимой подготовки, были бессильны не только со­вершить переворот, но и создать более или менее значительную партию. Он показывает нам, когда, в каких формах и в каких пределах социали­стическая пропаганда может считаться производительною тратою сил. «Когда какоенибудь общество напало на след естественного закона своего развития, — говорит он, — оно не в состоянии ни перескочить че­рез естественные формы своего развития, ни отменить их при помощи декрета; но оно может облегчить и сократить мучения родов». Влиянию пропаганды он указывает таким образом пределы в экономической истории общества. Дюринг, признавая вполне влияние личностей на ход общественного развития, прибавляет, что деятельность личности должна иметь «широкую подкладку в настроении масс».

Казалось бы, что научное обоснование социализма ничего, кроме пользы, для него принести не может. На деле вышло не так. Сам Маркс не предвидел, вероятно, какие выводы сделают из его учения люди, кото­рым нужно, во что бы то ни стало, поддержать существующий порядок вещей. Мы говорим о выводах, которые делают из его учения наши либе­ральные публицисты. «В России социализм! — восклицают они: — да сам ересиарх Маркс не подписал бы ему permis de séjour в нашем отечестве. Ведь он признает, что социалистическая продукция должна развиться из капиталистической, и было время в западной Европе, когда остана­вливать развитие зарождавшегося капитала значило поворачивать на­зад колесо истории; вот почему Лассаль называет крестьянские войны в Германии реакционными. Россию нельзя еще назвать страной капита­листической продукции в том смысле, какой придает этому слову Маркс. Капиталистическое производство требует для своего развития образо­вания класса «свободных от всего» и «вольных, как птица» пролетариев, а у нас никакого обезземеления мужиков не было, напротив, наши кре­стьяне освобождены с землей, и крестьянская община служит лучшим оплотом против развития русского пролетариата. Россия застрахована от язвы социализма (блажен кто верует!). Закон смены экономических фазисов — есть общий закон для всякого общества, и, если вашим теориям и суждено когданибудь осуществиться, если социалистическую пропаганду и можно считать рациональной на Западе, то в России она и по Марксу несвоевременна!» — Поэтому, доскажем мы недосказанное в писаниях наших оппонентов, — задача русских последователей Маркса заключается в том, чтобы покровительствовать развитию отечественной промышленности, изменить вековым традициям своего народа и обезземеливать его, утешаясь сознанием того, что всё это необходимо для развития социализма в России.

Что касается до русских либералов, то им к подобной двойствен­ности не привыкать стать: известно, что они издавна имели одну мерку для Запада, другую для России; что, сочувствуя расширению прав чело­века в Европе, они пели панегирики расширению прав квартальных надзирателей у себя дома. Наши вольтерианцы бывали нередко самыми ярыми крепостниками; либеральный друг энциклопедистов — Екате­рина II — крестьянскими душами платила за свои египетские ночи. Еще Денис Давыдов воспевал эту двойственность в стихе:

А глядишь — наш Лафаэт, Брут или Фабриций Мужиков под пресс кладет

Вместе с свекловицей.

Но такие вещи могут проделывать только люди, у которых искрен­него отношения к проповедуемым ими убеждениям ровно столько же, сколько его было у римских авгуров времен Империи или сколько его есть у русских либералов времен Александра II. Социалистам же, дока­завшим не один раз, что они не отделяют слова от дела, класть мужика под усовершенствованный пресс капиталистического производства — вовсе не к лицу.

Посмотрим же, к чему обязывает нас учение Маркса, тем более, что это будет очень полезно нам ввиду необходимости установить исходные пункты нашей программы.

Общество не может перескочить через естественные фазы «своего развития, *когда оно напало на* след *естественного закона этого разви­тия»,* говорит Маркс. Значит, покуда общество не нападало еще на след этого закона, обуславливаемая этим последним смена экономических фазисов для него необязательна.

Естественно возникает вопрос: когда же западноевропейские об­щества — служившие объектом наблюдения для Маркса — напали на этот роковой след? Нам кажется, что это случилось именно тогда, когда пала западноевропейская община. Известно, что она разрушилась еще в борьбе с средневековым феодализмом. На месте общинного принципа, с его правом на землю каждого гражданина, стал сначала тот феодальный принцип, что право на землю дается только рождением, затем буржуаз­ный принцип — что землею может владеть всякий, кто в состоянии за­платить за нее деньги.

Самый серьезный кризис западноевропейские общества пережили именно тогда, когда разрушение общины видоизменило тип земельных отношений в народе. Чем обусловилось падение западноевропейской общины — для нас теперь не важно; мы констатируем только факт заме­щения индивидуализмом общинного принципа. Постепенно развиваясь, индивидуализм, по внутренней необходимости, должен был подкопать феодализм, с помощью нарождавшегося капитала, научных открытий и изобретений.

Феодализм, действительно, пал под соединенными ударами своих могучих противников; но не надо забывать, что «дух», сообщивший этому движению жизнь, одушевлявший эти открытия, — был дух лич­ности, индивидуализма... Этот принцип нашел свое политическое вопло­щение и произвел общественные потрясения — американскую революцию и французский переворот (Дрепэр). Войдя всецело в жизнь западно­европейских народов, пропитавши собой все взаимные отношения людей, он, естественно, мог погибнуть только вследствие в нем самом заклю­чавшихся противоречий; а эти последние могли выказаться во всей своей силе только в капиталистической продукции. Сплачивая большие массы рабочих на фабриках, создавая общие им всем интересы, приучая их к той «социализации труда», на которую указывает Маркс, одним словом, воспитывая в людях социальные привычки, которые были забиты со вре­мени падения общины, индивидуализм рыл сам себе могилу, и нет ничего удивительного в том, что социализм встречает такой радушный прием в местностях крупного машинного производства. Понятно поэтому всё значение капитализма — этой крайней формы воплощения индивидуа­лизма — в деле подготовления умов рабочих масс к восприятию социали­стических учений. В обществе, построенном на принципе индивидуа­лизма, но в котором не существует социализации труда на фабриках и крупная промышленность не создает общих интересов рабочих масс, социализм необходимо должен был встретить гораздо более холодный прием. Различные социалистические «утопии» появлялись и в средние века, но тогда социализм был исповедуем отдельными личностями, в луч­ших случаях создавал религиознокоммунистические секты; массовым же движением он стал только теперь, в классическое время капита­лизма, когда самою техникой производства люди обязываются к коллек­тивизму; владеть и работать машиной одному нет никакой возмож­ности, и рабочие должны владеть ею сообща, если не желают оставаться в вечной зависимости от фабриканта.

Теперь нам понятно, почему западноевропейские общества не могли ни «перескочить через естественные фазы своего развития, ни изме­нить их помощью декрета». Общественные привычки не могут быть изме­нены указом, точно так же, как не могут делать скачков. Изменение их обусловливается постепенным накоплением самых незначительных видоизменений.

Нам понятна также роль капитализма в деле постепенного спло­чения рабочих масс. На Западе он, действительно, был естественным предшественником социализма; но мы полагаем, что ход развития социа­лизма на Западе был бы совершенно иной, если бы община не пала там преждевременно. Сам принцип общественного землевладения не носит в себе того неизгладимого противоречия, каким страдает, положим, индивидуализм, поэтому он не носит в себе самом элементов своей по­гибели. Нам могут сказать, что противоречие принципа первобытной общины заключалось в том, что дальше своих пределов она ничего не видела, что она конкурировала со всеми другими общинами. Но мы возразим, что это было скорее в родовом, чем в первобытном общин­ном быте. Чтобы недалеко ходить за примером, мы укажем хоть на донских казаков, у которых земля находится во владении отдельных общин, но каждый член их считается вместе с тем членом всей казац­кой области; поэтому он может переходить из общины в общину, в каждой из них имея право на надел. И такая земельная и областная фе­дерация общин мыслима в любой стране, где общинный принцип не искажен противоположными ему влияниями. Точно так же возможность общинной обработки земли доказывается тем, что, даже при тепереш­них условиях, эта общинная обработка существует в некоторых от­дельных общинах. Факты эти крайне немногочисленны, но для доказа­тельства того, что общинное владение землею, как оно практикуется в первобытной общине, нисколько не мешает коллективной обработке земли, достаточно было бы и одного факта с тем условием, конечно, чтобы он не был создан искусственно. Итак, в принципе первобытной общины, как она существует, положим, в России, мы не видим никаких противоречий, которые осуждали бы ее на гибель.

Поэтому, пока за земельную общину держится большинство на­шего крестьянства, мы не можем считать наше отечество ступившим на путь того закона, по которому капиталистическая продукция была бы необходимою станциею на пути его прогресса. Тенденция этого за­кона будет заключаться, напротив, в понижении уровня социальных чувств нашего народа, между тем, как на Западе он был когдато явле­нием действительно прогрессивным.

Откуда же эта разница в оценке значения одной и той же формы кооперации? — спросит, быть может, читатель. Не то ли это самое, в чем упрекаете вы либералов? — Но вопрос идет не о том, хороша или дурна форма капиталистической продукции сама по себе, а о том, ка­кую форму кооперации она заменила собою. Если замененная ею форма общежития была низшего типа сравнительно с нею — общество прогрес­сировало; если же капитализм водворился в обществе, построенном на более справедливом принципе, — в общественном развитии был сделан попятный шаг.

Посмотрим же теперь, как развился капитализм на Западе и как он может развиться у нас. В первом случае он являлся на смену коопе­рации; хотя и отличной от него, но построенной на том же принципе индивидуализма (мы говорим о мануфактуре), поэтому «социализация труда» крупной промышленностью была положительным приобрете­нием для социальных привычек народных масс. У нас же капитализм вытеснит собою поземельную общину, т. е. такую форму кооперации, которая построена на гораздо более высоком принципе. И никакая «со­циализация труда» на фабриках не вознаградит того положительного упадка социальных чувств и привычек, который произойдет вследствие этого радикального изменения в отношениях народных масс к их глав­ному орудию труда — земле.

Вообще, история вовсе не есть однообразный механический про­цесс. Да и сам Карл Маркс не принадлежит, сколько нам известно, к числу людей, охотно укладывающих человечество на Прокрустово ложе «общих законов». Возражая Мальтусу по поводу его «Опыта о народонаселении», он говорит, что абстрактные законы размножения суще­ствуют только для животных и растений. Было бы очень непоследо­вательно с его стороны отрицать существование «абстрактных зако­нов» в вопросе о размножении человечества и признавать их в несравненно более сложных и запутанных явлениях развития человече­ских обществ. Выражаясь строже, надо сказать, что общие законы со­циальной динамики существуют, но, переплетаясь и комбинируясь раз­лично в различных обществах, они дают совершенно несходные резуль­таты точно так же, как одни и те же законы тяготения, дают в одном случае эллиптическую орбиту планеты, в другом — параболическую ор­биту кометы.

Итак, мы не видим основательности в тех соображениях, в силу которых заключают, что Россия *не может* миновать капиталистической продукции. Поэтому социалистическую агитацию в России мы не можем считать преждевременной. Напротив, мы думаем, что теперь она своевременнее, чем когдалибо, только ее исходная точка и практиче­ские задачи не те, что на Западе. Основания для этой разницы в рево­люционных приемах при поверхностном взгляде могут показаться незаслуживающими особенно внимания, но мы думаем, что много «раз­очарований» было бы избегнуто, много напрасно затраченных сил по­лучило бы должное приложение, если бы это различие в задачах рус­ских и западноевропейских социалистов было выяснено раньше. В чем же дело?

Задачи социальнореволюционной партии не могут быть тожде­ственны в двух обществах, экономическая история, современные формы общественных отношений которых представляют очень резкую раз­ницу. Если мы не хотим вернуться к метафизическому социализму 30х годов, мы должны признать, что максимум необходимых и возможных социальных реформ определяется формою землевладения и техникою земледелия, если речь идет о стране земледельческой, — формами и тех­никой промышленности, если говорим о стране, в которой преобладает обрабатывающая и добывающая промышленность.

Поясним нашу мысль примером. Возьмем два общества, положим, по 50 человек. Одно из них пусть состоит из рабочих ткацкой фаб­рики, где каждый станок составляет часть одной паровой машины. Если этим фабричным рабочим надоест работать на хозяина, то, как мы уже говорили выше, никакого другого способа владения этой машиной, кроме коллективного, им и придумать невозможно. Поэтому социаль­нореволюционная агитация на этой фабрике *может и должна* выста­вить на своем знамени принцип коллективного владения орудиями труда: техника производства создает необходимую для этого коллек­тивизма подготовку в умах и характерах рабочих. Допустим теперь, что другие 50 человек составляют деревенскую общину. Пусть в этой общине практикуется экстенсивная культура земли. Самое употребительное при такой обработке земледельческое орудие — соха, с кото­рою, как известно, может с удобством управляться один рабочий. Если эта община подвержена экономической эксплуатации со стороны госу­дарства или соседнего крупного землевладельца, то насущною задачею революционера будет устранение этих мешающих благосостоянию и дальнейшему развитию общины враждебных влияний; пропаганда же коллективного труда станет на очереди при замене экстенсивной куль­туры земли интенсивною и первобытных сох — орудиями, по самой при­роде своей требующими кооперации всех или нескольких членов общины. Когда эта община увидит необходимость завести, положим, па­ровой плуг, то пропаганда коллективного владения этим плугом будет несомненно успешна. «L'humanité agit avant de raisonner son action», и те или другие формы общественных отношений устанавливаются не «общественным договором», а экономическою необходимостью: роко­вая ошибка социалистов 30хгодов заключалась не в планах их, рассматриваемых безотносительно, а в том, что эти реформаторские планы совершенно игнорировали формы современной нам кооперации. Искренних и бескорыстных друзей человечества всегда и везде было очень и очень мало; тем с большей осмотрительностью должны они браться за практическую деятельность; тем строже должны они дер­жаться правила: прикладывать свои силы только там и тогда, — где и когда они принесут наибольшую пользу.

Желательные социалистам формы общественных отношений — кол­лективное владение землею и орудиями труда — еще не имеют практи­ческого приложения на Западе. В формах капиталистической продукции существует только намек на них. Поэтому задачи социальнореволю­ционной партии заключаются в обобщении этих элементов обще­ственного обновления, возведении их в стройную систему и в пропа­ганде в массах.

Способ капиталистической продукции таков, что пропаганда кол­лективного труда имеет столько же прецедентов в технике производ­ства, как и пропаганда коллективизма владения; даже более: воспри­имчивость масс к этой последней идее развивалась именно из факта коллективного труда и только из него.

В нашем отечестве дело обстоит не так. Россия — страна, в которой земледельческое население составляет громадное большинство. Про­мышленных рабочих в ней едва ли можно насчитать даже один мил­лион[[9]](#footnote-9), да и из этого сравнительно ничтожного числа большинство —

земледельцы по симпатиям и положению. Преобладающая форма земле­владения в России не только не нуждается в пропаганде, но составляет самую характерную черту в отношениях нашего крестьянства к земле, она составляет для крестьянина завет всей его истории.

Коллективный труд не только служит у нас прецедентом коллек­тивного владения, но, напротив, он сам может развиться только из этого последнего. Генезис этих двух главных черт социалистической продукции, как видит читатель, будет у нас совершенно обратный. Мы говорим «будет», потому что теперь, по нашему мнению, еще не на­стало время пропаганды коллективного труда. А не настало оно по­тому, что при том первобытном способе земледелия, какой практи­куется нашим крестьянством, коллективный труд немного изменил бы условия успешности труда. Там же, где успешность труда находится в большей зависимости от дружного, артельного ведения дела — во все­возможных промыслах, — такая пропаганда может и должна иметь успех. Но там мы и без того видим всестороннее проведение артель­ного принципа в отношении русского рабочего люда; если наши промышленные артели и клонятся к упадку, то главная причина этого за­ключается во вредном влиянии кулаков, существование которых так же необходимо в нынешнем государстве, как существование паразитов на теле нечистоплотного человека. Значит, главные усилия и здесь долж­ны быть направлены на устранение развращающего влияния современ­ного государства. А оно может быть устранено только окончатель­ным разрушением государства и предоставлением нашему освобожден­ному крестьянству возможности устраиваться «на всей своей воле».

Короче сказать, одно из требований западноевропейского социа­лизма, коллективизм владения, составляет у нас существующий факт; другое, коллективизм труда, не имеет под собою почвы в технике рус­ского земледелия.

Таким образом, мы à priori пришли к тем же практическим зада­чам, которые ставили себе титаны народнореволюционной обороны: Болотников, Булавин, Разин, Пугачев и другие.

Мы пришли к «Земле и Воле».

Но тем самым центр тяжести нашей деятельности переносится из сферы пропаганды лучших идеалов общественности на создание боевой народнореволюционной организации, для осуществления народноре­волюционного переворота в возможно более близком будущем.

Практика 1873—1875 гг. привела большинство незараженных док­тринерством революционеров к тем же выводам. Вот что говорил один из выдающихся представителей тогдашнего движения, Мышкин, перед особым присутствием правительствующего сената, 15 ноября 1877 г.: «Наша практическая задача, — говорил он, — должна состоять в сплоче­нии, в объединении революционных сил, революционных стремлений, в слиянии двух главных революционных потоков: одного, недавно воз­никшего и проявившего уже достаточную силу — в интеллигенции, и другого, более глубокого, более широкого, никогда не иссякавшего потока — народно-революционного».

В следующих №№мы постараемся показать, какие данные суще­ствуют в нашей истории и современной действительности для создания революционной организации; теперь же мы желаем предупредить одно очень вероятное возражение. Трудно строить практическую програм­му — скажут нам — на основании земельных отношений, которые не сегоднязавтра могут быть разрушены правительственными распоряже­ниями. Известно, что правительство начинает выказывать большую склонность к введению участкового землевладения; а когда оно будет введено, русский народ станет на след того закона, по которому только капитализм может привести его к социалистической общине. — Это не совсем так. Введение той или другой формы кооперации важно по тому влиянию, которое оказывает она на изменение народных привычек. Что коренного изменения народного характера нельзя ожидать тотчас же за падением общины — эту вполне понятную и à priori мысль, — дока­зывают некоторые факты из жизни малороссов. Влияние чуждой им польской культуры разрушило их поземельную общину уже несколько **веков назад.** Между тем, наделавшее столько шуму «чигиринское дело» началось именно изза стремления крестьян ввести у себя общинное землевладение, таких фактов, конечно, не много, но они доказывают, что коренного изменения не произошло и там.

А покуда настроение народных масс останется таким же, как те­перь, наша программа не нуждается в изменении.

### II.

В № 3 нашего органа мы высказали наш взгляд на практические цели социальной партии в России, сводя их к созданию боевой народнореволюционной организации под знаменем Земли и Воли: волнения фаб­ричного населения, постоянно усиливающиеся и составляющие теперь злобу дня, заставляют нас раньше, чем мы рассчитывали, коснуться той роли, которая должна принадлежать нашим городским рабочим в этой организации.

Вопрос о городском рабочем принадлежит к числу тех, которые, можно сказать, самою жизнью самостоятельно выдвигаются вперед, на подобающее им место, вопреки априорным теоретическим решениям революционных деятелей. В прошлом, не без некоторого основания, мы обращали все свои надежды, употребляли все свои усилия — на деревен­скую массу. Городской рабочий занимал второстепенное место в расче­тах революционеров, ему посвящалась, можно сказать, только сверх­штатная часть сил. В городе пропаганда велась между делом, в минуты, когда деревня почемулибо была недоступна для пропагандиста, и велась при том исключительно с целью выработать из городского рабочего пропагандиста для деревни же. Такое отношение к делу, естественно, исключало возможность как настойчивой, систематической пропа­ганды, так и, в особенности, организации городских рабочих, и в настоящее время дает себя чувствовать очень плачевными результатами.

Городской рабочий, несмотря на сравнительную незначительность затраченных на него сил, проникся идеями социализма в довольно силь­ной степени. Теперь уже трудно встретить такую фабрику или завод, или даже скольконибудь значительную мастерскую, где нельзя было бы найти рабочихсоциалистов. Но как ни отрадны подобные явления, они, однако, лишаются огромной доли своего значения, когда мы начинаем ближе присматриваться к положению этих спропагандированных рабочих в среде их товарищей. В течение минувшего года мы видели не­сколько крупных стачек на разных фабриках и заводах. Где в это время были наши социалисты, какую роль играли они в этих движениях? Почти никакой. Иногда о них вовсе не было слышно, в тех же случаях, когда они пытались действовать, влияние их оказывалось со­вершенно ничтожным. И это вполне понятно. Наши рабочиесоциа­листы даже между собою не связаны, не сорганизованы. «Северный Союз» представляет первую попытку организации. До последнего же времени рабочиесоциалисты были разбиты на мелкие кружки, задава­вшиеся почти исключительно целями самообразования, имевшие иногда кассы, библиотеки, и в практической деятельности не шедшие дальше пропаганды. Рабочая масса относилась к рабочимсоциалистам, как к чемуто чуждому, относилась часто насмешливо, иногда даже вра­ждебно, и это — факт такого рода, в котором, к прискорбию, не может не сознаться всякий, знакомый с делом. Интересно, что масса даже сразу окрестила рабочихсоциалистов именем «студентов», как бы на­мекая на их отчужденность, и эта кличка лишь в самое последнее время начала заменяться названием «социалиста». Понятно, что при таком взаимном отношении самая пропаганда не могла иметь большого успеха и вылавливала только отдельных личностей, не увлекая за собою массы.

Нам кажется, что причина этих печальных явлений заключается в самой постановке деятельности социалистов, и что при такой поста­новке масса рабочих никак не могла относиться к своим товарищамсоциалистам иначе, чем относилась.

Прежде всего, рабочиесоциалисты совершенно не были организованы, а, следовательно, не имели возможности действовать на массу дружно, систематично; тем менее они имели возможность обратить на себя внимание массы какимнибудь крупным проявлением своих симпа­тий, своих желаний действовать в интересах рабочих. Сверх того, ставя своей целью пропаганду, развитие и образование себя самих и всего ра­бочего сословия, социалисты этим самым выходили из сферы тех инте­ресов, которыми живет масса, которые ей наиболее близки и дороги. Масса существенно, кровно заинтересована прибавкой или уменьше­нием заработной платы, большей или меньшей прижимкой хозяев и мастеров, бóльшей или меньшей свирепостью городового. А социа­листы разводят перед нею разные теории, призывают ее к развитию, к образованию и тому подобным вещам, сводящимся иногда к чтению лекций о каменном периоде или о планетах небесных. Как может отно­ситься масса к подобным людям? Она только видит в них нечто отлич­ное от себя, думающее не в унисон с нею, иногда насмешливо задева­ющее ее верования и надежды, говорящее даже несколько иным языком; но какойнибудь пользы для себя она не видит, не видит даже их желания быть полезными, потому что не понимает, каким образом све­дения о каменном периоде могут привести к устранению чересчур при­дирчивого табельщика.

А между тем, масса всё это время жила своей жизнью, боролась за свои интересы и иногда практически ставила довольно радикальные решения социальных вопросов. Социалистам стоило только принять участие в этой жизни, в этой борьбе, обобщить решения и направить ее частные проявления в одно общее русло, и масса ясно увидела бы, что социалисты — ее друзья, ее помощники; тогда им не трудно было бы приобрести доверие и влияние, недостающее им теперь. Эта задача легко могла быть исполнена совокупными усилиями интеллигенции и социалистоврабочих, если бы первоначальная ложная постановка городского вопроса не сбивала их с пути. Надо было относиться к город­ским рабочим, как к целому, имеющему самостоятельное значение, надо было изыскивать средства влиять на всю их массу, а это было не­возможно до тех пор, пока в городских рабочих видели только мате­риал для вербовки отдельных личностей.

Серьезному отношению к городским рабочим всегда мешал взгляд на их значение, по которому им отводилось самое второстепенное место. Справедлив ли этот взгляд? Действительно ли городской рабочий остается без крупной роли в будущем социальном перевороте? Нам ка­жется, что это мнение совершенно ошибочно.

Наши крупные промышленные центры представляют нам скопле­ния десятков, иногда даже сотен тысяч рабочего люда. В огромном боль­шинстве случаев — всё это те же крестьяне, что и в деревне. Фабрика для них является только видом отхожего промысла и, отвлекая их от деревни, хотя бы на целые годы, не уничтожает, однако, их деревенских связей и симпатий. Вопрос аграрный, вопрос общинной самостоятель­ности, земля и воля, одинаково близки сердцу рабочего, как и кре­стьянам. Словом, это не оторванная от крестьянства масса, а часть того же самого крестьянства. Дело их одно — одна у них может и дол­жна быть борьба. А между тем, в городах собирается цвет деревен­ского населения: более молодые, более предприимчивые по своему под­бору, они, сверх того, устранены в городе от влияния более консерва­тивных и боязливых членов крестьянской семьи; они, наконец, более видели и слышали, более широко наблюдали все общественные отноше­ния. Не представляя западноевропейской оторванности от земледель­ческого класса, наши городские рабочие, одинаково с западными, составляют самый подвижной, наиболее удобовоспламеняющийся, наибо­лее способный к революционизированию слой населения. Благодаря этому они явятся драгоценными союзниками крестьян в момент со­циального переворота. Тактическое же значение подобного союзника очевидно для каждого. Как бы ни было единодушно восстание деревень, оно, однако, рискует быть подавленным централизованными силами го­сударства, если только не будет поддержано восстанием в самом цен­тре, в самом средоточии правительственной власти. Городская рево­люция должна и может отвлечь силы правительства и дать крестьян­скому восстанию время окрепнуть и развиться до степени непобеди­мости. Только при подобном условии и мыслим успех социального пере­ворота. Разойдясь по селам и деревням средней части России, из кото­рой пополняется, главным образом, их контингент, городские рабочие сыграют роль «воровских прелестников», оказавших столько услуг Разинскому и Пугачевскому движению, они подготовят почву для при­ближающейся лавины революционного движения; это вторая, не менее важная, служба, которую может сослужить город в общем ходе револю­ционных событий в России.

Но для исполнения подобной миссии нужна именно *масса* город­ских рабочих, нужны революционизирование *всей* массы и организа­ция, влияющая на *всю* массу. Осуществить как то, так и другое воз­можно лишь путем агитационной деятельности. Первое едва ли тре­бует особых пояснений. Конкретный ум рабочего плохо поддается на отвлеченные логические соображения; для него гораздо понятнее про­паганда фактами, тем более, что эта пропаганда фактами по необхо­димости должна стать на почву обыденных и осязательных для него интересов. Что касается организации, куда, конечно, должны войти наиболее выдающиеся лица, то где же, как не в действии, могут лучше определиться лица, способные к действию, к влиянию? Эти лица выдви­гаются борьбой, выясняются ею, и их остается тогда только вербовать. Приобретая таким образом вполне надежных людей, организация не поэтому только может рассчитывать на влияние, — они сверх того при­мут участие в борьбе за рабочие интересы, и масса тогда ясно увидит, что эти люди действительно стоят за нее, желают ей добра и умеют его достичь. Эта агитационная деятельность может вестись ежедневно и ежечасно на самых мелких даже фактах жизни рабочего, но особен­ный смысл и значение приобретает она во время стачек.

Каждый раз, когда рабочие той или другой фабрики сговариваются действовать заодно, вопрос об отношении к ним различных классов общества, до верховной власти включительно, ставится ребром. Рабо­чая масса на деле узнает своих друзей и врагов. Ей представляется хо­роший случай проверить искренность отношений к ней того вообра­жаемого союзника, на которого она рассчитывала столько времени и которому она *подарила* столько веков нищеты. Как только она начи­нает изнемогать в борьбе, она обращает свои мольбы к Зимнему или Аничкову дворцу, и каждый раз, разумеется, эти мольбы остаются гла­сом вопиющего в пустыне. И она начинает, наконец, понимать, как же­стоко ошиблась, рассчитывая на царскую помощь, а ежеминутная *при­жимка* со стороны хозяина не дает впасть в отчаяние, толкает ее на борьбу волейневолей.

Воспитательное значение таких разочарований очевидно, и нам удавалось проследить упадок веры в царскую помощь на тех фабриках, где к ней уже пробовали обращаться.

Но этого мало; совместная борьба рабочих с хозяевами развивает в них способность к согласному, единодушному действию. Рабочие разных губерний, иногда разных наречий, в спокойное время чуждав­шиеся друг друга, сплачиваются и объединяются во время стачки.

Идея солидарности интересов всего рабочего сословия и противо­положности их интересам привилегированных классов имеет превос­ходнейшую иллюстрацию в каждой стачке рабочих, в каждом столк­новении их с нанимателями. Денежная помощь стачечникам, а если можно, одновременное прекращение работы на нескольких фабриках служат прекрасным воспитательным средством для массы.

Нам могут заметить, что стачки не всегда оканчиваются удачно для рабочих и, в случае поражения, они производят деморализующее влияние на массу. Мы думаем, что нет ничего ошибочнее такого взгляда на дело.

В самом деле, постараемся определить, в чем собственно заклю­чается т. н. деморализующее влияние кончившихся неудачно народных движений. Неудача, застращивая массу, разрушает ее уверенность в соб­ственных силах. Но если бы с этим и пришлось согласиться без всяких оговорок, то и тогда можно обратить внимание читателя на то обстоя­тельство, что развитие самоуверенности в массе есть далеко не един­ственный хороший результат активной борьбы, с ним существует це­лый ряд положительных влияний этого способа действий, на которые неудача не оказывает никакого, или почти никакого, влияния. Более резкое определение идей рабочего сословия и, как неизбежное след­ствие этого, создание солидарности интересов внутри его, разочарование в помощи, ожидаемой со стороны правительства, — все эти резуль­таты получаются одинаково при *удачной* или *неудачной* стачке.

Что касается пресловутой потери самоуверенности в массах, нам кажется, этот вопрос решался слишком уж поспешно. Прежде чем те­рять чтолибо, нужно им обладать, прежде чем лишиться уверенности в своих силах, нужно обладать этой уверенностью, хотя бы в течение очень короткого времени. А всегда ли обладает ею масса? Конечно, да­леко не всегда. Очень часто она страдает именно полным отсутствием уверенности в своих силах; очень часто она имеет преувеличенное по­нятие о своей неспособности к сопротивлению. Представим же себе те­перь, что такая, не сознающая величины своих сил масса вступает в борьбу и, на первый раз, неудачно. Мы говорим, что результатом та­кого поражения будет не окончательный упадок самоуверенности в массе, но, напротив, убеждение в том, что победоносный противник да­леко не так страшен, как его рисовало раньше напуганное воображе­ние.

При первых встречах с европейцами, вооруженными огнестрельным оружием, дикари думают, что сами боги пошли на них войною. Только рядом столкновений с мнимыми богами, столкновений, всегда кончаю­щихся поражением дикарей, эти последние убеждаются в том, что про­тивники их простые люди и, как таковые, вовсе не могут считаться непобедимыми. Паника проходит, сопротивление становится всё более и более стойким, и европейцам тяжелым опытом приходится убедиться, что горсти удальцов, как бы хорошо ни была вооружена она, недоста­точно для завоевания страны.

«Не давайте массе вступать в открытую борьбу с ее притесните­лями: неизбежные в этой борьбе поражения только деморализуют массу, лишают ее надежды на успех», — говорят сторонники системы воздержания в деле революционной подготовки народа. Организуйте массу для борьбы, путем борьбы и во время борьбы: только таким обра­зом создадите вы в ней самодеятельность, самоуверенность и стойкость, каких она не имела до сих пор, и благодаря отсутствию которых десяти городовых бывает часто достаточно, чтобы разогнать и навести ужас на целую толпу рабочих, — отвечаем мы.

Агитация есть, по нашему мнению, единственно возможное сред­ство для достижения и упрочения влияния на массу; помимо ее воз­можно привлекать к делу только отдельных личностей, — но история создается народом, а не единицами. Или, может быть, мы пока еще на­столько слабы, что и не можем получить необходимого для нас влиявия на массу? Оставляя в стороне вопрос о нашей численности и силе, мы заметим только, что агитация есть лучшее средство для качествен­ного и количественного увеличения наших сил.

Что бы ни говорили о целях английских tradeunions, эти послед­ние обладают, во всяком случае, силой и влиянием, которым нельзя не позавидовать. Пусть читатель припомнит историю tradeunions до 1824 г., т. е. до отмены законов против коалиций, пусть припомнит он, каким путем добились английские рабочие этой отмены и, если только он не думает, что и с самого начала своей истории они держались ошибочных практических приемов, он неизбежно должен будет согла­ситься с нами в том, что агитационный путь воздействия на массу дает гораздо более плодотворные результаты и гораздо скорее ведет к цели, нежели практиковавшийся, так сказать, до вчерашнего дня способ вли­яния на *отдельных личностей,* — скорее ведет к цели уже потому, что не только не устраняет второго способа действий, но, напротив, дает возможность выбирать испытанных, действительно заслуживающих внимания личностей.

Влияйте на них, развивайте их, сколько позволяет ваше время и ваше собственное развитие, — это даст вам агитаторов более выработан­ных, ораторов более убедительных, но помните, что это только средство для лучшего достижения вашей главной цели — *агитации в массе.* Когда этим, выработанным вашим влиянием, личностям, представится случай воздействия на массу, не останавливайте их, хотя бы им угрожала ги­бель. С точки зрения нравственности, на вас не будет ответственности потому, что каждый революционер должен заранее привыкнуть к мысли, что судьба уже обрекла его; с точки зрения пользы для дела, вас нельзя будет упрекнуть потому, что никогда еще гибель личностей во имя интересов массы и на ее глазах не проходила бесследно в истории...

Сильно обострившаяся борьба может повести к гибели всех созна­тельных революционеров в данной местности. Поверхностному наблю­дателю может показаться, что дело придется начать сначала, что все труды пропали даром. Но это не так; личности погибли, но масса знает, за что они погибли, борьба дала ей опыт, которого она не имела раньше, борьба рассеяла ее иллюзии, она осветила настоящим светом смысл су­ществующих общественных отношений. Такие уроки не пропадают даром.

Личности гибнут, но революционная энергия единиц переходит сна­чала только в оппозиционную, а затем, малопомалу, в революционную *энергию масс.* В этом заключается весь смысл борьбы, этим объясняется также тайна иногда поистине невероятных успехов гонимых и пресле­дуемых религиозных сект и политических учений. Такой переход одного рода энергии в энергию другого, несомненно, высшего рода, никак не может считаться «неудачею», а потому и гибель личностей не может быть названа бесполезною. Заботы революционеров должны заключаться в том, чтобы найти наименьший эквивалент для такого перехода, ста­раться затратить *минимум сил,* необходимых в данном случае для влия­ния на массу.

Не говоря о множестве разнообразящихся до бесконечности прак­тических приемов, ведущих к этой цели, в каждом частном случае, мы уже указывали на *организацию,* как на главное постоянное условие сбе­режения сил революционеров и увеличения производительности их труда.

Организация русского рабочего сословия, конечно, не может брать *себе* за образец тех способов организаций, которые практикуются в Западной Европе — это различие обусловливается различием политиче­ских условий борьбы в России и на Западе. При массе опасностей, ко­торым подвергается всякая тайная организация, — а революционная ор­ганизация и не может быть другою у нас, при тех преследованиях, ко­торые грозят ее членам, выбор личностей должен быть строг и осмо­трителен.

Вытекающие отсюда трудности расширения организации должны вознаграждаться исключительными способностями и преданностью делу со стороны лиц, посвященных в ее тайны, «страшная тайна и величай­шее насилие в средствах» составляли отличительную черту английских рабочих союзов до 1824 года; и ни один мыслящий человек не упрекнет рабочую организацию за неразборчивость в средствах, когда она уви­дит себя вынужденною на насилие отвечать насилием, когда на террор правительства, закрепощающего рабочего фабриканту, карающего, как уголовное преступление, всякую попытку рабочих к улучшению своего положения, правительства, не останавливающегося перед поголовною экзекуциею детей, принимающих участие в стачке, — когда на белый террор такого правительства она ответит, наконец, красным...

## Поземельная община и ее вероятное будущее.

### I.

Вопрос об общинном и участковом землевладении, имеющий зна­чительный общенаучный интерес, приобретает особенную важность в нашем отечестве, где община является преобладающею формою отно­шения к земле громадного большинства крестьянства. От решения во­проса за или против общины зависит, конечно, положительное или отрицательное отношение к ней на практике, а с этим, в свою очередь, связана судьба многомиллионной массы, на благосостоянии которой прежде всего отразилось бы изменение господствующей ныне системы землевладения. Этой практической важностью вопроса и объясняется то значительное, для нашей литературы, количество исследований об об­щине, которое появилось до настоящего времени. В ней же лежит при­чина того интереса, с которым читающая публика относится к каждому вновь выходящему сочинению по этому вопросу. Но в большинстве вы­шедших до сих пор исследований поземельная община рассматривалась, так сказать, an sich: рассуждали об ее недостатках и преимуществах без всякого отношения как к прошедшей экономической истории, так и к современному складу того общества, в котором община составляет только небольшую экономическую ячейку. Вопрос об исторической смене форм отношений к земле, в зависимости от всей суммы стати­ческих и динамических влияний на эти отношения, можно сказать, только ставится на очередь; а, между тем, это вопрос очень важный и серьезный, не только в применении к поземельной общине, но и ко всем сферам междучеловеческих отношений. В данный момент сумма всех исторических влияний в обществе может быть такова, что, как бы хороши ни были сами по себе те или другие общественные формы, они будут обречены на неизбежную гибель в борьбе с враждебными им прин­ципами общежития. Даже более: в науке существует взгляд, по которому прогрессирующее общество неизбежно должно пройти через не­сколько форм экономических отношений; а потому отстаивать те или другие бытовые формы, имея в виду лишь их безотносительное превос­ходство, — с точки зрения этого учения — значит задерживать прогресс общества, «стремиться повернуть назад колесо истории». Ввиду этого, в странах, где общинное землевладение сохранилось еще в более или менее полном виде, практически важно решить: составляет ли позе­мельная община такую форму отношения людей к земле, которая са­мою историей осуждена на вымирание, или, напротив, повсеместное почти исчезновение земельного коллективизма обусловливается причи­нами, лежащими вне общины, а потому, несмотря на их несомненное участие во всех известных доселе случаях разрушения общины, могу­щими нейтрализоваться счастливою для общины комбинацией историче­ских влияний. Какова, в таком случае, должна быть эта комбинация? Наконец, мы, русские, можем поинтересоваться еще вопросом о совре­менном положении нашей общины. Быть может, внешние враждебные влияния до такой степени исказили принцип русской поземельной об­щины, что ее разрушение отныне становится очевидным и неминуемым, и меры для ее сохранения не будут достигать цели, по своей несвое­временности; тогда русскому общественному деятелю останется, ко­нечно, предоставить мертвым хоронить своих мертвецов и приняться за работу на пользу других, имеющих более надежное будущее, форм поземельного владения. Если о современном состоянии нашего крестьян­ского землевладения мы имели сведения и ранее выхода в свет 1го вы­пуска 4го тома «Сборника статистических сведений по Московской губернии», заключающего в себе обстоятельное описание существую­щих в ней «форм крестьянского землевладения», то о судьбе аграрной общины в зависимости от общего хода экономической и политической истории данной страны, как мы уже сказали, только начинают толко­вать наши исследователи.

Сочинение г. М. Ковалевского, ставящего себе задачею выяснение хода и причин разложения общинного землевладения, касается именно этой, до сих пор темной стороны аграрного коллективизма. С своей стороны, г. Орлов, составивший, по поручению Московского земства, вышеупомянутый выпуск статистического сборника, дает нам много но­вых, в высшей степени интересных данных для суждения о современном состоянии нашей общины в местности, которая более других испытала на себе историческое влияние государства, в настоящее же время яв­ляется одним из центров нашей промышленности. Каждая из этих особенностей изучаемой им местности могла влиять только отрицатель­ным образом на сохранение первобытных форм крестьянского земле­владения; поэтому подведение итогов этих влияний может дать некото­рый материал для поверки общих выводов г. Ковалевского, сделанных на основании истории общины в других странах. Посмотрим, однако, в чем состоят эти выводы.

До сих пор вышла только первая часть сочинения г. М. Ковалев­ского, заключающая в себе *«Общинное землевладение в колониях и влияние поземельной политики на его разложение».*

Но общие взгляды автора на историческую судьбу аграрной об­щины выясняются с достаточной полнотой как во введении к его труду, так и при изложении им аграрной истории в этих странах, в период, предшествующий появлению в них европейцев. Взгляды эти, по словам автора, в более сжатом виде, были уже высказаны им в его брошюре «О распадении общинного землевладения в кантоне Ваадт», изданной в Лондоне в 1876 г. Сущность их состоит в том, что «распадение общин­ного землевладения происходило и происходит под влиянием столкно­вений, в которые, рано или поздно, приходят интересы состоятельных и несостоятельных членов общин, с одной стороны, и выделившихся из общины частных владельцев, с другой». В три года, которые прошли со времени издания этой брошюры, автор «частью из книг, частью из лич­ных наблюдений, частью из продолжительных работ в центральных и местных архивах» еще более убедился в том, что «указанные... при­чины разложения общинных форм жизни и описанный им процесс са­мого разложения не лишены общего характера, и что всюду замена об­щинной собственности частного явилась результатом действий одного и того же мирового явления — борьбы интересов» (Общ. Земл., стр. 4). Поэтому он не только не изменил своих воззрений, но в настоящем труде задается целью «более широкого, нежели прежде, обоснования» этих воззрений. Таким образом, из приведенных уже слов г. М. Ковалевского читатель может видеть, что распадение поземельной общины возво­дится им на степень мирового явления, обусловливаемого притом не внешними, враждебными для коллективных форм землевладения, влия­ниями, но внутренними «самопроизвольными» причинами, которые за­ключаются, между прочим, в «мировом явлении борьбы интересов».

Автор не отрицает того, что в некоторых случаях разрушение поземельной общины может быть приписано чисто внешним, как он вы­ражается, «искусственным» причинам. Он даже упрекает Мэна в том, что последний «совершенно игнорирует роль, которую поземельной политике европейских государств пришлось играть в процессе разложения общинного землевладения в среде народов, постепенно подпавших их владычеству» (Общ. Земл., VI). Но, как видно из следующих страниц, «искусственные и случайные причины разложения общинного землевла­дения, в конце концов, ведут к тем же последствиям, что и самопроиз­вольные, то есть — к быстрому переходу мелкой собственности в круп­ную и сосредоточению поземельного владения в руках малочисленного класса капиталистовростовщиков» (Общ. Земл., стр. 20). Нужно заметить еще и то, что действие искусственных причин — по мнению автора — только довершает начавшееся самопроизвольное разложение общины, которое таким образом само собою привело бы к торжеству индивидуализма в имущественных отношениях людей. Так, например, заканчивая очерк аграрной истории у краснокожих до испанского за­воевания, г. Ковалевский говорит, что «еще задолго до прихода испан­цев начался процесс феодализации недвижимой собственности в боль­шей части центральной Америки, другими словами, в той части материка, которая, благодаря климатическим и целому ряду других условий, была призвана к преимущественному развитию гражданственности» (Общ. Земл., стр. 46).

Феодализация недвижимой собственности, вызванная самопроиз­вольными, по мнению автора, причинами, повела, в свою очередь, к индивидуальным захватам общинных земель со стороны местного слу­жилого сословия, «чем и положено было начало развитию крупного землевладения в ущерб имущественным интересам землевладельческих об­щин; разложение последних было *только ускорено с приходом испанцев»* (*Общ.* Земл., стр. 46). То же, по мнению автора, повторилось в Индии и Алжире. Английская поземельная политика в первой из названных стран без сомнения, приложила свою руку к разрушению коллективного землевладения. «Насильственное обращение большей части населения из прежнего положения общинных и частных собственников в положение арендаторов» (в Бомбее и Мадрасе)... «искусственное создание во всей южной и средней Индии класса крупных землевладельцев и мелких фер­меров правительственных земель... искажение системы общинного владе­ния землею в тех самых провинциях, в которых англичане признали по­лезным дальнейшее ее удержание» (Общ. Земл., стр. 157) — все эти меры, несмотря на их кажущееся разнообразие, одинаково способствовали созданию условий, при которых немыслимо было дальнейшее существо­вание общины. Но дело в том, что англичане не встретили в Индии еди­нообразных форм земельного владения. Это была страна с длинным историческим прошлым, в продолжение которого община переживала процесс медленного и «самопроизвольного» видоизменения и распаде­ния. Так же, как в Мексике и Перу, здесь еще до прихода европейцев развилась феодальная система, которая отличалась от средневекового европейского феодализма лишь отсутствием патримониальной юстиции», «по крайней мере, в области гражданского суда» (стр. 153). Отсутствие одного из «четырех моментов», обыкновенно, хотя и несправедливо, признаваемых историками средних веков единственными факторами германороманского феодализма[[10]](#footnote-10) (стр. 153), повело, конечно, к раз­нице в интенсивности процесса феодализации в Индии сравнительно с средневековой Европой; «но,— говорит г. М. Ковалевский, — я вовсе не думаю утверждать, что, не будь английского завоевания, результаты од­ного и того же процесса феодализации не оказались бы тождествен­ными. Пример Боснии в этом отношении слишком убедителен, чтобы позволить нам сомневаться на этот счет» (Общ. Земл., стр. 155).

Причины «перемен в системе поземельного владения» и возникно­вения феодализма в доанглийской Индии, даже в период мусульманского владычества в ней, после завоевания ее сначала арабами, затем монго­лами, по мнению автора, могут быть названы «частью насильственными, частью вызванными самой силою вещей» (Общ. Земл., стр. 149). Что же касается до изменения поземельных отношений в эпоху политической независимости Индии, то есть в эпоху владычества туземных раджей, то причины его автор не колеблется назвать «самопроизвольными». Смысл этих изменений и здесь был одинаков со смыслом насильственно, «искусственными причинами» вызванных аграрных переворотов. Мы позволим себе остановиться на их истории несколько более.

Древнейшим типом поземельных отношений в Индии, как и везде, была «родовая община, члены которой живут в нераздельности, обра­батывая землю сообща и удовлетворяя своим потребностям из общих доходов» (Общ. Земл., стр. 75). Под влиянием причин, о которых мы будем говорить ниже, сознание родства между ветвями родов становится слабее; в них является стремление к индивидуализации имущественных отношений, и нераздельная дотоле община распадается на несколько частей, связь которых между собою проявляется только в чрезвычай­ных случаях.

На этом не останавливается, однако, процесс разложения «архаического» коллективизма. Ведение хозяйства сообща прекращается и в подразделениях рода. На место общей обработки и общего хозяйства является система семейных наделов, величина которых определяется «степенью действительного или мнимого родства, в какой стоят главы нераздельных семей от действительного или мнимого основателя рода» (Общ. Земл., стр. 6). Но так как способ определения наделов в зави­симости от степеней родства со временем ведет к большим затруднениям, то малопомалу «индивидуальные наделы перестают зависеть в своем протяжении от близости их владельцев к общему родоначальнику; боль­ший или меньший их размер определяется теперь тем, как велико про­странство земли, подвергаемое фактической обработке тем или другим семейством» (Общ. Земл., стр. 80). Правом на надел в такой общине пользуются лишь коренные члены рода, все же новые колонисты бывают изъяты из пользования, по крайней мере, пахотной (то есть более цен­ной) землей. А между тем, количество этих новых поселенцев постоян­но возрастает благодаря самым разнообразным причинам; довольно сказать, что все это «члены чужих родов, добровольно или насиль­ственно покинувшие последние» (стр. 6). С течением времени численный перевес оказывается на их стороне, и они добиваются права на поль­зование общинной землей. Но так как среди них не может быть уже речи о степени родства с основателем рода; так как, кроме того, земледельческое хозяйство каждого из них начинается лишь со времени за­воевания ими равных с общинными старожилами прав, то, естественно, возникает система равных наделов, «поддерживаемых путем периоди­ческого передела земель общины». На этом оканчивается метаморфоз родовой общины — место ее занимает сельская. Но, как известно, и эта последняя, под влиянием тех или других, по мнению автора, самопроиз­вольных причин, заменяется подворнонаследственным владением, сна­чала усадьбами, потом пахотами, сенокосами, а наконец и всеми осталь­ными угодьями. Нераздельная семейная собственность является един­ственным остатком первобытного коммунизма. Но и она «рано или поздно поддается влиянию всеразлагающего процесса обособления ин­тересов»... («Большая семья уступает место выделившимся из нее ма­лым», стр. 87 Общ. Земл.).

Уже свод Ману упоминает о частной собственности на землю; в нем есть также указание на «отчуждение последней продажею», впро­чем «не иначе, как с согласия сограждан, родственников и соседей» (93 стр.). В период, отделяющий появление этого свода от составления Яджнавалькьи и Нарады — от IХго века до Р. X. до V—VI вв. по Р. X.,— «самопроизвольный» процесс распадения общин усиливается под влия­нием новых факторов: возрастания власти старейшин, образования ре­лигиозноученого сословия и эмиграции сельского населения в город­ские и промышленные центры. Рядом с ним происходит разложение се­мейной общины. Взаимная ответственность родственников ограничи­вается только некоторыми степенями родства в нисходящей и боковой линиях, «дети отвечают только друг за друга, за отца, деда, дядю и, наоборот, каждый из вышеуказанных членов рода только за остальных» Общ. Земл., стр. 108). Раздел семейной собственности значительно облегчается в сборниках индийского права, относящихся к V—VI в.в. по Р. X., «тогда как в своде Ману раздел оставшегося от родителей наследства допускается только в случае открыто выраженного желания старшим сыном; в Учреждениях Нарады он поставлен в зависимость от одного лишь уговора между членами семьи» (Общ. Земл., стр. 108). Десяти лет, отдельного от общего семейного хозяйства, управления своим имуществом достаточно для легального выделения из семьи.

Свобода отчуждаемости земли также делает шаг вперед. Сводом Ману отчуждение разрешалось под непременным условием согласия на него не только родственников, но и соседей, между тем как «в Учрежде­ниях Нарады выставляется одно лишь требование публичности в крепост­ных делах» (Общ. Земл., стр. 110).

Так, постепенно возрастая в своей интенсивности, процесс инди­видуализации имущественных отношений подготовлял почву для разру­шительного действия иностранных завоеваний. Ко времени монгольского владычества в Индии он проник еще далее как во взаимные отношения членов общин, так и в сферу семейной собственности. По словам г. Ко­валевского, успех индивидуализма «наглядно выступает как в большей легкости семейных разделов, так и в большей свободе распоряжения не только благоприобретенным, но и родовым имуществом, особенно когда дело идет о предоставлении тех или других имущественных выгод чле­нам жреческой касты — браминам» (Общ. Земл., стр. 113). Таким обра­зом и здесь поземельная политика завоевателей, христиан и мусульман, только завершила собою «самопроизвольный» процесс распадения «архаического коммунизма». Было бы излишне останавливаться на двух последних главах книги г. Ковалевского, так как излагаемая в них история аграрных отношений в Алжире приводит его к совершенно тождественным выводам относительно влияния различных категорий причин на разложение коллективных форм землевладения. Мы пола­гаем, что верно передадим взгляды автора, если резюмируем эти выводы следующим образом: во всех странах, о которых мы имеем историче­ские сведения, в Америке, Азии, Африке и, как можно догадываться по замечанию автора об исследователях русской общины, в Европе, — про­цесс разложения аграрной общины идет по равнодействию двух сил: «самопроизвольных», лежащих в самой организации первобытного об­щества, причин и внешних на него воздействий. Первая из слагаемых является, выражаясь математическим языком, величиной постоянной; вторая, в значительной степени, носит на себе местный, случайный характер переменной величины.

Каждая из этих сил действует по одному направлению, и резуль­татом их совместных влияний является полное торжество индивидуа­лизма в отношении — мы не говорим уже движимой, но и недвижимой собственности. Итак, полный коллективизм, как исходная точка об­щественноэкономического развития человеческих обществ, — полный индивидуализм, как результат этого развития, — такова, в немногих сло­вах, история каждого из известных нам народов. Если мы вернемся те­перь к поставленному нами в начале статьи вопросу о том — представляет ли поземельная община способную прогрессировать форму междучеловеческих отношений, или, в силу тех или других внутренних недо­статков ее организации, она должна уступить место другим формам собственности, то заключение, к которому мы можем придти на осно­вании исследования г. Ковалевского, будет не в пользу общины.

Если от книги г. Ковалевского мы перейдем к исследованию г. Ор­лова, то встретим в нем, повидимому, лишь новые доказательства не­минуемости разрушения нашей общины.

Правда, преобладающей формой крестьянского землевладения в Московской губернии остается, пока, община. Но и в нее закралось уже много чуждых, угрожающих ей полным разрушением элементов. В зна­чительном количестве селений мы встречаем пример того столкнове­ния интересов между «состоятельными и несостоятельными членами общины», которое, по словам г. Ковалевского, является одною из глав­ных причин ее распадения. Мы видим, что в некоторых общинах «исправ­ные домохозяева» противятся переделам земли и устанавливают для них определенные, иногда очень продолжительные сроки. Мы видим, что в некоторых общинах (и таких не мало) «наиболее состоятельные крестьяне сочувственно относятся к подворнонаследственному земле­владению, при котором бы была уничтожена круговая порука и устра­нены общие переделы полей» (стр. 275 Сборн. статист. свед., т. IV, в. 1). Мало того, «те крестьяне, которые лишились возможности вести земледельческое хозяйство (бесхозяйные дворы, гуляки и т. д.), которые порвали свою непосредственную связь с землей, которые добывают сред­ства к существованию исключительно сторонними заработками — все такие крестьяне, как и наиболее состоятельные, желали бы также за­мены мирового хозяйства подворнонаследственным (Ibid.).

Появляются общинники, по мнению которых мирское землевладе­ние с круговой порукой невыгодно потому, что лишает их возможности «скупать земли малосильных дворов и недоимщиков» (Ibid.).

Почти на наших глазах («последние 20—30 лет») происходит раз­ложение тех поземельных общин, которые состоят из нескольких се­лений и которые г. Орлов, называет, несовсем, как нам кажется, удач­ным именем «составных». «Число составных общин, — говорит г. Орлов (стр. 256 Сборн. статист. свед.), — с течением времени все более и более уменьшается: составные общины разлагаются на простые, ограничи­вающиеся одним селением».

Нельзя не обратить внимания также и на то, что «стремление удержать при каждом доме одни и те же приусадебные участки в по­стоянном пользовании и избежать чересполосицы, происходящей от отрезок и прирезок при переделе, привело некоторые общины к полному уничтожению переделов приусадебной земли» (стр. 84, 85 и 86 1го в. IV т. Сб.). «Очевидно, — скажем мы словами г. Орлова, — что крестьяне таких общин перешли от общинного владения приусадебною землей к подворному».

А с этого, как известно, всегда начинается процесс разрушения поземельной общины. Мы узнаем наконец, что в некоторых селениях совершается еще более заметный переход к подворнонаследственному владению. «В этих селениях пахотная земля разделена подворно и пе­риодических переделов не бывает» (стр. 6 Сборн.). Положим, что таких селений «не более десяти» и при том «лесная и выгонная земля и здесь находится в общем мирском владении, порядок которого ничем не отли­чается от обыкновенного общинного порядка» (Ibid.), но, вопервых, окончательный переход крестьян означенных селений к подворнонаследственному владению, без сомнения, есть только дело времени и, если угодно, успехов сельского хозяйства, а, вовторых, в данном случае для нас важна не количественная, а качественная сторона метаморфоза в крестьянском землевладении. Он совершается в сторону «индивидуали­зации имущественных отношений», то есть, именно, в том направлении, в каком, по словам г. Ковалевского, действуют «самопроизвольные при­чины».

Естественно предположить, что распадение нашей общины, по край­ней мере, до некоторой степени, обусловливается общими историче­скими законами, которым лишь помогают вступить в их права различ­ные, неблагоприятные для общины, внешние влияния. Иначе мы можем навлечь на себя упрек, с которым г. Ковалевский обращается к «недав­ним исследователям русской общины», будто бы, «совершенно упустив­шим из виду самопроизвольные причины разложения последней».

Но прежде чем перейти к анализу и классификации, по созданным автором «Общинного землевладения» рубрикам, причин разрушения нашей общины, посмотрим, сколько основательности в таком делении вообще.

### II.

Когда появился «Очерк истории распадения общины в кантоне Ваадт», в котором, как мы уже сказали выше, автор выражает те же взгляды на неизбежное распадение общины под влиянием «мирового явления борьбы интересов», г. Кареев, в апрельской книжке «Знания» за 1876 г., поставил ему на вид, что история общинного землевладения в названном кантоне прослежена им только с того времени, когда па­хотная земля уже перешла в частную собственность. «Когда тело уми­рает, — говорит г. Кареев, — начинается его разложение». Когда бывшие общинники поделили в наследственное владение пахотную землю — об­щину можно было назвать умершей, и с *этих пор* ее разложение было неизбежно и естественно. Но написать историю этого разложения не значит еще указать на причины смерти общины, так как всетаки остается не решенным вопрос: чем же вызвано было подворнонаследственное владение пахотною землею. По мнению г. Кареева, разрушение общины на западе Европы было вызвано не внутренними причинами, не экономической необходимостью, но чисто внешними влияниями средневекового общественного склада. В настоящем труде г. Ко­валевский проследил историю аграрной общины до самого ее возникно­вения, со времени перехода первобытных «стадных соединений» к осед­лому земледелию. По его словам, это исследование лишь подкрепляет его прежние выводы; но посмотрим, нет ли в нем и прежних ошибок.

Экономическая история человечества начинается, как сказано выше, с полнейшего коммунизма. Так как земледелие привлекает к себе внимание первобытных обществ сравнительно поздно, когда ни зверо­ловство и рыболовство, ни скотоводство не могут удовлетворять в доста­точной степени потребностям увеличившегося народонаселения данной территории, то «архаический коммунизм» имеет место первоначально лишь в отношении движимости. Причина, обусловливающая собой отсут­ствие института частной собственности, понятна. Надеяться на какойнибудь успех в борьбе с окружающими условиями первобытный человек может только в том случае, когда он соединяет свои усилия с усилиями ему подобных. Этато необходимость общих усилий в борьбе за суще­ствование и «ведет к аппроприации как движимой, так, с течением вре­мени, по мере оседания племен, и недвижимой собственности не частными лицами или семьями, а целыми группами индивидуумов разного пола, ведущими хозяйство сообща» (стр. 4—5 Общ. Земл.).

Но еще до перехода к земледелию в таких обществах можно заме­тить зародыши иных форм имущественных отношений. Некоторые пред­меты выделяются или в личную собственность того или другого члена общины, или в собственность «большего или меньшего числа живущих совместно и родственных друг другу семейств». Образуются категории родовой, семейной и личной собственности. Раньше всего в личную соб­ственность поступают «оружие и одежда», а также и украшения. В об­щем обладании семьи и рода или даже целого племени остаются «ору­дия производимого совместно промысла» и все, добываемое с помощью этих общих орудий труда. Этот «самопроизвольный процесс индивидуа­лизации движимой собственности» может дойти до большей или меньшей степени интенсивности, коснуться большего или меньшего количества находящихся в распоряжении первобытного человека движимых предме­тов, когда начнется переход к земледелию. Первоначально это последнее не обусловливает собою оседлости. «Некоторые американские племена, добывая средства к жизни преимущественно охотой на диких животных, в то же время практикуют и земледелие» (стр. 37 Общ. Земл.).

Там, где нет оседлости, не может быть и определенного отношения к земле. Засеянный участок бросается после одной или нескольких жатв, и земледельцыдилетанты переходят на новое место. Но, со време­нем, такой способ земледелия оказывается не в состоянии удовлетворить потребностям племени, и оно, силою экономической необходимости, вы­нуждается к исключительному занятию земледелием — к оседлости. Но сделать это не так легко, как может казаться с первого взгляда. Обык­новенно, такое оседание происходит на территории уже занятой дру­гими племенами, которые уступают пришлецам свое право на нее «не добровольно, а по принуждению» (стр. 39), т. е. после более или менее продолжительной борьбы. Если исход борьбы благоприятен для пришлого племени, оно получает фактическую возможность вести оседлый образ жизни. С этого момента и начинается его аграрная история, главным об­разом интересующая нас в настоящее время. Какие перемены в эконо­мических, а вследствие этого и правовых отношениях вызывает оседлое земледелие внутри племени? Чтобы ответить на этот вопрос, мы предло­жим читателю припомнить изложенную выше историю аграрных отно­шений в Индии. Мы видели, что первоначальным типом общественного устройства у земледельческих народов является родовая община, члены которой ведут хозяйство сообща. Читатель помнит, что родовая община, после целого ряда метаморфоз, уступает место сельской, а эта послед­няя семейной, а потом и личной. Он не забыл также и того, что личная земельная собственность ко времени английского завоевания в значи­тельной уже степени сконцентрировалась в руках высших сословий. То, что имело место в Индии — «не составляет исключительной особенности национальности или расы», а потому и может быть принято схемой аграрной истории всех племен и народов. Вопрос только в том, соста­вляет ли принятая г. Ковалевским схема эмпирический закон, лишь кон­статирующий последовательную смену общественных форм, но не выво­дящий ее необходимости из других более общих законов социологии, или, вместе с констатированием факта, г. Ковалевский дает ему полное и всестороннее объяснение, показывает, какими причинами вызывается именно этот, а не какойлибо другой ход истории имущественных отно­шений в обществе. Его указания на «самопроизвольные причины» заста­вляют дать утвердительный ответ. Г. Ковалевский не только констати­рует факт повсеместного исчезновения общины, но и дает ему объяснение. Остается проверить правильность последнего. Для удобства анализа, мы разделим историю первобытного коллективизма на периоды, со­образно с естественными фазами его развития и упадка, и рассмотрим причины, обусловливающие, по мнению автора, переход общины из од­ного фазиса в другой, — каждую в отдельности. Следуя этому плану, нам придется задаться вопросом о причинах: 1) возникновения частной соб­ственности в доземледельческий период; 2) распадения родовой общины на более мелкие единицы; 3) перехода ее в сельскую общину с системой периодических переделов и, наконец, 4) разрушения этой последней, об­разования семейной и личной собственности и обезземеления массы в пользу высших сословий.

Мы не могли найти в книге г. Ковалевского указаний на причины возникновения в первобытных обществах частной собственности на дви­жимость. Перечислив предметы, ранее других подвергающиеся личному присвоению, только «указав на самопроизвольный процесс индивидуализации движимой собственности» (стр. 35), но, не объяснив его, автор переходит «к вопросу о том, какое влияние оказывает переход того или другого племени к занятию земледелием и скотоводством на изменение в его среде форм имущественного права» (Ibid.). Таким образом, самая первая, важнейшая страница в истории частной собственности остается неразгаданной и темной. Мы не знаем, на каком основании автор считает возникновение частной собственности на движимость «самопроизволь­ным».

Факта ее возникновения никто, конечно, отрицать не станет; но если мы, до сих пор, можем лишь «указать» его, не приводя его в связь с какимлибо более общим и более для нас понятным разрядом явлений, то он продолжает оставаться фактом, установленным лишь эмпириче­ски, а известно, что такие факты, как бы широко ни было их распро­странение, очень рискованно возводить на степень какогото «мирового явления», в самом себе заключающего достаточную причину своего суще­ствования. Нельзя же, в самом деле, предположить, что на факте возникновения частной собственности обрывается причинная связь обществен­ных явлений, что это самое широкое обобщение, какое мы только мо­жем сделать, изучая сосуществование и последовательность этих явле­ний. Странно было бы думать, что факту повсеместного образования частной собственности суждено играть в общественных науках ту же роль, какую в естествознании играет факт взаимного притяжения тел. Очевидно, институт личной собственности в отношении как движимости, так и недвижимости, должен и может найти себе объяснение в свойствах человеческой природы или общественной организации, или, наконец, в их взаимодействии, а пока мы не нашли для него объяснения, мы не имеем достаточно основания для зачисления его в разряд «самопроиз­вольных» явлений, не говоря уже о путанице понятий, к какой может повести принятая автором терминология. Относительно любой из при­чин, действующих как в обществе, так и во всех других сферах явлений природы, возможно предположение, что влияние ее может нейтрализо­ваться воздействием других причин, или что даже она сама, действуя при других условиях, может повести к диаметрально противоположным ре­зультатам; а между тем, называя процесс «индивидуализации имуще­ственных отношений» самопроизвольным, автор как бы исключает, для вызывающей этот процесс и даже не указанной им причины, возмож­ность сказанного предположения.

Нам кажется, что причина возникновения в первобытном обществе частной собственности на движимость заключается в свойствах первобытных орудий и обусловливаемой ими организации труда. Если наше предположение окажется верным, то интересующий нас «самопроизволь­ный» процесс сведется на степень общественного явления, обусловлива­емого не более, как техникой производства в данном обществе; т. е. его прогрессивный и регрессивный метаморфоз будет поставлен в зависи­мость опятьтаки от той же силы экономической необходимости, кото­рая, по мнению самого автора, «вызвала к жизни архаический ком­мунизм». Мнение же наше о причинах возникновения индивидуального права собственности основывается на следующих соображениях. Из при­водимых г. Ковалевским примеров мы видим, что ранее других подверга­ются личному присвоению те орудия труда, которыми, в момент работы, может пользоваться лишь один индивидуум: таково, например, первобыт­ное оружие у ботокудов и дакотов, рыбачья лодка с ее принадлежно­стями (стр. 32), шило у эскимосов и т. п. предметы. Наоборот, более других в общем владении остаются такие орудия труда, которые тре­буют для их употребления в дело соединения усилий нескольких человек или, даже, семейств. Количество совладельцев таких орудий прямо про­порционально числу работающих с их помощью членов общества. Мы говорили уже выше, со слов г. Ковалевского, что «орудия производимого совместно промысла... должны быть отнесены... к составным частям се­мейной и родовой собственности». Взявши приводимый им пример эски­мосов, мы увидим, что предметом собственности, находящейся во владе­нии от одного до трех семейств, служат: палатка с ее принадлежно­стями, *большая ладья,* служащая при ловле китов, сани и запас прови­зии, достаточный для прокормления всех, держащих общий очаг лиц» (стр. 33 Общ. Земл.). Но есть род предметов, имеющий еще больший круг совладельцев: сюда относятся — «деревянная постройка для зимы и продукты китового промысла в количестве, достаточном для прокормле­ния *всех соединившихся для возведения самой постройки* и живущих в ней совместно семейств, равно и для освещения жилищ в течение беско­нечных зимних ночей». Все эти предметы принадлежат к категории *«общественной»* собственности. «То же воззрение на жилище, *как на до­стояние нескольких соединившихся для возведения* его семейств, встре­чается и у нуткас» (стр. 33).

Таким образом, не только орудия, но и продукты труда, требую­щего для своего выполнения общих усилий нескольких лиц, поступают в общую собственность семьи или рода. То же нужно сказать о предметах, приобретение которых в частную собственность может представить не­которые экономические неудобства и которые, с другой стороны, могут удовлетворять потребностям многих семей, находясь в общем владении; такие предметы составляют объект общественной собственности даже в обществах, где от первобытного коллективизма остаются лишь немно­гие следы, — таково приобретение мирских быков в русских крестьян­ских селениях. Наконец, избегают индивидуального присвоения такие предметы, которые при разделении труда в данной группе индивидуумов служат для удовлетворения общих потребностей: «о краснокожих Бра­зилии доктор фон Мартиус сообщает, что рядом с индивидуальной соб­ственностью, предметами которой являются оружие и одежда, у них встречается и семейная, в состав которой входит домашняя утварь, както: снаряды для растирания зерна и обращения его в муку, кухон­ное горшки и тому подобное» (стр. 33).

Что касается продуктов труда, исполняемого с помощью находя­щихся в индивидуальном владении орудий, то некоторое время они про­должают еще поступать в раздел между всеми членами племени.

У дакота убитые им буйволы служат для пропитания всего племени (стр. 28). Про ботокудов пишут, что у них: «все и каждый из членов племени в равной степени призываются к употреблению в пищу мяса убитого» («какогонибудь крупного зверя») (стр. 29); но со временем эти предметы поступают в исключительное пользование добывшего их лица. Г. Ковалевский говорит, что первоначальное число предметов, подлежа­щих индивидуальному присвоению (оружие и одежда), «с течением времени увеличивается путем присоединения к ним тех или других предметов, созданных частной предприимчивостью того или другого лица, както: насажденных его рукою деревьев, прирученных им же самим животных и тому подобное, а равно и тех, которые достались ему путем насиль­ственного похищения» (стр. 35 Общ. Земл.). Очевидно, ни одно из этих предприятий не может быть исполнено с голыми руками, а при существо­вании, напр., в Индийском праве, требования, чтобы подобного рода «имущество было приобретено помимо всяких затрат со стороны семьи» (стр. 109), остается одно возможное предположение, что орудия, с по­мощью которых добывались эти объекты собственности, находились в личном владении приобретателя. Конечно, переход от права всего пле­мени на плоды личного труда и личной инициативы, как это мы видели у ботокудов, до постановлений, напр., Нарады, которая говорит, что «в раздел не поступает все, приобретенное мужеством, знанием, а равно и женино имущество» (Общ. Землевл., стр. 110), — такой переход совер­шается очень медленно и имеет множество промежуточных ступеней. Ко времени его окончательного завершения в обществе действует уже много других, разрушающих коллективизм, влияний; но нам важно то, что, на основании всех вышеприведенных данных, первоначальной при­чиною отнесения предметов к разным категориям собственности, мы должны признать различные свойства различных орудий труда; ими обусловливается тот или другой вид как организации труда, так и аппроприации продуктов труда в первобытных обществах. Известно, ка­ковы свойства большинства первобытных орудий. Человек начинает свою борьбу с природой, будучи вооружен только жалкими кремневыми изде­лиями; долгое время он не знает даже железа. Экономическая необходи­мость заставляет первобытных людей скучиваться, по выражению г. Ко­валевского, «в стадные соединения»; она заставляет их трудиться для об­щей цели.

91 Но посмотрите, какая разница в организации труда в группе перво­бытных людей, совместно добывающих средства к существованию, и на современной западноевропейской фабрике в настоящем смысле этого слова. Труд фабричных рабочих представляет собою один организм, остов которого образует машина; усилия каждой трудящейся единицыимеют смысл лишь постольку, поскольку они приспособлены к усилиям других единиц, — без этого условия они теряют всякое значение. Техника современного производства не дает фактической, материальной возмож­ности существованию изолированного труда. Сложная машина только и может быть пущена в ход трудом нескольких человек. Поэтому она не только обязывает людей к коллективизму труда, но и логически неиз­бежно ведет к коллективизму владения. Производительные ассоциации на Западе служат одним из симптомов такой тенденции. Не то в ассо­циации первобытных людей. Совокупность усилий трудящихся единиц получает в ней значение только — как выражаются в логике — «через простое перечисление». Обстоятельства могут сложиться так, что чем больше единиц соединит свой труд, тем больше он будет иметь успеха. Но каждая из них работает с помощью отдельных, часто совершенно одинаковых орудий; какойнибудь лук или бумеранг не только не тре­бует для своего употребления труда нескольких человек, но и не может, в момент работы, служить более, чем одному человеку. Экономически необходим в таких ассоциациях только коллективизм труда, но не вла­дения. Вот почему оружие, как мы видели, раньше всего отходит в част­ную собственность. В этом и заключается неустойчивость «архаиче­ского коммунизма». Едва ослабеет соединившая людей сила необходи­мости, едва ориентируется первобытный человек в окружающих его условиях — его орудия дают ему возможность трудиться независимо от других. «При взаимодействии в борьбе, целью которой является утили­зация людьми тех или других предметов... обращение последних в объекты владения и пользования, другими словами, в вещи не того или дру­гого индивидуума, а всей группы последних, является столь же необходи­мым, сколько и неизбежным последствием» (Общ. Земл., стр. 34).

Но там, где нет «взаимодействия» в труде, «столь же необходимым, сколько и неизбежным» кажется нам возникновение частной собствен­ности. Мы видели уже, что сумма подлежащих индивидуальному при­своению предметов увеличивается, со временем всем добытым «помимо общих затрат». Выдающиеся способности или смышленность являются основанием экономического неравенства в первобытном обществе; «ар­хаический коммунизм» заболевает хроническим недугом и быстрыми ша­гами идет к разрушению.

Орудия или продукты общего труда остаются некоторое время в общем владении, пока увеличенное множеством, сосуществующих с ука­занными влияний экономическое неравенство в обществе не доставит, наконец возможности приобрестъ их в собственность одному лицу, на которое другие работают по найму или принуждению.

Так, русские рыболовные артели уступают место капиталистиче­ской организации этого промысла.

Только в этом смысле, думается нам, можно назвать «самопроиз­вольным» процесс индивидуализации имущественных отношений: он является неизбежным при данном, далеко не постоянном, состоянии ору­дий человеческого труда. Ниже мы вернемся к тому значению, какое мо­жет иметь, по нашему мнению, указанное ограничение в исторической судьбе коллективизма; теперь же перейдем к рассмотрению «самопроиз­вольных» причин распадения первобытной общины, со времени оконча­тельного перехода ее членов к оседлому земледелию.

### III

Родовая община, с общинной эксплуатацией полей, этот древней­ший тип поземельных отношений, распадается, как мы знаем, на не­сколько частей сообразно разветвлениям рода. К сожалению, о процессе ее распадения мы должны сказать почти то же, что и о первоначальном возникновении права частной собственности на движимые пред­меты. Нам не совсем понятны вызывающие его причины, а потому мы затрудняемся отнести процесс распадения поземельной общины к числу явлений, обусловливаемых внутренними, «самопроизвольными» причи­нами. В самом деле, чем вызвано, по мнению автора, распадение родовой общины? Насколько мы могли его понять, причины распадения заклю­чаются, вопервых, в увеличении числа членов рода, происходящем, с одной стороны, вследствие естественного прироста населения, а с дру­гой — вследствие принятия родом в свой состав «как первоначальных по­селенцев завоеванной ими местности, так и отщепенцев от других родов» (стр. 5 Общ. Земл.); вторая причина состоит в вызываемом увели­чением населения ослаблении родственной связи между членами об­щины. «Не сдерживаемые более воедино узами крови, — говорит г. Кова­левский, — нераздельные семьи приходят постепенно, путем опыта, к со­знанию разногласия, существующего между интересами каждого из них и интересами всех» (Ibid.).

«По мере удаления от первоначального поселения родов в пределах завоеванной ими территории, — повторяет он в главе о *современных формах общинного землевладения в Индии,* — сознание кровного родства между отдельными ветвями рода необходимо должно ослабевать. С по­степенным упадком этого сознания обнаруживается, с одной стороны, в каждом из родовых подразделений желание устроить свои имуществен­ные отношения таким образом, чтобы они стояли вне сферы участия и вмешательства более или менее чуждых ему остальных подразделений рода, а с другой...» и т. д.

Что касается до ассимиляции родом новых поселенцев, то, как видно из разбираемой же книги, это не везде и не всегда имело место; мексиканские и перуанские общины, в эпоху занятия этих стран испан­цами, не принимали в свою среду новых поселенцев. Против их вторже­ния «община находила надежное средство в строгом соблюдении пра­вила касательно совершенного устранения от выгод общинного пользо­вания как новых поселенцев, так и членов соседних общин» (стр. 43).

Сведения эти почерпнуты г. Ковалевским из отчета Алонзо Зуриты, который застал у краснокожих «родовую общину с семейными наде­лами, размер которых определяется законами наследования» (стр. 40). Нас удивляет несколько, почему автор полагает, что такая община была «древнейшим типом землевладельческой общины в среде краснокожих» (стр. 42) — этотем более непонятно, что сам же он цитирует описание Стифенсом одного из племен группы Майо, в котором отдельные семьи обрабатывают землю сообща. Продукты урожаев поступают на хранение в особо устроенные для того магазины, из которых ежедневно отпускается количество, необходимое для прокормления всего племени и т. д. (стр. 38). Вероятнее и сообразнее с принятой автором общей схемой истории человечества — предположить, что община, которую застал Зурита в Мексике и Перу, представляла собою не более, как одну из сту­пеней распадения описанного Стифенсом типа родового союза. А так как нет основания думать, что устранение от выгод общинного пользо­вания членов других родов являлось лишь после исчезновения общинной эксплуатации полей в Мексике и Перу, то можно принять, что распределение на отдельные ветви родовой общины краснокожих не может быть приписано, хотя бы и частью, влиянию новых поселенцев. Остается осла­бление родственной связи под влиянием естественного прироста населе­ния. Но мы думали; что, указывая на роль последнего фактора в истории общины, автор принял следствие за причину. Можно признать, как нам кажется, общим правилом, что не родственные отношения определяют собою экономические, а, наоборот, характер первых целиком зависит от последних. Члены отдельной семьи никогда не могли утерять сознание существующей между ними кровной связи, а между тем, постепенное разложение «семейной общины» представляет такой же неоспоримый факт, как и распадение рода на отдельные ветви и семьи. Точно так же не раз было указываемо на изменение отношений в среде современной западноевропейской семьи под влиянием капиталистической продукции. Непонятно, вообще, каким образом может возникнуть «сознание разно­гласия между интересами» членов общины, вроде южнославянских за­друг, «практикующих начало нераздельности имуществ и общинной эксплуатации» (стр. 75). К такому сознанию отдельные семьи общины приходят, как мы видели, «путем опыта», но в чем же заключается реаль­ная основа подобного опыта? Мы не думаем, чтобы она могла иметь чтолибо общее с генеалогией отдельных семей. Если читатель находит скольконибудь вероятным наше объяснение возникновения индивидуаль­ной собственности свойствами первобытных орудий труда, то мы позво­лим себе предположить в распадении родовой общины дальнейшее влия­ние причин, уже нарушивших, по отношению к движимости, коренной принцип коллективизма. Кроме того, нужно иметь в виду и другие фак­торы. Припомним, что оседание племени в пределах данной территории могло совершиться лишь под условием победоносной борьбы с ее або­ригенами. «Покоренные туземцы, — говорит г. Ковалевский, — составляю­щие на первых порах, если не все без исключения, то... в громадном большинстве, зависимый или полусвободный класс... бывают устранены от пользования общинной землею» (стр. 5).

Вследствие этого в недрах общества возникает многовековой про­цесс борьбы между победителями и побежденными. Одни стремятся удержать основанное на насилии status quo, другие добиваются измене­ния его в свою пользу. Вызываемые этим процессом формы отношений к земле, «отличаясь крайним разнообразием, отвечают каждая той или другой стадии его развития» (стр. 39). В этом, как нельзя более удач­ном, выражении содержится разгадка дальнейшей аграрной истории общества, основанного на завоевании. Мы не понимаем лишь окончания только что цитированной фразы, в котором он называет переживаемые общинные метаморфозы «самопроизвольными».

С известными читателю ограничениями, мы согласились назвать та­ким образом процесс индивидуализации собственности, обусловливае­мый свойствами орудий труда. Но изменения, внесенные в общину за­воеванием, нельзя назвать иначе, как изменениями под давлением внеш­них влияний. Последние разнообразятся тысячами случайных обстоя­тельств. Численное отношение между победителями и побежденными; большая или меньшая разность культуры приходящих в столкновение племен; их религиозные воззрения и т. п., все это имеет значение в аграрной истории общества, все это видоизменяет ее, сообразно с раз­личными комбинациями указанных и множества других условий. Не без значительного влияния на дальнейшую судьбу общины остается и ее военная организация у завоевательного племени. Г. Сокальский в военноиерархической организации англосаксонской сельской общины справедливо, по нашему мнению, видит первый и важнейший элемент ее разрушения. Игнорируя влияние завоевания, в момент «оседания», на дальнейшую судьбу общины; называя «самопроизвольным» в значительной мере обусловливаемый завоеванием процесс ее распадения, ав­тор без достаточного, как нам кажется, основания выделяет в особую категорию «искусственных» разрушителей законодательную колониаль­ную политику европейцев. Если отрицательное влияние испанского за­воевания должно считать в числе «искусственных причин» разрушения общины у краснокожих, то почему же не отнести к таковым влияние всякого завоевания, в какой бы момент истории данного общества оно ни совершилось.

Испанцы истребляли туземцев, ввели систему «repartimientos» и «encomiendas», т. е. попросту обратили в рабство жителей завоеван­ной ими страны, они разрушили крепость общинных союзов и т. д. И на этом основании г. Ковалевский говорит, что разрушение общины у краснокожих «было ускорено» влиянием чисто внешних причин; но разве ранее испанцев в Мексике и Перу не было завоеваний? И разве не к тем же последствиям должно было повести всякое завоевание? Мы приводили уже мнение г. Сокальского о том, как отразилась военная организация общины на завоевателях англосаксах. Из книги самого г. Ковалевского можно видеть влияние той же организации на формы поземельного владения у мусульман. Автор относит к числу причин «самопроизвольного» разрушения коллективизма — влияние старейших, власть которых со временем возрастает и делается наследственной; влияние духовной и светской аристократии и, наконец, влияние промышленности. Так как все эти воздействия проявляются в полной силе уже после перехода родовой общины в сельскую, то мы должны сказать несколько слов об этом переходе, а затем уже заняться анализом перечисленных «самопроизвольных» причин.

96 В истории Индии мы видели уже, что этот переход совершается под влиянием новых переселенцев, устраняемых некоторое время от поль­зования общинной землей. Поэтому мы ограничимся замечанием, что система переделов и определяемых жребием участков не всегда имеет такое происхождение. В случае заселения свободной территории эми­грантами из страны, в которой уже совершился переход родовой об­щины в сельскую, эти последние сначала практикуют систему свобод­ного занятия земли, «куда топор, коса и соха ходят», и затем, по мере возрастания населения, прямо переходят к переделам, т. е. сельской общине в тесном смысле этого слова. Так происходило и происходит частью теперь дело, например, в наших казацких землях, которые пред­ставляют собою интересный пример группы сельских общин, в которых члены одной общины не устраняются от пользования землями другой. Земля считается принадлежащей целому войску, и казак какойнибудь Луганской станицы Донецкого округа может перейти в любую станицу другого округа, везде имея право на получение следующего ему по раз­верстке душевого надела. Конечно, в настоящее время существует не мало канцелярских трудностей для перехода в другую станицу, но в этом нужно винить не казаков. Мы говорим это к тому, чтобы пока­зать, до какой степени под влиянием внешних, случайных причин мо­жет разнообразиться история земельных отношений в обществе. Сель­ская община может возникнуть из свободной «займанщины», она мо­жет вырасти ив родовой, наконец, эта последняя может прямо повести к владению подворнонаследственному. «Последний исход имел место там, где общинные владельцы пришли своевременно к признанию невоз­можности воспрепятствовать дальнейшему включению поселенцев в их число иначе, как путем раздела общинной земли, если не в частную собственность, то в такую, неограниченным субъектом которой явля­лось бы большее или меньшее число живущих совместно и родственных друг другу семейств» (стр. 6 Общ. Земл.).

Ни в одном из этих случаев историю общины нельзя объяснять вну­тренними причинами; называть «самопроизвольными» ее видоизмене­ния. Невозможность установить скольконибудь прочный критерий для отличия «искусственных» причин разрушения общины от самопроиз­вольные ярче всего выступает при описании г. Ковалевским влияния усиливающейся государственной организации на формы поземельного владения в данной стране. Принятая им терминология ведет его ко мно­гим противоречиям. Так, описывая существовавший в мексиканской об­щине обычай устранения пришельцев от пользования общинной землей, он говорит, что этот обычай «являлся плотиной против делаемых извне попыток к разрушению сельской[[11]](#footnote-11) общины» (стр. 44).

И, действительно, обложение общин, дотоле свободных от всяких платежей, «налогами в пользу», с одной стороны, правительства, с дру­гой — «духовенства»; «обращение прежних свободных владельцев в зави­симых от казны и поземельной аристократии общинных собственников», «захваты многими из членов служилого сословия... отдельных участков в пределах вверенных их администрации округов» (стр. 46) — все эти причины разрушения общины не могут назваться иначе, как идущими «извне» враждебными влияниями. А между тем, распадение общинного землевладения в эпоху доиспанского завоевания совершалось, по мне­нию автора, «самопроизвольно». Он находит, что, «при всей недоста­точности дошедших до нас сведений касательно внутреннего быта ту­земного населения Мексики и Перу, мы, тем не менее, можем указать на факт *самопроизвольного* возникновения в его среде первых зароды­шей, с одной стороны монархического устройства, а с другой, — светской и духовной аристократии» (Общ. Земл., стр. 44). Едва ли про *«народив­шуюся с момента завоевания поземельную аристократию»* (стр. 45) можно сказать, что она возникла самопроизвольно. Сам автор гово­рит, что основание феодальным поместьям *«было положено вождями завоевательного племени»* (стр. 45 Общ. Земл.). При чем же здесь «само­произвольное возникновение»... «светской и духовной аристократии»?

То же нужно сказать по поводу следующих глав сочинения г. Ко­валевского. Почему автор относит английскую поземельную политику к «искусственным причинам» разрушения общины, а то же разрушение в эпоху арабского и монгольского владычества считает «частью насиль­ственными, частью самой силой вещей вызванными переменами в сис­теме поземельного владения в Индии» (стр. 149)? Неужели созданные арабами «вакуфы» и «икта», дававшие иктодарам столько поводов к захвату общинных земель, объявление пустопорожней общинной земли собственностью правительства и раздача ее в полную индивидуальную собственность («muek») — неужели все эти явления могут считаться, хотя отчасти, симптомами «самопроизвольного» разложения общины? Сам автор приводит данные, по которым можно составить себе поня­тие как о размерах раздачи, так и о переходе икта в наследственную собственность иктодаров.

«Персидский хроникер Зиауддин Барни сообщает нам, что в одном Доабе, взамен жалованья, было роздано султаном Шамсуддином до 2х тыс. икта. Его преемники Гиасуддин Балбан и Джалалуддин Фироц, в свою очередь, лично или через губернаторов провинции, роздали воен­ной аристократии новые бенефиции (стр. 134). Достигнутая на деле наследственность икта получила законодательное признание в правление Фирадза» (стр. 138). Великие Моголы создали систему земиндарств. «Утверждение старых и новых земиндаров составляло обыкновенное за­нятие всякого вновь вступившего на престол императора» (стр. 144). Земиндары получали, «с момента их поступления на должность, особые наделы из пустопорожних земель уделяемых им округов» (стр. 144); кроме того, им «предоставляемо было нередко право въезда, охоты и рыбной ловли» (стр. 144). Династические интриги вели к упрочению зе­миндарств за получившими их лицами, которые не без успеха занима­лись «присвоением земель туземного населения, с целью дальнейшей об­работки их на собственный счет» (стр. 148). Не удивительно, что все эти «самопроизвольные» причины создали, в конце концов, «тот ради­кальный переворот в сфере поземельных отношений, благодаря кото­рому, по отзыву наиболее беспристрастных английских администрато­ров, во многих округах комиссарам кадастрации невозможно было обна­ружить других собственников, кроме земиндаров» (стр. 150). Рядом с этим производилась, в фискальных интересах, раздача пустопорожних земель в «бесповоротную собственность» частным лицам и «уступки прав собственности мелкими владельцами крупным, под условием удер­жания наследственного пользования ими, т. е. так называемая комендация, или, по туземному, «икбалдава», но и эта последняя вызывалась внешними влияниями. «Причина, побуждавшая мелких собственников к добровольному отказу от своих прав, — говорит сам же Ковалевский, — лежит, очевидно, в том обстоятельстве, что с объявлениями их земель вакуфами последние освобождаются как от возможности насильственно­го отчуждения их за долги путем публичной продажи, так и от обязанно­сти нести в пользу казны «кородж», другими словами поземельный сбор» (стр. 123 Общ. Земл.). Процесс феодализации поземельной собственности и параллельного разрушения общины в Индии совершался целиком под влиянием причин совершенно внешних, не имеющих никакой связи с внутренней организацией общины; при всем внимании, мы не могли усмотреть тех «перемен в системе поземельного владения» в Индии, ко­торые, нe злоупотребляя словами, можно было бы приписать «самой силе вещей». Не менее недоразумений возбуждает и глава о «видах поземельного владения в Алжире». Почему разложение Алжирской об­щины во второй половине XVIro века автор считает «ускоренным... со­вершенно посторонними влияниями, корень которых лежит в покорении страны турками» (стр. 204), между тем как то же разложение в пред­шествующей турецкому завоеванию период, по мнению автора, вызы­валось, «как и везде, внутренними причинами» (стр. 204)?

Турецкому завоеванию предшествовало арабское и римское. Мы видели уже из истории Индии, как могли влиять мусульмане на общин­ное землевладение в покоренных ими странах; что же касается до римлян, то индивидуальное начало в поземельной собственности «несомненно обязано своим происхождением влиянию римского права, дей­ствие которого распространено было италийскими завоевателями и на туземное население берберов» (Общ. Земл., стр. 198). Если римляне вво­дили в стране институт частной собственности, то чем же отличается их влияние от влияния поземельной политики французов, этой несо­мненно «искусственной» причины распадения коллективных форм земле­владения в Алжире? А летопись завоеваний, которым подверглась страна, начинается, вероятно, ранее римлян. Вся разница между влия­нием новейших европейских завоевателей и всех возможных других может, по нашему мнению, заключаться лишь в интенсивности вызывае­мого ими процесса разложения общины и, вследствие этого, во времени, в течение которого мог завершиться этот процесс. Интенсивность же разрушительного влияния, в свою очередь, объясняется разностью культуры завоевателей и завоеванных. Европейцы в эпоху их столкновений с аборигенами их колоний не знали другой собственности, кроме индивидуальной; естественно, что их отрицательное влияние на общин­ное землевладение в колониях должно было сказаться резче и скорее, чем влияние завоевателе-ймусульман, бытовые формы которых еще продолжали носить на себе характер коллективизма. Но, не будучи чужды коллективных форм землевладения, мусульмане самым фактом завоевания ставили общину в условия, при которых не могло продол­жаться ее здоровое существование; не разрушая общины, они вызывали, как говорят химики, «диссоциацию», т. е. медленное распадение коллективизма. Таким образом, мы не видим существенной разницы между рассмотренными нами до сих пор «самопроизвольными» причи­нами распадения коллективизма и теми отрицательными влияниями на него, которые сам автор не колеблется отнести к числу внешних, «искусственных». Ни одна из них не имеет, по нашему мнению, связи с внутренней организацией общины, а потому вызываемое их совокуп­ным действием разрушение коллективизма не может быть приписано экономической необходимости. Власть старейшин и образование выс­ших сословий имеют своими предшествующими причинам *завоевание.* Возникновение и рост их обусловливается как естественным неравен­ством прав между завоевателями и завоеванными, так и военноиерар­хической организацией внутри господствующего племени. К той же ка­тегории внешних влияний следует отнести и разрушительное действие развивающейся промышленности. Мы готовы согласиться, что «невоз­можность пользоваться общинными землями иначе, как под условием постоянного пребывания в месте нахождения последних, тормозя пере­селение в города ремесленноторгового населения, является в его среде стимулом к разделу общинной земли» (стр. 15). Но ведь известно, что спрос вызывает предложение, а не наоборот. Чтобы часть рабочих рук страны оставила земледелие и обратилась к промышленности, нужно, вопервых, появление во всем обществе или в некоторой его части по­требностей, для удовлетворения которых создавались бы те или другие отрасли промышленности; вовторых, необходимо, чтобы работники, переходящие от земледелия к ремеслу, или получали лучшее вознаграждение на этом новом поприще, или просто не имели возможности при­ложить свой труд к земледелию, вследствие малоземелия или какихлибо других, подобных этой, причин. Иначе у них не будет стимулов для та­кого перехода. Где же возникает прежде всего спрос на произведения промышленности? Предъявляется ли он целым обществом или только некоторой его частью?

Мы знаем, что коренной слой общества, его земледельческое население, долгое время удовлетворяется частью произведениями своего до­машнего хозяйства, частью трудами местных деревенских ремесленни­ков. Изделия промышленности находят очень мало покупателей в этой среде, да и не для нее предназначаются. Эмигрируя в города, ремесленники надеются встретить заказчиков, главным образом, среди высших сословий, военного и вообще дворянского, духовного и, наконец, среди чиновников, исполняющих те или другие административные функции. Но этого мало. Люди вообще не охотно покидают привычные занятия; тем более это можно сказать о земледельцах. По словам г. Ковалев­ского, в Индии «привязанность крестьян к земле так велика, что они предпочитают оставаться земледельцами на раз принадлежавших им в собственность участках, нежели искать высших заработков в городах» (стр. 194—195). Таким образом даже лучшее вознаграждение не всегда способно привлечь в города не только собственников земель, но и сель­ских батраков.

Однако переход в города, в конце концов, всетаки совершается.

Чтобы понять ускоряющие его причины, нужно припомнить то об­стоятельство, что поземельная аристократия вообще не особенно це­ремонилась с подвластным ей населением деревень. Так, например, не говоря уже об истреблении и порабощении испанцами краснокожих, «обложение их владений не соответственными их доходности натураль­ными и денежными сборами приводит к тому же результату: я разумею, — говорит г. Ковалевский, — оставление туземцами их земель и переселение их в незаселенные европейцами и недоступные им лесные и болотистые пространства» (стр. 62).

Так поступали не одни европейцы. Созданная Великими Моголами система земиндарств в Индии вела к тому же результату. «Обремене­ние налогами, личные преследования, нередко открытые насилия легко доводили крестьян до оставления своих наделов. В этом случае послед­ние обыкновенно шли на округление владений самого земиндара или поступали в заведование коголибо из зависимых от него лиц» (стр. 148), и крестьянам оставалось выбирать между «лесными и болотистьши пространствами», с одной стороны, и заработками в сфере про­мышленного труда — с другой. Разумеется, выбор не всегда склонялся в пользу первых. Так получает промышленность контингент рабочих рук, нужных для ее возникновения. Так же она снабжается ими и в более поздние периоды своего существования.

Известно, что развитию крупной капиталистической промышлен­ности на Западе предшествовало массовое обезземеление крестьянства.

Счастливую особенность нашего отечества составляет отсутствие в на­шей истории такого обезземеления. Но не нужно думать, что у нас нет условий, вытесняющих в города когдато исключительно земледельче­ское население. «Земля в Московской губернии, — говорит г. Орлов[[12]](#footnote-12), — при своем естественном малоплодородии и при отсутствии у крестьян надлежащего удобрения, не только не дает средств для уплаты лежащих на ней подати и повинности, но даже не в состоянии доставить необхо­димых продуктов для удовлетворения первых потребностей крестьянско­го населения: в земледельческом хозяйстве крестьян почти везде в гу­бернии *является дефицит, который обыкновенно покрывается* промы­слами местными и *отхожими»* (стр. 9—10). Средний, по 12ти уездам Московской губернии, размер платежей, лежащих на душевом наделе, равняется 10ти руб. 45 коп., между тем как средняя арендная плата за него не превышает 3 руб. 60 коп. (Сборник Стат. Свед., стр. 202).

В «доброе старое время» русские крестьяне, подобно краснокожим под испанским владычеством, искали облегчения своей участи в «боло­тистых и лесных пространствах», они «разбредались розно». В настоя­щее время разбредаться по таким пространствам невозможно, а по­тому хотя деревня «разбредается» попрежнему, но ее «руки» служат для увеличения «национального богатства» на фабриках, заводах и так далее, словом — в сфере промышленного труда. Но таким образом со­здается только один элемент промышленности — необходимый контингент рабочих рук. Для развития ее нужен, как известно, еще и капитал. Каким же образом создается этот последний? «В обществе, в котором, как в индийском, капиталистическое хозяйство не успело еще сложить­ся, — говорит г. М. Ковалевский, — ростовщичество составляет весьма обычное явление» (стр. 185). И не только обычное, но и необходимое: без накопления ростовщического и торгового капитала немыслимо возникновение капитала промышленного. Чтобы составить себе понятие о том, чем вызывается и поддерживается ростовщичество, читателю стоит лишь прочитать в книге г. Ковалевского главу об «английской позе­мельной политике в Ост-Индии». Он узнает из нее, как, благодаря не­померно высоким налогам, «мелкий ростовщик начинает постепенно играть роль гиганта в индийской поземельной системе» (стр. 186); как, по словам официального лица, сборщика налогов, «ростовщики... об­стоятельно знакомятся с экономическим положением каждого из чле­нов сельской общины и, пользуясь их стесненными обстоятельствами, соглашаются не иначе сделать им заем, как под условием уплаты чрезмерных процентов» и т. д. (стр. 186). И не в одной Индии встречаемся мы с таким явлением. По словам г. Орлова, в Московской губернии «бедные крестьяненедоимщики принуждены во что бы то ни стало продавать свои дольки (из лесных наделов), не дожидаясь удобного времени; а между тем у многих из них нет даже лошади, чтобы отвезти лес в город; приходится поэтому продать на месте первому покупщику, каковым и является более зажиточный крестьянин, скупающий у неимущих кре­стьян доставшийся, по разделу, им лес по ничтожной цене и затем перепродающий его в удобное время вдвое и втрое дороже. Почти во всяком селении, имеющем в наделе лес, встречаются такие скупщики» (Сборн. Стат. Свед., стр. 245). Читателю известно, что кулачество на­ходит себе пищу не только при разделе мирского леса.

Этим объясняется тот факт, что в Московской губернии «возникают резкие противоположности в имущественном состоянии крестьянского населения: громадный процент крестьян постепенно теряет всякую возможность вести самостоятельное хозяйство и обращается в разряд без­земельных и бездомных, а вместе с этим незначительный процент кре­стьян с каждым годом увеличивает степень своего имущественного благосостояния» (Сб. Ст. Свед., 1 стр.). Результаты такого положения дел везде одни и те же. Как в Индии «оставление земель без обработки и удаление из общины с целью избавиться от несения поземельного налога» становится «далеко не редким явлением» (Общ. Земл., стр. 187), так и в России — «пустырники» выделяются в особую группу и стано­вятся как бы отверженными, изгнанными из мира; община раскалывает­ся на две части, из которых каждая становится во враждебное отно­шение друг к другу; хозяева смотрят на «пустырников» как на тяже­лое бремя, так как им приходится, по круговой поруке, отвечать за последних; «пустырники же, не пользуясь своими наделами, должны платить все лежащие на них подати, иначе мир не выдает им паспорта и «стегает» их в волостном правлении за неплатежи; очевидно, мир в глазах пустырников является обузою, бичом, тормозом» (Сборн. Стат. Свед., стр. 155). В такихто общинах и замечается стремление крестьян к подворному владению. Оно представляет приятную перспективу и для «исправных домохозяев», которые, благодаря ему, избавились бы от круговой поруки, — и для «пустырников», которые рассчитывают путем его совершенно разделаться с обременительными для них наделами (Сравн. Сб. ст. сведений, стр. 289—290). Итак, не одна только «неосуществимость выгод от общинного пользования», как думает г. Ковалевский, заставляет покинувших земледелие общинников стремиться к подворнонаследственному владению; к этому приводит иногда и невоз­можность избавиться от убытков, связанных с владением мирскими землями, иначе, как путем их раздела. В обоих случаях разрушение общины «происходило и происходит под влиянием столкновений, в которые рано или поздно, приходят интересы состоятельных и несостоя­тельных членов ее». Но, спрашивается, чем же вызывается это столкновение? Лежит ли его причина внутри или вне общины? Мы рассмотрели последовательно возникновение каждого из элементов, необходимых для развития промышленности в стране. Мы видели, что спрос на ее произведения является прежде всего в среде высших сословий; мы знаем уже, что как образование этих последних, так и необходимый для про­мышленности контингент рабочих рук и накопление капиталов имеют своим источником условия, совершенно не связанные с общинным зе­млевладением. Поэтому «обособление» от оседлого сельского населения «подвижного ремесленноторгового» (Общ. Земл., стр. 8) так же, как и прочие указанные г. Ковалевским «самопроизвольные причины» раз­ложения земельного коллективизма, должно быть, по нашему мнению, приписано посторонним, враждебным для общины влияниям. Вот почему, несмотря на все достоинства замечательного труда г. Ковалевского, мы думаем, что он повторил в нем ту же ошибку, на которую указывал ему г. Кареев, после выхода «Очерка истории распадения сельской об­щины в кантоне Ваадт», то есть внешних разрушителей общины он принял за лежащих в ней самой, внутренних и «самопроизвольных». В сказанном нами заключается ответ на все поставленные выше во­просы. На основании всего вышеизложенного, мы не можем считать разрушение общины неизбежным историческим явлением. При извест­ной комбинации отрицательных влияний, это разрушение, действительно, неизбежно. Именно такие комбинации и обусловили собою разру­шение общины почти во всех известных нам культурных странах. Но из этого еще не следует, что невозможна другая комбинация условий, при которых община, напротив, стала бы расти и развиваться. По той же причине мы не можем признать справедливым сделанный г. Ковалевским упрек «недавним исследователям русской общины».

Но скажет, быть может, читатель, невозможно даже представить себе общину, изолированную от враждебных влияний; мы не знаем та­кой Аркадии, где бы не было завоеваний, порабощения одного племени другим и т. д., — все это лежит в природе первобытного, да, пожалуй, если на то пошло, и современного человека; поэтому указанные автором причины, хотя бы они и не лежали в организации общины, всетаки должны быть названы самопроизвольными, то есть лежащими в при­роде составляющих общество единиц причинами, действие которых не­отвратимо и неизбежно. Защищаемая вами община требует, для сохра­нения своего существования, совершенно немыслимых условий; только покрывши ее стеклянным колпаком, можно предохранить ее от разру­шения, а это равносильно признанию неизбежности, иначе самопроиз­вольности, последнего. Добро бы стояли вы на точке зрения г. Орлова, по мнению которого «предполагать, что общинную форму землевладе­ния можно устранить какимилибо внешними, искусственными или законодательными мерами было бы заблуждением» (Сборн. Стат. Свед., стр. 319), а то сами же соглашаетесь с тем, что многие из тех условий, в которые становилась община в течение своей истории, были для нее абсолютно смертельными, сами же указываете на разобщающие производителей свойства первобытных орудий труда и всетаки спорите, всетаки доказываете, что «самопроизвольные причины» разрушения общины — в сущности не самопроизвольны. Удивительная страсть к спору изза слов! Но, скажем мы, в томто и дело, что спор касается не одних только слов. Выслушайте нас до конца, и вы, быть может, най­дете, что мы не так уже виноваты в празднословии, как вам это кажется.

С мнением г. Орлова мы, действительно, согласиться не можем. В его собственном исследовании есть немало данных в пользу противо­положного высказанному им взгляда.

Пример сельских обществ, пришедших к подворнонаследственному владению, вследствие закона о вольных хлебопашцах, наглядно пока­зывает возможность разрушения общины под законодательным влия­нием. Точно так же, по его собственным словам, «разложению составных общин на простые (односеленные, деревенские) в значительной степени способствовала выдача в 1866 году государственным крестьянах владенных записей, где точно обозначен размер земли, поступившей в надел каждому селению» (Собр. Стат. Свед., т. VI, в. 1, стр. 256—275). Усилия подольской земской управы ввести подворнонаследственное владение приусадебными землями «на основании 110 ст.», несмотря на встреченное *со* стороны крестьян противодействие, также могут увен­чаться успехом. А ведь именно с переходом усадебных мест в наслед­ственное владение и начиналось всегда и везде распадение общины.

Но, кроме этих непосредственных влияний, мы укажем г. Орлову на замеченное им же самим «раскалывание» общины на две неравные части — исправных домохозяев и «пустырников», — раскалывание, происходящее, опятьтаки, по независящим от общины обстоятельствам. Мы попросим его припомнить обнаруживаемую такими общинами и опять же им самим подмеченную тенденцию к разделу общинных земель в потомственное владение, установление определенных сроков переде­лов, являющееся результатом того, что «после нескольких переделов, убедившись, что переделами делу не поможешь, если нет надлежащих условий для хозяйства, — мир устанавливает приговором определенный срок, до истечения которого переделы не должны повторяться» (Сб. Стат. Свед., т. VI, в. 1, стр. 211—212). Продолжительностью таких сроков «и гарантируются интересы более исправных домохозяев» (стр. 212). Но всего важнее, как нам кажется, то обстоятельство, что в способах владения «купчей» и пользования арендованной землей сохранилась, да и то не всегда, одна внешняя форма общины, так как в этом случае права каждого участника в предприятии измеряются количеством вне­сенных им денег; такую землю делят «по деньгам», нисколько не сообра­жаясь с хозяйственными способностями и потребностями «пайщиков».

Очевидно, что такой способ соединения покупателей и арендаторов ближе подходит к понятию о мелкой акционерной компании, чем к по­нятию мирского владения и пользования землей, в настоящем значении этого слова. Он практикуется в странах, где от общинного землевладе­ния не осталось и следа, как, например, в Сицилии, где крестьяне также соединяются в компании для аренды земли у крупных собственников и также производят ее разверстку «по деньгам»[[13]](#footnote-13)*.*

Нужно помнить, что соединение мелких арендаторов в одно обще­ство, с круговою порукой его членов, происходит нередко по требова­нию землевладельца, справедливо видящего в этом гарантию своевре­менного взноса следуемой ему арендной платы.

Можно было бы найти еще много примеров вторжения во взаимные отношения общинников разлагающего общину индивидуализма, но, на­деемся, и приведенных достаточно, чтобы показать, почему не разделяем мы приятной уверенности г. Орлова. Итак, мы убеждены, что земельный коллективизм не всегда способен устоять под напором враждебных ему влияний; в частности же, в русской общине, замечаем признаки искаже­ния ее коренного принципа и даже — таких случаев к счастию еще не много, — полного ее разрушения. Но мы всетаки говорим, что поземель­ная община может иметь прочное будущее при благоприятном стечении обстоятельств.

Процесс разложения поземельной общины под совокупным давле­нием свойства первобытных орудий труда и внешних враждебных воздей­ствий совершается далеко не всегда одинаково быстро. В одних случаях, родовая община, как мы видели выше, непосредственно заменяется подворнонаследственным владением пахотной землей, а потом и другими угодьями; в других она переходит в сельскую. Эта последняя в свою оче­редь держится более или менее долгое время, в зависимости от множе­ства условий. На Западе пахотные земли были поделены в наследствен­ную собственность еще задолго до развития крупной капиталистической промышленности; в России община исчезнет, — если только исчезнет, — повидимому, уже в борьбе с капитализмом. В германской марке усадебная земля уже во времена Тацита была поделена в наследственную собствен­ность, у насв настоящее время предложение подольской земской управы, о переходе к этому способу владения приусадебной землей, встречает противодействие в крестьянской среде. Мы не думаем припи­сывать это различие в судьбе общины у нас и на Западе какимлибо «расовыми особенностями»; мы просто относим его насчет исторических влияний, которые не были тождественны в том и другом случае. Но мы знаем, что сумма этих влияний в данной стране не остается постоянной. С течением времени в ней может явиться новое, весьма значительно видоизменяющее ее слагаемое. Мы разумеем то или другое, положи­тельное или отрицательное, но, во всяком случае, сознательное отноше­ние общественного мнения страны к существующим в ней формам земле­владения. Правда, такое отношение к общине может установиться лишь путем сравнения ее с другими формами землевладения, то есть после бо­лее или менее полного ее разрушения, по крайней мере в других стра­нах. Но там, где она представляет еще господствующую форму землевла­дения, сознательноположительное отношение к ней крестьянской массы и интеллигенции страны может в значительной степени нейтрализовать действие враждебных ей влияний, если не останется, разумеется, плато­ническим. И мы считаем позволительным предположить, что в таком случае община может продержаться до того времени, когда явится не­обходимость и возможность интенсивной культуры земли, а значит и употребления таких орудий и способов труда, которые потребуют об­щинной эксплуатации общинного поля. Свойства орудий труда, состоя­ние земледельческой техники — эти единственные самопроизвольные при­чины неустойчивости первобытного коллективизма, станут с тех пормогучими стимулами его роста и развития. Коллективизм труда и владе­ния его орудиями сделается экономически необходимым, а потому и неизбежным, и будущее поземельной общины получит твердую, реальную основу.

Своевременный переход к общинной эксплуатации полей или разру­шение в борьбе с нарождающимся капитализмом — такова, по нашему мнению, единственная альтернатива для современной сельской поземель­ной общины вообще и русской в частности.

Правы или не правы мы, высказывая это мнение, но читатель, на­деемся, согласится, что мы не изза слов только спорили, доказывая, что не внутри, а вне общины лежат причины ее почти повсеместного разру­шения. Он видит также, что понимали мы под «суммою положительных влияний», под «благоприятным для общины стечением обстоятельств», могущим предохранить ее от разрушения. Говорить о *таких* положи­тельных влияниях вовсе не значит желать накрыть общину стеклянным колпаком.

В IX главе исследования г. Орлова, посвященной описанию «отно­шения самих крестьян к общинной форме землевладения» читатель найдет немало доказательств сознательного сочувствия крестьян к этой последней. Симпатии нашей интеллигенции также все более и более склоняются на сторону общины.

Что же касается до машинной обработки земли, то в этом — по­следнее слово агрономической теории и практики; рано или поздно к ней придут русские землевладельцы и земледельцы, как уже приходят посте­пенно западноевропейские.

Вопрос только в том, будет ли к тому времени земля находиться во владении крестьянских обществ или частных лиц. А это, как мы уже го­ворили, в значительной степени зависит от правильности понимания на­шей интеллигенцией экономических задач родной страны.

## Статьи из „Черного Передела".

## От редакции.

В № 1 «Народной Воли» было уже заявлено о причинах прекраще­ния издания «Земли и Воли» и появления двух новых органов, не совсем согласных между собою в определении практических задач русской со­циальнореволюционной партии.

Нам остается лишь дополнить сделанное там объяснение. Раскол в редакции «Земли и Воли» не ограничился, к сожалению, пределами лите­ратурного кружка; он выражал собою два различных течения, возник­ших внутри народнореволюционной партии. Которое из них более соот­ветствует духу девиза этой партии — Земли и Воли, — какое из двух но­вых изданий уклонилось от первоначальной ее программы — об этом не место высказываться в нижеследующих немногих строках. Мы ограничимся поэтому замечанием, что «Земля и Воля» попрежнему оста­нется нашим практическим, боевым девизом, так как эти два слова наи­более полно и широко выражают народные потребности, стремления и идеалы.

В статье о «Черном Переделе» подробно говорится об отношении повсеместного ожидания народом передела земли к этой исторической революционной формуле. Что касается названия нашего издания орга­ном социалистовфедералистов, то оно объясняется нашим убеждением, что лишь федеративный принцип в политической организации освободившегося народа, только полное устранение принудительного начала, на котором основаны современные государства, и свободная организация снизу вверх — может гарантировать нормальный ход развития народной жизни. Насколько торжество федеративного принципа может быть до­стигнуто одним ударом, одним победоносным революционным движе­нием, — невозможно, конечно, сказать в настоящее время. Но партия должна направить все свои усилия к обеспечению его торжества, и со­циально-революционные издания не могут обходить молчанием этого важного вопроса.

Этнографический состав населения русского государства постоянно заставляет считаться с ним даже в современной нам практике. Малорос­сия, Белоруссия, Польша, Кавказ, Финляндия, Бессарабия — каждая из этих составных частей Российской империи имеет свои народные осо­бенности, требует самобытного, автономного развития.

Ввиду этого было бы весьма полезно развитое местной револю­ционной литературы; но пока оно составляет задачу будущего. «Чер­ный Передел», по необходимости, является органом всех русских социа­листов, разделяющих основные положения его программы. Тем не менее, каждое указание на местные отличия в постановке социального вопроса и практических приемах партии всегда найдет самый радушный прием на страницах нашего издания.

Наконец, исходя из условий русских общественных отношений в по­становке своей практической программы, русская социальнореволю­ционная партия не может упускать из виду положений научного социа­лизма, которые должны служить для нее критерием при оценке различ­ных сторон и форм народной жизни. Издание, имеющее в виду, главным образом, интеллигентных читателей — к которым мы относим также и часть городских рабочих, — даже обязано указывать на тесную связь русского революционного движения с общими выводами западноевропейской жизни и мысли, оттенять их тождество — в последнем счете — с стремлениями и задачами русской социальнореволюционной партии.

Сказанного, полагаем, достаточно, чтобы отклонить могущие воз­никнуть по поводу названия нашего органа недоразумения.

## Черный Передел.

Глас народа — глас Божий.

В многомиллионной массе русского крестьянства беспрерывно по­является, исчезает и вновь возникает множество самых разнообразных слухов, толков и ожиданий. Несмотря на свое видимое разнообразие, все эти слухи имеют один и тот же источник — страстное искание народом того или другого выхода из современного невыносимотяжкого по­ложения. Но ни один из них не приобрел такого широкого, можно ска­зать, повсеместного распространения, ни один не остановил на себе в такой степени внимания правительства и интеллигентного общества, как слух о предстоящем, будто бы, в скором времени переделе земли. Никто не может указать не только автора этого «превратного толкования», но даже и места первоначального появления последнего. Пущенный, быть мо­жет, одним из тех бывалых людей из народа, которым их продолжитель­ное скитальчество по белому свету сообщает не псевдоцивилизованные привычки городского обывателя из мещан, не презрительное отношение к «серой деревенщине», но глубокое, инстинктивное понимание народных потребностей и народного горя, слух этот облетел всю земледельческую Россию... и везде перешел в непоколебимую уверенность относительно скорого приближения «слушного часа» и т. п. Не заботясь о том, чьим «священным правам», каким «общественным основам» противоречит его желанный аграрный переворот, народ наш положил ожидание этого переворота в основание своего примирения с тяжелым настоящим, своих надежд на лучшее будущее. С точки зрения этого, по его мнению, не­отвратимого факта он оценивает все события внутренней и внешней жизни современной России. Покушение на жизнь императора, казни по­литических преступников, стеснение казаков, восточная война, пригото­вление к ревизии, все эти факты, несмотря на их очевидную несоизме­римость, взвешиваются народом исключительно с точки зрения его за­ветных ожиданий земельного передела, в каждом из них он видит только подтверждение основательности своих надежд. Правительственный циркуляр, изданием которого г. Маков едва не оказал медвежьей услуги по­пулярности царского имени в народе, встречен последним с полным недо­верием. «Так и перед волей не единожды читали и объявляли, а всетаки воля вышла», — вот непредвиденный, вероятно, г. Маковым ответ, о свое­образную логику которого разобьется еще не одно правительственное заявление.

Влияние этой непоколебимой уверенности простирается даже на сферу чистокоммерческих отношений: в некоторых местах крестьяне, как известно, отказываются от покупки земель и избегают долгосроч­ных арендных контрактов. По своему влиянию на народные умы, слух о переделе земли может сравниться разве только с теми слухами об уничтожении крепостного права, которые ходили в народе чуть ли не с самого возникновения этого института в России, послужили поводом ко множеству мелких волнений, с каждым годом расширявшихся и возраставших в числе[[14]](#footnote-14) , и убедили, наконец, правительство в том, что лучше «освободить народ сверху», нежели ждать, пока это освобождение будет предпринято снизу.

Не прошло еще и двадцати лет после «великой реформы» нынеш­него царствования, как народ, со свойственной массам черной неблаго­дарностью, начинает поговаривать о переделе земли и толкует об этом с тою же роковою уверенностью, которая один раз уже вынудила пра­вительство к уступке. Никто не может поручиться в том, что если бы правительство уступило и на этот раз, народ не потребовал бы от него новых и новых уступок, пока, постоянно ограничивая и урезывая самого себя, государство не дошло бы, наконец, до полного самоотрицания, а так как это последнее никак уже не может входить в правительствен­ные виды, то никто не может поручиться и в том, что народ не будет вынужден удовлетворять своим потребностям путем того воздействия «снизу», тенет которого все правительства и все либералы в мире избе­гают так же старательно, как Мефистофель избегал креста. Что ка­сается до нас, революционеровнародников, то мы считаем такое воздей­ствие неминуемым, так как вся внутренняя история России есть, по нашему мнению, не что иное, как длинное, полное трагизма повествова­ние о борьбе на жизнь и смерть между полярнопротивоположными принципами народнообщинного и государственноиндивидуалистиче­ского общежития. Кровавая и шумная, как ураган, в минуты крупных массовых движений, вроде бунтов Разина, Пугачева и др., борьба эта не прекращалась ни на минуту, принимая самые разнообразные формы. От­купаясь от государственного вмешательства в его жизнь во времена Грозного, как откупался он когдато от норманнов, хазар или, потом татар; разбредаясь розно и заселяя пустынные степные окраины и лес­ные тайги северного поморья и Сибири; образуя шайки понизовой воль­ницы под предводительством своих любимых «атаманушек»; оплакивая «древнее благочестие» в глухих раскольничьих скитах, народ везде и всюду отстаивал одни и те же стремления, боролся за одни и те же идеалы общежития.

Свободное общинное самоустройство и самоуправление; предоста­вление всем членам общины сначала права свободного занятия земли «куда топор, коса и соха ходит», потом, с увеличением народонаселе­ния, равных земельных участков с единственною обязанностью участвовать в «общественных разметах и разрубах»; труд, как единственный источник права собственности на движимость; равное для всех право на участие в обсуждении общественных вопросов и свободное, реальными потребностями народа определяемое соединение общин в более крупные единицы — «земли»: вот те начала, те принципы общежития, которые так ревниво оберегал народ и которые, кратко формулируясь в боевом девизе «Земля и Воля», в минуты, когда чаша народного долготерпения оказывалась переполненной до краев, обладали магическим свойством волновать умы массы от прикаспийской Астрахани до беломорского Со­ловецкого монастыря. С самых ранних времен своего существования го­сударство вступило в противоречие с этими принципами. Отдача свобод­ных дотоле общин в «кормление» представителям государственной вла­сти, которые вмешивались в народную жизнь и лишили общину до тех пор неоспоримого ее права на решение возникавших внутри ее вопросов; произвольное обложение общин податями для непонятных народу и чу­ждых его интересам целей; захват общинных земель и раздача их част­ным лицам; раздача вотчин и поместий высшим классам и предоставле­ние им права на крестьянский труд; полное закрепощение народа и на­силие, насилие, насилие, от насильственного спаивания народа при «ти­шайшем» Алексее Михайловиче до обращения с помощью военных экзе­куций сел в города и насильственного введения культуры картофеля при «незабвенном» Николае — вот те блага, которые приносило народу госу­дарство, те приемы, которых оно неуклонно держалось в продолжение всей своей истории. Напрасно гг. официальные историки стремятся убе­дить нас в том, что русский народ не только добровольно призвал кня­зей, но и всегда охотно подчинялся государственным порядкам. Это под­чинение было настолько же добровольно, как и подчинение малорус­ского народа польскому или подчинение индийцев англичанам.

Во всех этих случаях было то же насильственное вторжение в на­родную жизнь, то же непонимание и игнорирование ее склада и особен­ностей, то же попрание народных прав, и еще неизвестно, который из трех народов более энергично протестовал, настойчивее отстаивал устои исконных бытовых форм своего общежития. До сих пор русское госу­дарство оставалось победителем в его борьбе с народом, но кто возь­мется высчитать шансы этой борьбы в будущем? До сих пор торжество государства было полно и повсеместно. Оно сдавило народ железным кольцом своей организации; пользуясь ее преимуществами, оно с успе­хом подавляло не только мелкие и крупные народные движения, но и все проявления самостоятельной народной жизни и мысли; оно наложило свою тяжелую руку на казачество, исказило земельную общину; заста­вило народ заплатить за его исконное достояние — землю — выкуп, пре­вышающий стоимость самой земли; но в то время, когда оно отпраздно­вало уже тысячелетний юбилей своего существования, когда оно, повидимому, уже нимало не сомневалось в окончательной гибели самобытной народной жизни, народ с полным спокойствием и ничем не разрушимою уверенностью заявляет, что далее так продолжаться не может, что сам царь поймет, наконец, эту невозможность и возьмет на себя почин перестройки общественных отношений в духе исконных народных идеалов. Ничто не могло так горько отравить торжества победителей, не могло нагляднее доказать, что влияние государственности было и остается до сих пор поверхностным, что оно не простирается на умы и воззрения массы, как этот замогильный голос заживо погребенного, но все еще полного сил и способности к самобытному развитию, народа.

Вот почему правительство забило тревогу и, вопреки всем прежним официальным уверениям относительно того, что русская социальноре­волюционная партия есть не более, как «горсть злонамеренных лично­стей», не имеющих никакой почвы и влияния в народе, — оно объявило, что ходящие в крестьянстве толки о переделе земли нужно целиком от­нести на счет социалистической пропаганды. Оно приписало социали­стам такое громадное влияние на народные умы, о котором они до сих пор не всегда позволяли себе даже мечтать. Такова логика официаль­ных заявлений. Справедливость заставляет нас, однако, признать, что в подобной ошибке правительство виновато менее, чем это может пока­заться с первого взгляда.

Мудрено ли, что не имеющее понятия об особенностях склада жизни и правовых воззрениях народа, из всех событий русской истории знаю­щее лишь историю дворцовых переворотов да летопись дворцовых круп­ных и мелких интриг, часто забывающее даже историю своих собствен­ных «мероприятии», мудрено ли, говорим, что такое правительство, с удивлением и страхом услышавшее о живущих в крестьянстве ожида­ниях полного аграрного переворота, объяснило эти ожидания влиянием социальнореволюционной партии? Оно узнало, что народ не признает за высшими классами права собственности на землю, что он требует не только экспроприации земли у высших классов, но и установления со­вершенно иных, малопонятных с правительственной точки зрения, форм отношения к ней; оно узнало, словом, что народ ждет социальной рево­люции, и, естественно, обвинило в том социалистов.

Читатель, скольконибудь знакомый с ходом возникновения партий вообще, и русской социальнореволюционной в частности, не нуждается, конечно, в доказательствах того, что в данном случае следствие принято за причину. Не потому народные воззрения на землю и право владения и пользования ею противоречат воззрениям высших классов, не потому не согласуются они с понятием о собственности, санкционированным сводом государственных законов, что появилась в России социальнореволюционная партия. Напротив, эта последняя потеряла бы всякий смысл существования, навсегда осталась бы экзотическим растением, неизвестно кем и зачем пересаженным на русскую почву, если бы не было вышеупомянутой розни, если бы она не положила своего отпе­чатка на всю историю внутренних отношений в нашей стране, не про­никала собою всех сфер человеческого общежития. Этою рознью только и вызвана к жизни наша партия, в ней заключаются наши надежды, в ней видим мы залог своего успеха, и ее же считаем мы исходным пунк­том, операционным базисом нашей революционной работы в народе. По­лагаем, что не бесполезно будет остановиться на этом несколько долее.

Наши воззрения на практические задачи нашей партии составля­ются из двух слагаемых: общих указаний науки и специальных условий русской истории и современной действительности. Мы признаем социа­лизм последним словом науки о человеческом обществе и в силу этого считаем торжество коллективизма в области владения и труда альфой и омегой прогресса в экономическом строе общества. Мы знаем, что выра­жение «природа не делает скачков» одинаково приложимо как в сфере явлений природы в тесном смысле этого слова, так и в ходе развития человеческих обществ. Мы помним, что каждый шаг на пути этого разви­тия строго определяется предшествующей историей общества и его со­стоянием в данный момент, словом, всей суммой данных динамики и ста­тики рассматриваемого общества. Но мы убеждены также и в том, что паллиативы не исцеляют социальных зол, что всякий общественный дея­тель должен стремиться провести в общество максимум необходимых и возможных реформ, что, выражаясь кратко, каждый общественный дея­тель должен быть радикалом. Так как экономические отношения в об­ществе признаются нами основанием всех остальных, коренною причи­ной не только всех явлений политической жизни, но и умственного и нравственного склада его членов, то радикализм прежде всего должен стать, по нашему мнению, радикализмом экономическим. Усилия реформатора-радикала должны направляться, главным образом, на максималь­ное изменение к лучшему общественноэкономического строя., не спра­вляясь о том, мирно или при насильственном сопротивлении со стороны лиц, заинтересованных в сохранении старого порядка, может совер­шиться это изменение.

Все эти положения суть не что иное, как выводы современной со­циологии, равно обязательные для всего человечества. Сознательно или бессознательно, следуя или противореча им на практике, с ними счита­лись все реформаторы и революционеры, все общественные деятели, от Будды до К. Маркса, от «великого» Ликурга до «маленького» Тьера, или ген.губ. Гурко включительно. Но едва захотим мы приложить эти поло­жения к практической деятельности в нашем отечестве, едва, вместо условий общественного развития вообще, мы заговорим об условиях русского прогресса в частности, мы, логикой тех же самых положений, об­ращаемся в русских *революционеров-народников.* Только в формах рус­ской народной жизни находим мы здесь задатки для развития полного коллективизма в отношениях производителей к орудиям труда, только отстаивая эти формы, мы можем найти незыблемую опору в крестьян­ской массе; в устранении враждебных влияний и расчистке пути для пра­вильного развития этих форм заключается сумма возможных в настоя­щее время экономических и стоящих к ним в отношении следствия к причине политических реформ в России[[15]](#footnote-15). Но для осуществления этого максимума реформ, нам прежде всего нужно обратить свои усилия на раз­рушение ныне существующего в нашем отечестве государственного строя. Государству закрепощена главная масса народного труда. Созданное им путем экспроприации земли у народа малоземелье образует тот контин­гент искусственно оторванных от родной хаты и нивы батраков, из кото­рого набирают «рабочие руки» фабрики и заводы. Тяжелыми поборами оно заставляет крестьянина искать средства для удовлетворения требований государства на стороне, т. е. вынуждает его отдавать себя в жертву хо­зяйской эксплуатации. Оно поддерживает кулачество и ростовщический капитализм в деревне и, таким образом, подбирается к формам народной жизни с самой опасной стороны. Выше мы старались исторически осветить враждебность государства к всестороннему развитию форм народ­ной жизни, теперь указываем на современные отношения народа к госу­дарству. Цель нашей статьи будет достигнута, если читатель согласится с нами, что всё принадлежащее последнему будет безвозвратно потеряно для народа, что каждый год его существования стоит народу массу бедствий, несчастий и горя, что оно деморализует народ, стараясь привить к нему формы чуждой ему жизни. Вот почему разрушение государствен­ной организации должно составлять нашу первую задачу. А так как борьба с государством может совершаться только на почве «Земли и Воли», то мы, исходя из вышеизложенных общих положений социализма, приходим к необходимости агитации во имя тех же начал, за которые уже боролись Разин, Пугачев и другие, приходим к тому, что мы назы­ваем революционным народничеством. Так, понимающий дело русский агроном, руководствуясь общими положениями агрономической науки, выросшей на почве иных условий народонаселения, сбыта, техники земледелия, утилизирует эти положения, сообразно с русскими усло­виями выгодной эксплуатации почвы.

Вот почему мы называем нашу газету «Черный Передел». В этих двух словах заключается решение крестьянского вопроса, от которого, в свою очередь, зависят все остальные. Конечно, решение это касается только экономической стороны упомянутого вопроса, но экономические отношения в обществе служат субстратом для всех остальных категорий человеческих отношений. Толкуя о «Черном Переделе», о земле, народ забывает, повидимому, о «Воле», т. е. о той сумме общественных реформ, которая исторически связана с этим словом, даже более, народ наш, повидимому, считает возможным примирить передел земли с существова­нием современного государства: он ждет этого передела от царя.

Но как бы ни думал в настоящее время народ, от кого бы ни ждал он осуществления его требований, экономическая, поземельная револю­ция неизбежно поведет за собою переворот во всех других общественных отношениях. В знаменитом девизе крупных народных движений воля так же неотделима от земли, как сила неотделима от материи, как след­ствие неотделимо от причины. Пусть народ ждет поземельной революции от царя, пусть он верит в него, видит в нем своего защитника и хо­датая. Но царь, существующий в народном понятии, и царь, сидящий на русском престоле, — так же непохожи друг на друга, как римский народ­ный трибун непохож на восточного деспота, как Кай Гракх непохож на Шир-Али, и мы утверждаем, что даже происходившее под авторитетным знаменем Пугачевское движение логикою народных требований было бы доведено до полного отрицания царской власти, как мы понимаем ее те­перь. А вовторых, рано или поздно фикция должна исчезнуть перед ука­занием опыта, народ должен увидеть царскую власть в ее истинном свете.

Социальнореволюционная партия должна взять на себя заботу как оскорейшем разрушении этой фикции, так и об уяснении народу и про­ведении в его сознание всех необходимых следствий ожидаемого им аграрного переворота. Толкая народ в активную борьбу с государством, воспитывая в нем самодеятельность и активность, организуя его для борьбы, пользуясь каждым мелким случаем для возбуждения народного неудовольствия и для сообщения народу, путем пропаганды словом и де­лом, правильных воззрений на смысл ныне существующих и желатель­ных в будущем социальных отношений, социальнореволюционная пар­тия должна довести народ от пассивного ожидания «Черного Передела», долженствующего совершиться сверху, до активных требований «Земли и Воли», предъявляемых снизу. В этом заключается задача и возможные пределы ее воздействия на народ, только на этом пути ожидает нашу интеллигенцию славное историческое будущее, только на нем и встретит она мост для перехода той громадной пропасти, которая отделяет ин­теллигенцию от народа чуть ли не со времени крещения Руси и проник­новения в высшие классы чуждых народу, выработанных на истощенной почве разлагавшейся Византии, воззрений и понятий.

Все другие пути действия, как бы ни казались они радикальны, как бы много ни сулили они народу, будут ретроградны по своему существу, потому что все они предполагают не только сохранение государства, но и действие с его помощью. Как бы ни приспособлялось государство к на­родным потребностям и интересам, оно всегда во столько же раз меньше даст народу, во сколько индивидуалистический принцип, лежащий в основе современного государства (не только русского, но и всякого дру­гого), во сколько этот принцип ниже принципа коллективизма, мирской помощи и солидарности, на которых всегда строилась или стремилась построиться народная жизнь. В этом смысле мы и говорили, что голос народа, требующего аграрной революции, есть как бы голос Божий, ука­зывающий нашей интеллигенции ее истинное, провиденциальное на­значение.

*С.Петербург, 14 декабря.*

В то время, когда, вслед за наступившим после 1848 года затишьем, в Западной Европе снова начало усиливаться рабочее движение, в Рос­сии стали обнаруживаться революционные тенденции в среде интелли­гентной молодежи. Пройдя несколько фазисов и захвативши известную часть рабочего населения, русское интеллигентнореволюционное движение остановилось на так называемом народничестве, которое и соста­вляет ныне преобладающее течение в нашем революционном мире. Какое значение может иметь это движение в общей жизни страны? В состоя­нии ли оно изменить в течение веков установившееся отношение между народом и государством? В каком отношении стоит русское народниче­ство к западноевропейскому социализму? Эти вопросы, представляющие интерес для всякого, кто рассматривает события нашей внутренней жизни не исключительно с точки зрения уголовного кодекса, есте­ственно, должны быть разработаны изданием, посвященным пропаганде революционного народничества в среде нашей интеллигенции и указанию путей и способов его практического осуществления. В предлагаемом ряде следующих статей мы задаемся целью дать на них посильный ответ.

Прежде всего нужно установить скольконибудь определенную и точную терминологию. Это тем более необходимо ввиду того, что с на­родничеством в разных странах и в различные периоды их обществен­ного развития могут быть связаны совершенно различные и даже противоположные друг другу теоретические представления и практические программы.

Название «народнореволюционной» может быть отнесено ко вся­кой партии, ставящей на своем знамени социальную революцию в инте­ресах и согласно с воззрениями и идеалами народной массы. Но, употре­бленное без всяких оговорок, название это не дает еще никакого пред­ставления о характере долженствующего совершиться переворота. Со­временные ирландские агитаторы были бы народникамиреволюционе­рами, если бы, вместо более или менее паллиативных реформ, они ука­зали низшему классу ирландского населения на аграрную революцию, как единственный выход из его бедственного положения. Агитация Гракхов в Риме равно как и делавшиеся во время Цицерона предложе­ния относительно передела земли, были радикальнонародническими в полном смысле этого слова, так как они вполне совпадали с интересами беднейшей части римских граждан и их представлениями о справедливой организации поземельного владения. Но как в современной Ирландии, так и в древнем Риме аграрная революция могла бы лишь передать право поземельной собственности в руки всего народа, не внося нового прин­ципа в отношения людей к земле. Она могла бы только раздробить частную поземельную собственность, но не уничтожить ее совсем. В каждой из этих стран аграрная община исчезла уже задолго до назван­ных нами аграрных волнений, и в населении успело изгладиться всякоепредставление о коллективной поземельной собственности, по крайней мере, на пахотные земли.

Совершенно иное значение приобретают аграрные волнения в стра­нах, где община является преобладающей формой крестьянского земле­владения. Экспроприация крупных поземельных собственников необхо­димо ведет в этом случае не только к более справедливому распределе­нию экспроприированных земель, но и к замене индивидуального вла­дения ими коллективным, т. е. обусловливает торжество высшего прин­ципа имущественных отношений. Такой именно смысл имеют живущие в русском народе ожидания черного передела, которые, даже в тех ча­стях нашего отечества, где существует подворнонаследственное владе­ние землею, нередко связываются с представлением об общинном земле­владении и душевой разверстке. Вследствие этого социалист, провозглашающий коллективное владение орудиями и объектами труда, по край­ней мере, в той части своей пропаганды, которая касается поземельного владения, становится выразителем и обобщителем народных стремлений и, не отказываясь от своего выработанного наукою миросозерцания, он с полным правом может назвать себя *революционером-народником* в лучшем значении этого слова.

Сочувствие массы земледельческого населения коллективным фор­мам землевладения, в свою очередь, придает своеобразный вид как по­становке социального вопроса, так и практическим задачам социалисти­ческой партии в России, сравнительно с ее задачами на Западе.

Чтобы определить и выяснить это различие, нужно обратить вни­мание на те формы кооперации производителей на Западе, которые слу­жат якобы прообразом организации труда и владения в будущем обще­стве. Эти формы созданы крупной капиталистической промышлен­ностью. Соединяя в одно организованное целое изолированных производителей ремесленного периода, социализируя труд, она подготовляет почву для социализации владения, которое, со времени разрушения западноевропейской поземельной общины, стало индивидуалистическим даже по отношению к недвижимой собственности. Так как в настоящее время уже не мыслим возврат к ремесленному изолированному произ­водству, то единственновозможное решение рабочего вопроса заклю­чается в экспроприации капиталистов и организации коллективного вла­дения орудиями труда.

Техника современного производства, начавшись социализацией труда, логически неизбежно ведет к социализации владений, т. е. к практическому осуществлению социалистических учений. Родившись на фабрике, рабочий социализм проникает и в деревню вслед за исчез­новением мелкой поземельной собственности и капиталистической организации земледельческих предприятий. При господстве индивидуального владения землею, социализация поземельного владения может явиться лишь как следствие социализации труда в таких предприятиях. Неуди­вительно поэтому, что социалистическая пропаганда встречает самый радушный прием в местностях, охваченных процессом капиталистиче­ского производства; напротив, мелкие собственники-крестьяне отно­сятся к ней очень враждебно и составляют надежную опору реакцион­ных партий. Классическим примером в этом случае может служить земледельческое население современной Франции. Но и там концентрация поземельного владения в руках крупных собственников рано или поздно вытеснит господствующую ныне систему землевладения, и французское крестьянство, силою экономической необходимости, вынуждено будет присоединиться к революционной армии городского пролетариата.

Таким образом, капитализм подготовляет почву социализму и является его необходимым предшественником. Но, как мог уже заме­тить читатель из вышеизложенного, неизбежность капиталистической продукции, как переходной ступени к социалистической организации будущего общества, признается нами лишь для тех сфер имущественных отношений людей, где индивидуализм являлся до сих пор исключительно господствующим принципом. Еще со времени феодализации поземель­ной собственности на Западе этот последний вытеснил собою коллек­тивное владение землею; что касается орудий труда, то они по самым свойствам своим требовали единоличного владения, и лишь введение ма­шин крупной промышленностью создало конкретную основу для приме­нения к ним коллективного начала.

Поэтому все сферы общественных отношений в западноевропей­ском обществе должны были пройти чистилище капиталистической про­дукции, чтобы реорганизоваться на началах коллективизма. Там же, где эти последние проникают собою, по крайней мере, поземельные от­ношения массы, их дальнейшее развитие и распространение на движи­мые орудия труда может совершиться естественным путем, конечно, при благоприятных условиях. Коллективные формы владения даже движимой собственностью не представляют чеголибо нового и неизведанного в истории имущественного права. Мы встречаем их на первых ступенях общественного развития, и если они, малопомалу разрушаясь, уступили, наконец, место торжеству противоположных им индивидуалистических форм во всех известных нам культурных странах, то до сих пор еще вопрос о причинах их исчезновения представляется далеко не решенным окончательно и безапелляционно в сторону внутренней необходимости. Напротив, даже с предвзятою мыслью предпринятые исследования приво­дят лишь новые доказательства в пользу того мнения, что исчезновение коллективизма обусловливалось неблагоприятным стечением историче­ских условий. Они не только не носят в самих себе элементов разложе­ния, но, напротив, при благоприятном стечении обстоятельств, прогрес­сируют и совершенствуются, налагая свою печать на все предприятия об­щинников. Стремление к коллективной организации промышленных предприятий было замечено во всех странах, где поземельная община сохранилась в более или менее полном виде.

Таково, напр., развитие артельных промыслов в тот период нашей истории, когда государственный гнет, с одной стороны, не успел еще по­давить народной инициативы, а с другой — не породил еще того кулаче­ства, которое монополизирует в настоящее время все отрасли промыш­ленности.

Подобное же явление замечается и в Индии, где уже древнейшие законодательства упоминают о «людях, соединившихся с целью содей­ствовать, каждый своими трудами, успеху общего предприятия». Не­смотря на множество самых неблагоприятных исторических влияний, эти кооперативно-промышленные товарищества существовали вплоть до английского завоевания. Но, разумеется, применение принципа ко­операции возможно только в тех сферах труда, где оно способно по­вести к увеличению его производительности. Современное состояние, напр., нашего земледелия, господство экстенсивной культуры почвы не благоприятствует общинной эксплуатации полей. Самое употребитель­ное при такой обработке земледельческое орудие — соха, с которою, как известно, с удобством может управляться один рабочий. Разделе­ние труда между отдельными работниками невозможно при подобном состоянии земледельческих орудий, а потому артельная обработка мир­ских земель не в состоянии была бы увеличить его производительность. В этом нужно искать разгадки того на первый взгляд странного явле­ния, что, несмотря на всю привычку нашего крестьянина к артельной организации, он не применяет своего излюбленного артельного прин­ципа к земледелию. Совсем иное значение имеет этот принцип в других отраслях сельского хозяйства и, вообще, крестьянского обихода. Покос лугов, вырубка леса, рытье канав и т. п. часто требуют дружных усилий всего мира, и здесь мы видим применение коллективного труда.

Таким образом, социализация земледельческого труда может явиться естественным следствием общинного землевладения лишь на из­вестном уровне сельскохозяйственной культуры. Введение интенсивных способов обработки почвы и более совершенных земледельческих ору­дий не только не затрудняется, но, напротив, значительно облегчается существованием неразделенной поземельной собственности в общине. А это введение поставит на очередь вопрос об артельной эксплуатации мирских полей. Тогда и пропаганда последней получит, так сказать, экономическую санкцию и будет, без всякого сомнения, плодотворной. В настоящее же время только общинное землевладение и артельная организация народной промышленности составляют практически осуще­ствимую в России часть социалистической доктрины. Поэтому они и должны быть взяты агитационным девизом русской социальнореволю­ционной партии. Говорим — агитационным, потому что возможность и пределы *пропаганды в* различных частных случаях могут и должны быть шире требований, непосредственно вытекающих из условий переживае­мого Россией фазиса экономического развития.

Так понимаем мы различие, существующее в постановке и спосо­бах решения социального вопроса на западе Европы и в России. Но это различие не исчерпывается вышеуказанным. Как это *понятно* само со­бою, оно распространяется и на практические приемы нашей партии, что и составит предмет следующих статей.

*Лондон, 2 сентября.*

Нам, социалистам конца 70 и начала 80 годов, пришлось быть со­временниками весьма серьезного перелома в общественной жизни Рос­сии. Когдато всесильный, нигде и ни в ком не встречавший сопротивле­ния, абсолютизм обнаруживает старческую дряхлость и почти полную беспомощность. В его расслабленном организме жизнь поддерживается только усиленными приемами возбуждающих веществ в виде всевозмож­ных «временных мероприятий», от военной диктатуры до заграничных займов и выпусков новых бумажных денег включительно. Всё искусство придворных знахарей, вся мудрость Зимнего Дворца пущены в оборот, но полученные до сих пор результаты едва ли могут назваться отрад­ными для бескорыстных и нанятых сторонников абсолютизма.

Это и неудивительно. По традиционной привычке — искать в ка­зарме разрешение общественных вопросов, перепуганный самодержец ре­шил, что храбрый генерал непременно должен быть «мудрым правителем» и, не долго думая, произвел «фельдфебеля в Вольтеры». ЛорисМе­ликов был облечен полномочиями, неслыханными в России со времен «Царя Земщины», блаженной памяти татарина Симеона Бекбулатовича. Занявши свой высокий пост, Михаил Тариэлович принялся спасать «по­рядок», «семью», «собственность» и все, к чему взывают предержащие власти, когда начинают опасаться за свои прерогативы. Он «карал», «миловал», обещался чегото «не потерпеть», когото призвать к «содей­ствию власти», а в последнее время отважился даже на переименование IIIго Отделения, со всеми его чадами и домочадцами, в департамент по­лиции политической. Но, вопреки уверению сикофантов, его воззвания не содержали в себе решительно ничего оригинального, его «реформы» оказались тем низкопробным политическим шулерством, в области ко­торого наше правительство составило себе такую печальную извест­ность.

Некоторая разница между нашими «помпадурами борьбы» заме­чается только в слоге. Михаил Тариэлович любит «штиль» высокий и просит общество о «содействии власти». «Сам» предпочитает язык, если не совершенно «подлый», то, во всяком случае, простой и безыскус­ственный. «Господа, говорит он, многие из вас — домовладельцы, следите, пожалуйста, за своими жильцами». В «добром русском сердце» такая откровенная просьба находит даже более сочувственный отклик, чем псевдолиберальное красноречие бывшего диктатора. Это доказывается тем, что в ответ на призыв самодержца слушатели гаркнули немедлен­ное и дружное «ура», между тем, как читатели Лорис-Меликовской про­кламации и до сих пор продолжают чесать у себя в затылке. Что же ка­сается сердец, лишившихся своей первобытной чистоты под тлетворным влиянием Запада, людей, недовольных современными русскими поряд­ками, то опыт показал уже, как относятся они к правительственным просьбам о помощи и обещаниям реформ. О социалистах, разумеется, нечего и говорить. Это люди до такой степени испорченные, что беседы с ними возможны только в застенках «департамента полиции политиче­ской». Но стоит припомнить земские адреса, записку профессоров Петербургского университета, стоит раскрыть книжку сколько-нибудь честного журнала, развернуть номер маломальски чистоплотной га­зеты, чтобы увидеть, как глубоко пал абсолютизм в общественном мне­нии. Обязанность вынимать правительство из петли, которой оно само себя захлестнуло, общество не отделяет и не может отделить от права участия в управлении и его контроля.

Тлетворное влияние Запада сказалось на всем общественном мнении, и правительству волейневолей придется пойти на уступки. Але­ксандр Николаевич пока еще не понимает всей безысходности своего по­ложения. Повидимому, он надеется еще поддержать колеблющуюся «храмину» абсолютизма соединенными силами дворников, полиции, жандармерии и всех забалканских и закавказских героев. Но, отличив­шиеся «в делах против неприятеля», полководцы не обнаруживают ника­ких талантов в походе против духа времени; высочайше пожалованные в соловьи кукушки остаются кукушками. А положение дел с каждым днем ухудшается. Невыносимая духота чувствуется во всей обществен­ной атмосфере. Все сознают крайнюю ненормальность современного по­ложения, все ищут выхода из него, но в умышленно поддерживаемой правительством темноте все бродят ощупью, сталкиваются, ушибаются, посылают друг другу проклятия и постоянно натыкаются на новые пре­пятствия. «Слово и дело государево» распространяет настоящую панику, шпионство достигает небывалых размеров, и даже дети играют в воен­ные суды и смертные приговоры.

Над Россией тяготеет проклятие, налагаемое историей на всякую отсталую и развращенную страну. Сама природа как будто ополчается на наше несчастное отечество и поражает его целым рядом бедствий. Неурожай, засуха, жучки, черви, голод, пожары, эпидемии, эпизоотии и т. п. и т. п. — вот чем полны отделы внутренних известий наших газет; вот картина, по яркости красок не уступающая картине египетских казней. Ни в чем не повинный народ бедствует, голодает, разоряется окончательно. Вслед за последнею коркою хлеба, он потеряет также и терпение. Как предвестники приближающейся грозы, то здесь, то там вспыхивают волнения. В некоторых местах крестьяне отказываются платить недоимки и ободряют себя тем соображением, что «хуже не бу­дет». «Хуже не будет, хуже невозможно» — это вопль отчаяния, в кото­ром народы, как и отдельные личности, решаются на всё, трусы делаются героями, самые слабые люди — силачами.

Так продолжаться долее не может. Общество увидит, наконец, всю глубину пропасти, на край которой привело его правительство, и, дви­жимое чувством самосохранения, добьется необходимых реформ. В про­тивном случае Гордиев узел современной безурядицы будет разрублен топором крестьянина.

Но вероятнее первый исход. Один из Александров — IIй или IIIй — это, в сущности, все равно, вынужден будет высочайше пожаловать кон­ституцию, которая удовлетворит интересам высших классов. На ми­нуту нарушенное согласие между ними и монархом восстановится, гоподающему народу кинут коркудругую хлеба, охранителей из «департамента» заменят охранители из Земского Собора, и «порядок» будет восстановлен, к общему удовольствию всех, заинтересованных в его со­хранении.

В этом споре за власть между отживающим абсолютизмом и наро­ждающейся буржуазией, какую роль будут играть социалисты? Сосредо­точат ли они свои силы на политической борьбе или найдут для себя в народе дело более плодотворное, более достойное партии, написавшей на своем знамени экономическую революцию в интересах трудящихся масс?

Конечно, не нам, отрицающим всякое подчинение человека человеку, оплакивать падение деспотизма в России; не нам, которым борьба с существующим режимом стоила таких страшных усилий и стольких тяжелых потерь — желать его продолжения. Мы знаем цену политиче­ской свободы и можем пожалеть лишь о том, что русская конституция отведет ей недостаточно широкое место. Мы приветствуем всякую борьбу за права человека, и чем энергичнее ведется эта борьба, тем более мы ей сочувствуем. «Света, больше света». — На этом требовании сой­дутся все честные и уважающие себя люди в России. Но кроме выгод, которые несомненно принесет с собою политическая свобода, кроме за­дач ее завоевания, есть другие выгоды и задачи; и забывать о них не­возможно именно в настоящее время, когда общественные отношения так обострились и когда, поэтому, нужно быть готовыми ко всему.

Кризисы, переживаемые обществом при замене одного режима дру­гим, всегда сопровождаются некоторым брожением в народе; при благо­приятных условиях оно разрешается рядом более или менее сильных волнений. И это понятно. Народу всегда тяжелее всех других классов приходится расплачиваться за ошибки правительства. Отсюда — недовольство, с особенной силой проявляющееся в минуты правительствен­ной дезорганизации. Так было во время Великой Революции во Фран­ции, так было в Германии в 1848 г. Народ возобновлял свою вековую распрю с господствующими классами и поджигал помещичьи замки, не справляясь о консервативном или либеральном образе мыслей их владельцев. Исходы таких волнений определялись, конечно, всей суммою современных им условий. Но в алгебраической сумме последних весьма значительную отрицательную величину всегда составляло отсутствие в народе сплоченности, единства и организованности действий. В то время иначе и быть не могло. Крестьянские массы только в редких исключительных случаях способны выдвинуть из своей среды достаточное количество организующих и руководящих элементов. Интеллиген­ция же того времени почти целиком стояла на стороне буржуазии и на благо народа смотрела сквозь призму интересов 3го сословия. Это опятьтаки было естественно тогда, но совершенно непозволительно для социалистической интеллигенции нашего времени. Было бы очень пе­чально, если бы, увлеченные политической борьбой, мы предоставили народным волнениям совершаться без нашего участия, воздействия и влияния. Поступая таким образом, мы собственноручно подписали бы себе патент на беспочвенность, который так усердно навязывают нам наши враги. Социалистическая «партия» без почвы и влияния в народе, без заботы о их приобретении — это nonsens, «штаб без армии», мни­мая величина, не имеющая значения в ходе общественной жизни страны. С такою партией было бы не нужно считаться ее врагам, они могли бы игнорировать ее требования, без всякой серьезной для себя опасности.

Итак, рассуждая даже исключительно с точки зрения нашего влия­ния на ход политических событий в России, мы должны поставить дея­тельность в народе превыше всех задач, как источник нашей силы и наших успехов в борьбе с врагами, которых в конституционной России у нас, конечно, будет не менее, чем теперь, и которые всеми силами будут стараться затруднять нашу деятельность, помешать нашей пропа­ганде, объявить нас вне закона.

Но какую же проповедь понесем мы в эту среду, какие задачи и цели укажем мы ей, как наиболее важные и легче всего достижимые? Экономический вопрос всегда и везде был и будет сильным, жгучим, самым существенным вопросом для трудящихся масс. С точки зрения этого вопроса они определяют свое отношение к существующему по­рядку вещей, благословляют или проклинают появление нового, оттал­кивают или поддерживают различные партии. Выступая активно в мо­менты общественных кризисов, народ преследует именно цель своего экономического освобождения. Вопросы политические имеют для него второстепенное значение, если не игнорируются им совершенно. В этом — несчастие *всех* дворянских и буржуазных партий и — залог не­сомненного успеха для социалистов, которые признают коренную важ­ность экономического вопроса и решают его в пользу трудящихся масс. Но здесь же и предостережение для социалистической интеллигенции. Всякое ее уклонение с пути экономической революции будет наказы­ваться ослаблением ее связи с народом, потерей ее значения, падением ее влияния в народной среде.

Вот почему, при всем нашем сочувствии политической борьбе, на которую устремилось уже не мало сил, когдато работавших вместе с нами, мы говорим, что борьба эта имеет лишь второстепенное значение; вот почему мы говорим: современное положение дел в России не только не требует сосредоточения *всех* наших сил на политической арене, но более, чем когдалибо, вызывает спрос на них со стороны народа.

**\* \***

**\***

«Но, — говорят нам, — деятельность в народе так затруднена; мы ок­ружены в деревне целой сетью шпионов; каждый шаг наш наблюдается и принимается к сведению; о работе скольконибудь продолжительной нечего и думать. Мы должны от нее отказаться, если не хотим «тратить все силы на то, чтобы биться около народа, как рыба об лед».

На это мы заметим, что мы сами виноваты, если не воспользова­лись многими представлявшимися нам случаями усилить свое влияние и сделать популярным свое имя в народе. Стоит лишь припомнить волне­ния казаков на Урале, в Полтавской станице Кубанского Войска и на Дону; стачки рабочих в Серпухове, Костроме, селе Тейкове, наконец, в Петербурге, Москве, Киеве и Одессе, чтобы увидеть, как обильна была наша жатва и как мало оказалось жнецов. Во всех этих слу­чаях социалисты не сделали и сотой доли того, что они должны были и могли сделать даже при существующих политических условиях. А сколько крестьянских волнений стало нам известно только тогда, когда «порядок был восстановлен», о скольких из них мы совсем не имели сведений? Одно только Чигиринское дело было попыткой утилизиро­вать спорадически вспыхивающие в крестьянстве волнения, с целью создания в его среде более или менее широкой революционной орга­низации. И результаты этой единственной в своем роде попытки едва ли подтверждают основательность вышеизложенных пессимистических взглядов. Крестьяне так горячо относились к вопросу своего освобо­ждения, так охотно примыкали к организации, что неожиданнообшир­ное распространение ее, можно сказать, и погубило дело. Но случай­ность болтливости одного из членов могла бы быть устранена более осмотрительным приемом новичков в организацию; это сообщило бы ей устойчивость, и тогда, как знать, чем окончилось бы дело? Говорить ли о городских рабочих? Повторять ли, что Малиновские, Обнорские, Петры Алексеевы, Петерсоны и т. д. служат наглядным доказательством плодотворности нашей деятельности в рабочей среде. Лет 20—25 тому назад группа рабочих социалистов в России была бы «чудом родины своей», а в начале 80 гг. нам пришлось услышать об аресте тайной типографии петербургских рабочих и о готовящемся к изданию социали­стическом рабочем листке.

Мы не спорим, немало неудач пришлось нам пережить, но при­чины их надо искать не в свойствах народной среды и — по крайней мере, часть, — не в современных политических условиях, а в собствен­ной нашей неловкости, в нашем собственном неумении. Но и это — болезни излечимые. Ряд наших недостатков располагается во времени, по убывающим, а не по возрастающим степеням. Но довольно об этом. Наша статья переросла уже намеченные для нее размеры, и мы почти до постскриптума должны были отложить многие, весьма существен­ные вопросы. Приемы революционной деятельности в народе должны прежде всего занять остающееся место. Перейдем же к их рассмотрению.

Выше мы постарались показать, что социалистическая интелли­генция лишится почвы в народе, если хоть на время откажется от пре­следования задач революции экономической. Мы говорили, что в ми­нуты, когда народное внимание будет возбуждено политическими событиями в стране, социалистическая пропаганда — словом и делом — при­обретет особенно важное значение и особенно внимательных слушате­лей; мы утверждали также, что если начнутся в народе волнения, на обязанности нашей интеллигенции лежит их расширение, организация и внесение в них возможно более широкой революционной идеи. Но для этого нужно иметь предварительно связи в народе, нужно упро­чить свое положение в его среде. И чем скорее будут исполнены эти подготовительные работы, тем спокойнее мы будем смотреть на при­ближающиеся события, тем увереннее пойдем мы к своей цели.

Переход орудий и объектов труда в руки трудящихся — такова фор­мула ее выражающая, таков девиз социалистической революции. И что бы ни принесли с собою грядущие события, мы никогда не должны терять ее из виду.

Трудная и долгая работа ее достижения не подходит, разумеется, под раз навсегда установленные шаблоны, не укладывается в неизмен­ных рамках, а разнообразится в связи с условиями времени и окружаю­щей среды. Устная и письменная пропаганда должна вносить в сознание народа идею социалистической революции со всеми ее выводами и по­следствиями. Но при настоящих условиях социалистическая пропаганда должна вестись тайным образом, при запертых дверях и опущенных сторах. Поэтому она поневоле будет затрагивать только отдельных лич­ностей. Чтобы влиять на массу, нужно изыскивать другие способы действий. Посредственно или непосредственно, они заключаются в слове «агитация». В русской социалистической литературе достаточно уже занимались разработкой вопроса о значении агитационных приемов. Поэтому мы излишним считаем приводить новые аргументы в их поль­зу. Интереснее вопрос о точках опоры для нашей агитации, тех исход­ных пунктах ее, которые в главных чертах всегда могут быть указаны для данной среды и известного времени. Имея дело с массой, всегда можно указать среднюю арифметическую недовольства составляющих ее единиц, найти ту струну народного сердца, которая больнее всего затрагивается окружающей действительностью. Для русского крестья­нина такую больную струну составляет, без сомнения, вопрос аграрный. Крестьянин с завистью смотрит на барскую и казенную землю; он не­доволен своим наделом, задавлен лежащими на нем платежами; он ждет аграрных перемен, «черного передела», «слушного часу» и т. п. Но вместо хлеба, правительство и высшие классы подают ему камень. И по временам терпение его истощается, долго накоплявшееся недоволь­ство прорывается пассивным сопротивлением или открытым бунтом. Тогда готова почва для социалистической агитации. Революционер дол­жен явиться обобщителем частных причин народного недовольства, подвести их к знаменателю экономической революции, поддержать стойкость и энергию в протестующей массе. Насколько удастся ему эта работа в каждом частном случае, предсказать, конечно, невоз­можно. Масса не всегда одинаково настроена в пользу радикального решения волнующих ее вопросов. Но в этом направлении должны вли­ять на нее социалисты. Недоконченное в одном случае довершится в другом, пропаганда дополнит влияние революционера на отдельных, вы­дающихся личностей, организация свяжет их в один революционный союз, образует из них звенья одной цепи, и основания народной социальнореволюционной партии, в данной местности, могут считаться заложенными.

Но, говоря об агитационном способе действий, мы должны кос­нуться тех сторон его, которые, при недостаточно внимательном к ним отношении, легко могут сделаться отрицательными. По нашему мнению, Сцилла и Харибда агитации лежит: 1) в так называемых ближайших, минимальных требованиях, и 2) в предрассудках массы, с которыми агитатору, во всяком случае, приходится считаться. Устремляясь на путь первых, мы из социалистовреволюционеров превратились бы в социаль­ных реформаторов; излишний оппортунизм по отношению к народным предрассудкам может привести нас к самым опасным компромиссам.

Аграрная революция, как выражается она в народных требованиях, сама по себе есть минимум в сравнении с задачами и требованиями со­циализма. Ставя эту революцию исходным пунктом своей агитации в народе, мы должны всеми силами стараться обобщать и расширять ее требования в социалистическом духе, а не урезывать их, отвлекая вни­мание народа на различные паллиативы. Организация поземельного кредита, увеличение наделов, уменьшение податей, расширение кре­стьянского самоуправления и ограждение его от произвола администрации — все эти и подобные им требования могут служить *поводом* для агитации, в том или другом частном случае. Но единственной *целью* ее должно быть приведение их к одному общему знаменателю эконо­мической революции. Предлагать же эти полумеры всей массе крестьян­ства, как средство серьезных улучшений в ее судьбе — значило бы упро­чивать, а не разрушать существующий ныне общественный строй. Ска­занное относится ко всем моментам народной жизни, не исключая мо­мента политических преобразований в России. В последнем случае, как и во всех других, на подготовленную ходом событий почву мы должны бросать семя экономической революции, хотя бы всходы не везде обе­щали быть одинаково хорошими.

Перейдем к вопросу о политических суевериях массы, расстаться с которыми ей иногда труднее, чем вступить в открытый бой с ее угне­тателями. Может ли социалист утилизировать эти предрассудки для целей революции? Встретивши на страницах «Черного Передела» рассказ о Чигиринской попытке наших товарищей, многие приняли нас за апологетов такой утилизации. Но это ошибка. Ниже мы перепечаты­ваем письмо, помещенное нами в польском социалистическом издании «Równość». Читатель может видеть из него, как относимся мы к «Чи­гиринскому делу». Здесь же мы скажем вообще, что вливание нового вина в старые меха совершенно неблагодарная работа, осужденная исто­рией на полное бесплодие. И на страницах «Черного Передела» немы­слима программа, ищущая в народных предрассудках опоры для социаль­нореволюционной деятельности, видящая в них фундамент и основу народного освобождения. Чем скорее и полнее совершится разрушение политических идолов народа, тем скорее пробьет час его экономической свободы. Социалистическая агитация всегда должна иметь в виду эту зависимость и не щадить усилий в борьбе с политическими суевериями массы. Только при соблюдении этого условия, созданные в народе революционные организации будут обнаруживать устойчивость и жиз­ненность, растущие вместе с его сознанием и политической опытностью.

Заканчивая теперь нашу статью, мы нелишним считаем сделать небольшую оговорку. Когда мы говорили об условиях и способах социа­листической деятельности в России, мы имели в виду, главным образом, крестьянскую среду. Мы указывали на важность агитации в этой среде, на необходимость сплачивания и организации выдвигаемых ею револю­ционных сил; мы старались формулировать требования, во имя кото­рых может совершиться слияние социалистической интеллигенции с массой земледельческого населения. Но это не значит, чтобы в *целях* наших лежал какойнибудь особенный, крестьянский социализм. Мы совсем не отрицаем значения революционной работы в наших промы­шленных центрах. Такое отрицание невозможно для нас уже и потому, что мы не в состоянии определить заранее, из каких слоев трудящегося населения будут вербоваться главные силы социальнореволюционной армии, когда пробьет час экономической революции в России. В настоя­щее время промышленное развитие России ничтожно, и понятие «трудя­щиеся массы» почти покрывается понятием «крестьянство». Поэтому, говоря о практической деятельности, мы, главным образом, имеем в виду экономический быт, нужды и требования земледельцев. И если грозе социального переворота суждено предупредить значительные из­менения в общественном строе России — главный интерес этого перево­рота сосредоточится на вопросе аграрном. Но пока мы делаем свое дело, русская промышленность также не стоит на одном месте. Нужда отрывает крестьянина от земли, и гонит его на фабрики, на заводы. Рядом с этим, центр тяжести экономических вопросов передвигается по направлению к промышленным центрам.

Распределение наших сил должно сообразоваться с этим органи­ческим процессом. Укрепившись на фабрике и в деревне, мы займем по­зицию, соответствующую не современному только положению, но всему ходу экономического развития России. Написавши на своем знамени девиз: — «рабочий, бери фабрику, крестьянин — землю», связавши в одно целое революционные организации промышленных и земледельческих рабочих, мы можем предоставить ход экономических изменений в России их естественному течению и не бояться их колебаний в ту или другую сторону.

## От редакции[[16]](#footnote-16)

## (По поводу Чигиринского дела).

Помещая на страницах нашего журнала рассказ о Чигиринском деле, мы вовсе нe думаем пропагандировать тех средств, какие в нем практиковались.

По нашему мнению, дело это имеет значение, как чрезвычайно важный опыт создания революционной организации среди народа; в этом отношении оно заслуживает особенного внимания русских социалистов и главным образом теперь, когда события грозят увлечь чуть не все революционные силы в борьбу, имеющую очень мало общего с вопросом экономической революции России.

Мы думаем, что этот рассказ должен служить ответом скептикам, сомневающимся в возможности создания революционной организации среди народа и серьезного отношения с его стороны к этой органи­зации.

В течение девяти месяцев существования Чигиринского тайного об­щества не было ни одного случая доноса или измены какогонибудь из его членов. Аресты начались только благодаря неопытности, неосторож­ности, — качествам, свойственным, как известно, не одним только кре­стьянам. Горячее же участие чигиринцев в деле их освобождения доказывает, что неудачи, испытанные нашими товарищами, работавшими среди народа, зависели больше от них самих, чем от той среды, в кото­рой приходилось им действовать.

Но с Чигиринским делом связано понятие об авторитарном знамени и об агитации во имя идеализированного народом царя.

Должны ли мы стать защитниками подобного рода действий? Не колеблемся ответить на этот вопрос отрицательно; тем более, что сами инициаторы Чигиринского дела никогда не имели намерения поддержи­вать этой веры в царя среди крестьян.

Беспристрастный читатель на основании вышеприведенного рас­сказа согласится, что все стремления интеллигентных участников этого дела были направлены к ослаблению авторитарного принципа и к раз­витию революционной самодеятельности народа. Они старались убедить крестьян, что царь не в состоянии улучшить их несчастную судьбу и что им остается положиться лишь на свои собственные силы.

Тем не менее мы понимаем всю натянутость положения социали­ста, делающего народу такие заявления от имени царя.

Мы не можем не указать на необходимость избегать подобных положений и стараться подкопать веру народа в помощь и благосклон­ность царя.

Какие бы ни были практические результаты Чигиринского дела, мы никогда не отступим от убеждения, что уничтожение веры в царя есть одно из необходимых условий народного освобождения.

Если бы хотели говорить об этом подробнее, то должны были бы повторить все, высказанное в статье: «Черный Передел» (в № 1).

Этим заявлением мы надеемся предупредить ложное понимание наших взглядов на задачи революционной деятельности в народе.

## Заявление прежних издателей „Черного Передела”.

Вам известно, дорогие товарищи, обстоятельства, помешавшие кружку «Черного Передела» продолжать издание своего органа в Рос­сии. Теперь, преодолев встретившиеся на нашем общем пути препят­ствия, мы решили перенести снова его издание на родину. Мы тем охот­нее передаем ведение этого дела в ваши руки, что имели уже возмож­ность убедиться в тождестве ваших взглядов со взглядами, высказан­ными в 2х №№«Ч. П.». В последнем из этих №№ мы заявили уже пол­ную свою солидарность с программой общества «Земля и Воля». В на­стоящее время, как и полтора года тому назад, мы думаем, что задача «Ч. П.» заключается в определении задач партии в народе, в агитации на почве требований народа, выражаемых лозунгом «Земля и Воля» и во внесении в народный протест идей современного социализма. При этом, предостерегая партию от излишнего увлечения вопросами чисто политического свойства, «Черный Передел», думаем мы, лишился бы зна­чительной доли практического значения, оставаясь вполне безучаст­ным к политическому вопросу, столь жгучему теперь в России. В этой области по нашему мнению, орган должен остаться верным принципу федерализма. Поэтому распадение Российской империи на самостоя­тельные организмы по естественным ее областям пусть будет откликом на зов, раздающийся с другой стороны «Всероссийский земский собор». Товарищи, мы шлем вам братский привет и, от всей души желая полного успеха всем вашим предприятиям, с своей стороны обещаем вам наше посильное содействие.

*Январь 1881 г.*

## Письмо в редакцию „Черного Передела".

Печатаем ниже письмо одного из основателей «Ч. П.». Привет­ствуя наше намерение издавать этот орган в России, автор письма вы­сказывает следующие мысли:

«Социализм есть теоретическое выражение, с точки зрения инте­ресов трудящихся масс, антагонизма и борьбы классов в существующем обществе».

«Вытекающая из него практическая задача революционной дея­тельности заключается в организации рабочего сословия, вуказании ему путей и способов его освобождения».

«Исполнение этой задачи невозможно помимо деятельности не только для народа, но и в среде его».

«Вне организации сил, вне возбуждения сознания и самодеятель­ности народа, самая геройская революционная борьба принесет пользу только высшим классам, т. е. именно тому слою современного обще­ства, против которого мы должны вооружать трудящиеся обездоленные массы».

«Освобождение народа должно быть делом самого народа».

«Мы понимаем всю важнность переживаемого нашим отечеством политического и экономического кризиса. И не мы будем ополчаться на защиту отжившего самодержавия. Но вопреки мнению «Народной Воли», мы думаем, что не один только «современный государственный строй служит главным препятствием к экономическому и политическому освобождению народа» и свержение абсолютизма не устранит еще важнейших причин его порабощения».

«Чтобы достигнуть своего освобождения, народ должен предста­влять собою сознательно организованную силу, способную дать отпор эксплуататорам всех исторических формаций, всех фазисов развития страны. Иначе, на место представителей абсолютной монархии явятся представители конституционного режима, выразители экономических интересов буржуазии. Борьба с ними будет так же неизбежна для на­рода, как неизбежны были протесты его против гнета абсолютизма. И чем разрозненнее будут его силы, чем менее он будет подготовлен к пониманию социальных отношений в буржуазном обществе, тем труд­нее будет борьба его против новых своих господ, тем долее отсрочена будет его победа».

«Современное положение России как нельзя более соответствует всему вышесказанному».

«Абсолютизм, разбитый и дряхлый, как его коронованный представитель, понимает всю непрочность своего положения и, растерянно озираясь, он ищет поддержки».

«Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, какою ценою и где найдет он эту поддержку. Выросшая под его покровительством, вскор­мленная его заботами, наша буржуазия начинает уже расправлять свои крылья. Она чувствует свою силу, понимает свое значение, и, вчерашняя раба, она подсказывает сегодня программу «мирного развития», а на завтра готовится взять в свои руки все управление государством».

«Не политической агитацией в так называемом «обществе» можно, если не отвратить, то сократить ее господство. Общество — не народ. В огромном большинстве своих представителей — оно эксплуататор народа, верхний европеизированный слой той самой буржуазии, против кото­рой мы должны бороться. Приблизить час ее падения могут только успехи социальнореволюционной пропаганды, агитации и организации в народе».

«Поэтому задача «Ч. П.» может считаться оконченною лишь тогда, когда вся русская социалистическая партия признает главною целью своих усилий создание, социальнореволюционной организации в народ­ной среде, при чем требование политической свободы войдет, как со­ставная часть в общую сумму ближайших требований, предъявляемых этой организацией правительству и высшим классам. Другую часть этих требований составят насущные экономические реформы, вроде изме­нения податной системы, введения правительственной инспекции на фабриках, сокращения рабочего дня, ограничения женского и детского труда и т. д., и т. д.»...

«Исходя одинаково из народной среды, эти два рода требований будут находиться в неразрывной связи, и связь их послужит ручатель­ством того, что предстоящий политический переворот совершится в ин­тересах не одних только высших классов».

«При общем признании такой постановки вопроса, существующее ныне разделение между русскими социалистами лишается своего осно­вания, и «Ч. П.», как орган одной из фракций, уступит место органу слившейся в одно целое социалистической партии».

*Январь 1881 г.*

## Об издании Русской Социально-Револю­ционной Библиотеки.

138 В течение последних лет всё более и более ощущалась потребность в пополнении существующей на русском языке социалистической лите­ратуры. Мы имели, правда, за это время несколько периодических со­циально-революционных изданий, но они не могли пополнить наших литературных пробелов.

Эти издания не имели и не могли иметь в виду теоретических во­просов социализма. Дело в том, что ко времени их возникновения, т. е. к концу 1877 и началу 1878 гг. — наша социалистическая партия имела уже за собою опыт предшествовавших лет борьбы. На основании этого опыта подвергались критике старые способы действия, вырабатывались новые программы, проектировались новые практические приемы. А между тем, с прекращением заграничных социалистических изданий, единственным средством обмена мыслей по всем этим, не терпящим отлагательства, вопросам оставались единичные встречи тех или других лиц, или так называемые «сходки» социалистов. При многолюд­ности среды, в которой поднимались эти вопросы, при постоянно воз­раставшей бдительности полиции и отсутствии системы в возникавших на сходках прениях, ни тот, ни другой из названных способов не могли удовлетворить нуждам партии.

Жизнь настойчиво требовала расширения социалистической ауди­тории. Начиналось горячее, тревожное время. Завязывалась борьба, ребром поставившая многие, до тех пор неясно формулированные во­просы. Выстрел Веры Засулич, ее оправдание присяжными; демонстра­ция перед зданием суда; демонстрация по поводу убийства Сидорац­кого; стачка рабочих на Новой Бумагопрядильне и другие факты столь же значительной революционной важности популяризировали имя партии, обращали на нее внимание даже тех, кто до той поры вовсе не знал о ее существовании или объяснял все интригами внешних вра­гов. Пульс революционера забился сильнее, чем когда бы то ни было. В вихре событий, следовавших одно за другим с небывалой быстротой, чувствовалась необходимость столковаться, выработать общий план действий, обеспечить себе возможность говорить сразу нескольким тысячам человек. Тогда участились прокламации Петербургской Воль­ной типографии, появились номера социалистических газет. С тех пор каждый деятельный и обладавший средствами кружок должен был вклю­чить издание органа в число своих необходимых функций.

Но то же самое положение дел, которое вызвало к жизни наши периодические издания, не позволяло им отвести много места теорети­ческим вопросам. Занимаясь обсуждением условий и шансов практиче­ской борьбы, они, естественно, носили на себе по преимуществу агитационный характер. Поставленная им самой жизнью задача заключалась в том, чтобы, при данных силах социальнореволюционной партии в России и при данном сопротивлении со стороны правительственной организации, найти способы действий, которые сделали бы наиболее производительными наши неизбежные затраты. Необходимость и неизбеж­ность социальной революции в современных европейских обществах, теоретические положения социализма служили первыми посылками при решении этой задачи и считались как бы не требующими доказательств и более детальной разработки. Их общею догматической формулиров­кою начиналась большая часть руководящих статей. И это не удиви­тельно. Наши «подпольные» издания имели в виду определенный круг читателей, с которыми им не было нужды условливаться на счет своих исходных пунктов. Такими читателями были убежденные социалисты. Но если окончательно сложившийся социалист во всем, что касалось оценки его практической деятельности, и не нуждался в иных способах аргументации, то не нужно забывать, что никакое новое учение, ника­кая новая партия не могут безнаказанно игнорировать теоретических вопросов. В России эта истина имеет большее, чем где бы то ни было, значение. До невероятности напряженная борьба с правительством не позволяет социалистуреволюционеру спокойно заниматься пополнением пробелов в его образовании. У него нет для этого ни времени, ни подходящих условий. Попавши с самых молодых лет под огонь полицей­ских преследований, он часто не имеет даже комнаты, которую он мог бы назвать своею. Целые месяцы, а иногда и годы, он не имеет определен­ного местожительства. Он ведет скитальческий образ жизни и, вставши утром, не всегда знает, где найдет приют на следующую ночь. При та­ких условиях умственные занятия, если не совершенно невозможны, то крайне затруднены. Заинтересованный тем или другим историческим вопросом, тем или другим общим положением социализма, он не может читать многотомных исследований, не может искать в легальной литературе необходимых для него фактических данных. Да и много ли даст эта литература в стране, где даже «Курс позитивной философии» Конта считается запрещенным сочинением? А между тем, не только умственные привычки и потребности, но и практическая польза могут требовать от социалиста увеличения его умственного багажа. Успеш­ность пропаганды в среде интеллигенции или городских рабочих и не только социалистической теории, но и практических способов действия, находится иногда в прямой пропорциональности с разносторонностью образования пропагандиста.

140 Социалистическая литература одна могла придти в этом случае на помощь практическим деятелям. Не задаваясь фантастически широ­кими целями, она должна была представить систематическое и обстоя­тельное изложение социалистической доктрины, историю и связь этой последней с различными сторонами современной ей общественной жизни, обработать, с социалистической точки зрения, хотя бы важней­шие эпохи исторической жизни человечества. В своем изложении от­дельные книги и брошюры, с большим удобством, чем периодические издания, могли бы приспособляться к различным фазисам умственного развития читателей, к различным степеням выработанности их миро­созерцания. Это было бы одним из незаменимых их преимуществ, так как рядом с убежденными социалистами в числе читателей наших изда­ний находились люди, еще не успевшие подвести итога своим теоретическим сведениям и своему жизненному опыту. Они не удовлетво­рялись уже тою спутанностью понятий, тем слабым намеком на опре­деленность воззрений, которыми, волей или неволей, довольствуется наша многострадальная легальная литература, но они не перешли еще на другую сторону пропасти, отделяющей цензурное миросозерцание русского обывателя от миросозерцания социалиста. Эта пропасть так велика, что только очень немногие могли перескочить ее без посторонней помощи; лишь очень счастливая комбинация обстоятельств да­вала возможность самостоятельной выработки социалистических воз­зрений. Понятно, что насущная необходимость не только пополнять наши потери, но и постоянно увеличивать численность рядов социали­стической партии, не соответствовала медленности и случайности та­кой выработки личностей. Нужно было ускорить этот переход из не­определенной оппозиции в ряды революционного социализма, надо было построить мост, по которому без труда и риска обессилеть в дороге могли бы перейти к нам эти люди, ищущие теоретической истины и житейской правды. Нужно было популяризировать, разрабатывать в деталях, освещать с различных точек зрения те общие посылки, ко­торые служили исходною точкой в изданиях, трактующих о способах практической борьбы.

Мы до сих пор не исполнили этой обязанности или, если угодно, исполнили ее в весьма несовершенной степени.

На столе вещественных доказательств фигурируют, правда, во мно­гих процессах сочинения Бакунина, издания редакций «Вперед!» и «Ра­ботника». Некоторые из них носят на себе печать недюжинного таланта и разносторонней эрудиции. Их изложение разнообразится от отвле­ченной беседы с европейски образованным читателем до сказки, по­нятной и десятилетнему ребенку. Но, не говоря уже о том, что эти издания становятся все реже и реже, что трудность удовлетворения спроса на них возрастает с каждым годом, составленная из них библио­тека всетаки не отличалась бы достаточной полнотой. Сочинения эти выходили в свет независимо одно от другого. Общего плана издания возможно более полной и разносторонней серии социалистических со­чинений в то время не существовало. Эта неполнота и бессистемность сделала то, что русская социалистическая литература, с самых первых времен своего возникновения, не могла совершенно удовлетворить требовательности читателей из среды так называемой интеллигенции. В течение же последних лет мы вовсе не обращали внимания на теорети­ческую литературу, несмотря на то, что в начале 80х гг. читатель может быть в этом отношении требовательнее, чем был он десять лет тому назад. Если условия русской действительности требовали сосре­доточения нашего внимания на поприще практической борьбы, то тео­ретическая работа шла своим обычным путем в среде западноевропей­ских социалистических партий. Литература последних обогащалась но­выми приобретениями. Практическая жизнь также не стояла на одном месте, и *во* второй половине последнего десятилетия совершились со­бытия, заслуживающие полного внимания социалистов всех стран и народов. Таковы — волнения рабочих в Америке, ирландская аграрная агитация, конгрессы французских рабочих и т. п. Русский читатель узнает о них лишь по корреспонденциям цензурных газет, так как, заваленные материалами, наши периодические издания только изредка могли бросить беглый взгляд на общественные движения Запада.

Нам кажется, что настала пора серьезно задуматься об исправле­нии указанных недостатков. Чем ожесточеннее становится наша борьба с правительством, чем чаще сыплются на нас его удары, чем более усложняются условия, в которых нам приходится жить и действовать, тем крепче мы должны сжимать в своих руках спасительную нить на­ших руководящих принципов, тем чаще мы должны обращать на нее внимание всех окружающих, чтобы и они могли видеть и осязать ее во всей ее реальности. В лабиринте непредвиденных политических со­бытий она предохранит нас от неразумных компромиссов и не позволит нам уподобиться библейскому Исаву, продавшему свое первенство за чечевичную похлебку. В потоке грязи и лжи, который выливают на нас наши противники, она поможет беспристрастному свидетелю отличить правого от виноватого, понять стремления социализма.

Так понимаем мы значение социалистической литературы для про­паганды наших идей в среде интеллигенции. Народная литература за­служивает не меньшего внимания со стороны русских социалистов.

Наши издания для народа состоят, главным образом, из более или менее талантливо написанных тенденциозных рассказов. Сказка соста­вляет преобладающий элемент в этой литературе[[17]](#footnote-17)*.* Характеристиче­скою чертою последней является единообразие того среднего типа чита­телей, к пониманию которого приспособляется язык и способ аргумен­тации авторов. Читая наши народные издания, можно подумать, что среда, для которой они предназначаются, не представляет резких раз­личий по умственному развитию, общественноэкономическому поло­жению и наиболее жизненным интересам ее отдельных составных ча­стей. Можно подумать, что приемы и способы социалистической пропаганды остаются единообразными и неизменными как в ватаге рыба­ков на Волге, так и между рабочими больших городов, в станице ка­зачьего войска и в мастерской мелкого ремесленника уездной глуши.— Даже более. До появления «Паровой машины» на малорусском языке, мы не имели ни одной книжки, которая доказывала бы, что мы помним о разноплеменном составе Российской империи. Предназначая свои на­родные издания для всего трудящегося люда, от одного конца России до другого, мы не приняли во внимание того обстоятельства, что русское государство состоит из различных народностей, вполне сохранив­ших, в низших слоях населения, свою национальную самобытность и свой язык. «Сказку о четырех братьях» могли понимать только вели­корусы; Емелька Пугачев считался годным для оживления революцион­ной традиции как в Поволжье, так и в Малороссии, воспевающей своих народных героев, имевшей свои массовые движения. Как известно, про­поведники христианства были в этом отношении практичнее, чем мы, ибо апостолы своевременно позаботились о сошествии Святого Духа и о получении дара говорить на всех языках. — Практика не могла, раз­умеется, выиграть от такого рода приемов. Ставя солидарность инте­ресов всего трудящегося мира как идеал, нельзя считать понятие о ней присущим миросозерцанию народа; помимо воздействия социалистов, нельзя считать ее исходным пунктом революционной пропаганды. За­дача последней заключается не в том, чтобы предложить народу эту солидарность, как готовый абстрактный вывод, как догмат откровения, а в том, чтобы сделать самый процесс обобщения интересов трудящихся единиц понятным и доступным уму крестьянина, рабочего или казака. Перед их глазами, применяя способ наглядного обучения, нужно разло­жить формулу солидарности на ее составные части, которые содержит в себе обыденная жизнь. В этом заключается смысл и значение так называемой пропаганды или агитации на почве местных интересов. Но для их успехов социалистическая литература не должна игнорировать местные, национальные, исторические или экономические особенности, а, напротив, совершенно приспособить к ним свою деятельность и, уже исходя из всем понятных, местных интересов, стараться сглаживать шероховатости, примирять существующий между различными народностями или группами трудящихся антагонизм.

Возьмем хоть Казацкое Донское Войско. Как крестьянину, так и казаку прежде всего бросается в глаза экономическая и правовая раз­ница их положения. Отсюда — антагонизм, заставляющий крестьянина с завистью посматривать на огромный, сравнительно, надел донца, а этого последнего презирать «мужика». — Наши народные революционные издания имеют в виду, как мы уже говорили, средний тип читателя. Этим типом служит крестьянин. Спрашивается, полагают ли русские социалисты совершенно оставить в покое казачество и, если нет, то какой успех будет иметь в казачестве революционная брошюра, трак­тующая о нуждах мужика, написанная крестьянским языком? — Факты показывают, что даже эти брошюры встречают там хороший прием, и они делают свое дело, если сопровождаются цельными комментариями. Но если почва для социалистического воздействия там хороша, то это тем более заставляет жалеть о полном отсутствии специально к ней приспособленных орудий ее возделывания. Действительно, мы не имеем ни одной книжки, ни одной прокламации, которая пыталась бы разъяснить казачеству его истинное отношение к государству, указать на выход из этого положения, на необходимость солидарности с презирае­мым на Дону мужиком. То же, разумеется, нужно сказать и о войске уральском и черноморском.

Если от казачества перейти к городским рабочим, то картина, представляемая нашею революционною литературою, не станет утеши­тельнее. Можно сказать без преувеличения, что слой заводских рабо­чих совершенно лишен всяких подходящих для него социалистических изданий. Прежде всего, это — в большинстве случаев — городские мещане. И хотя их контингент и пополняется, частью, крестьянами, но эти последние, попавши в экономические условия, совершенно отлич­ные от деревенских, скоро свыкаются с своим положением и приобре­тают все привычки постоянного жителя больших городов. Заводский рабочий, конечно, не перестает интересоваться земельным вопросом, но уже с точки зрения чистоотрицательной. Не занимаясь более земле­делием, и как знающий ремесло человек, не видящий выгоды в воз­врате к нему, он мечтает лишь о том, чтобы отделаться от лежащих на его наделе податей, которые часто превышают доходность земли. Центр тяжести его интересов заключается в вопросе о заработной плате, цене на квартиры и предметы первой необходимости или даже комфорта. Процесс капиталистического производства захватил его в свой механизм и наложил свой отпечаток на все его интересы, при­вычки и миросозерцание. Относительная высота его заработной платы дает ему возможность занимать комнату, а не угол[[18]](#footnote-18)*,* жить и питаться до некоторой степени почеловечески, возвышает его потребности, и, в то же время, над его головой постоянно висит Дамоклов меч безрабо­тицы и полного, беспомощного нищенства. Неопределенность его поло­жения делает его подвижным, восприимчивым и недовольным. Он не презирает более немецкого платья, — он щеголяет им в праздник и тра­тит на него значительную часть заработка. Он чуждается деревенских оборотов речи и уснащает свои фразы иностранными словами; он хочет казаться образованным. Впрочем, выражение «казаться» было бы не совсем правильным. Жизнь в больших центрах разрушает в нем то равновесие, которое характеризует миросозерцание земледельца эко­номически отсталой страны, и делает из него скептика, превращает ум его в tabula rasa, на которой жизнь постепенно очерчивает новый, более широкий кругозор. Эта умственная переборка вызывает действительное желание знать и учиться. Заводские рабочие следят за газетами на столе более развитых из них появляются книги. Много ли даст им при таких условиях какаянибудь *«Сказка о копейке»?*

Аграрный вопрос представляет мало интереса для заводского рабо­чего. Самый способ аргументации и изложения наших народных изда­ний не соответствует степени его умственного развития. Возбудивши работу мысли в мозгу рабочего, вызвавши множество сомнений и недо­разумений, они не дают и не могут дать на них ответа. Ему остается или искать разрешения интересующих его вопросов в беседе с пропа­гандистом, или приняться за чтение цензурных книг. Ни то, ни другое не в состоянии вознаградить рабочего за недостаток, доступной для его понимания, социалистической литературы. В стране, где сыщик может применить к себе слова писания: «Идеже бо еста два или трие — ту есмь посреде их» — большие собрания очень затруднены, а частный, единичный обмен мыслей поневоле отличается отрывочностью и отсут­ствием системы. И чем больше будет возрастать число новообращенных, тем труднее будет социалистам заменять живою речью недостаток печатного слова. Наконец, нужно принять во внимание и то обстоятель­ство, что работа предшествовавших лет создала в рабочей среде извест­ный контингент социалистов, контингент, который своими размерами перерос возможность личного воздействия наиболее развитых единиц. Что же касается до легальной литературы, то ее служение делу пропо­веди социализма может быть только косвенным. Она может дать мате­риал, представить факты, исследования, которые, при правильной кри­тике, послужат уяснению социалистических задач; но дело подобного рода критики — не ее дело. Большинство ее представителей или вра­ждебно, или индифферентно по отношению к социализму. Наконец, су­ществующие цензурные условия запрещают «вредные учения социализ­ма и коммунизма». Ко всему этому нужно прибавить, что рабочий имеет слишком мало времени, чтобы в куче печатного хлама найти глубоко зарытое зерно истины, чтобы разносторонним и систематическим чтением выработать в себе способность ориентироваться среди недомолвок, иносказаний, а подчас и лицемерия легальной литературы. Ее объемистые томы предназначены не для тех, кто работает не менее 10 часов в сутки. При отсутствии социалистической литературы, результаты чтения рабочими легальных изданий далеко не утешительны. Французская революция умещается рядом с Екатерининским Наказом, Парижская ком­муна — с фабричным законодательством в Англии, сочинения Чернышевского — рядом с конституционными вожделениями либеральных газет и журналов. В конце концов, для рабочего ясно только то, что он пария в современном обществе, что он недоволен своим положением и готов взяться за оружие для его изменения к лучшему. В чем заключается это лучшее, какими путями можно к нему подойти? Это так же темно и неопределенно для него, как и для того французского рабочего, ко­торый, придя в 1848 г. к Луи Бланку делегатом от своих товарищей, требовал декрета «об организации труда» и на вопрос, в чем должен состоять декрет, повторял только эти два слова. События, последовав­шие во Франции после 1848 г., показали, кто остается в выигрыше от подобного положения дел.

Бессистемностью своей пропаганды мы готовим поле для интриг политических партий, которые выйдут же когданибудь из своего совре­менного бессилия. Но тогда поправлять дело будет, пожалуй, уж поздно. Мы не говорим, конечно, об отдельных личностях. Счастливая комби­нация условий дала некоторым из рабочих возможность приобрести солидное образование. Мы знаем таких лиц, но знаем также, что именно онито и согласятся скорее всего со сказанным нами. В этих строках мы повторяем лишь то, что не один раз слышали от них самих. История их умственного развития есть история труда, на который способен только недюжинный ум. Из того, что западноевропейская рабочая среда выдвинула Бебелей, Мостов, Малонов и Варленов, нельзя еще за­ключать, что она не нуждается, так сказать, в социалистических буква­рях. Наши западноевропейские братья отлично знают цену печатного слова. Не говоря уже о Германии, которая является классической стра­ной популярной социалистической литературы, можно указать на целую серию итальянских народных брошюр. В них трактуется *о государстве, о машинах и социализме, о коллективизме и социализме, о распределении* и т. д. и т. д. Французы сделали в этом отношении меньше дру­гих, но у них этот недостаток пополняется отчасти существованием рабочего органа («Prolétaire»), рабочими конгрессами и собраниями. Мы не должны пренебрегать этим примером. Нам могут сказать, ко­нечно, что заводские рабочие, о которых мы говорили на предыдущих страницах, составляют лишь меньшинство, что большинство фабричных мало чем отличается от крестьян и, делая из своего фабричного труда род отхожего промысла, интересуется более вопросом о земле, чем во­просом о фабрике. Это верно лишь постольку, поскольку оно не гово­рит против необходимости социалистической литературы для фабрич­ных. Труд на фабрике для многих из них, действительно, отхожий промысел. Но на этом промысле зиждется часто всё благосостояние семьи. Фабричный рабочий идет из той полосы России, где земля не окупает лежащих на ней платежей. Заработная плата составляет самую значи­тельную часть в бюджете такого полупромышленного, полуземледельческого рабочего. Ее колебания отражаются на нем самым тяжелым образом и, волейневолей, вызывают его на борьбу с капиталом. Можно ли сказать, что в этой борьбе ему не нужна помощь социалиста? А если да, то в чем должна состоять эта помощь, какие в уяснении целей и способов этой борьбы, в разъяснении истинных отношений труда к капиталу. Крупные стачки петербургских ткачей и прядильщиков по­казали, какую важность имеет существование рабочих организаций в промышленных центрах. Те же самые стачки показали, что влияние тайных организаций рабочихсоциалистов находится в прямой зависи­мости от ясности понимания ими современных общественных отноше­ний и задач экономической революции. Впрочем, это понятно и a priori. Пополнение социалистической литературы является одной из насущнейших задач современного рабочего движения в России. Это одна из серьезнейших услуг, какую только может оказать ему наша социалистическая интеллигенция, к которой нужно причислить и часть городских рабочих.

Точно также, едва ли кто станет отрицать значение социалисти­ческих изданий для крестьян. Мы далеки от того, чтобы предлагать рас­пространение книг, как единственный способ социалистической деятель­ности в народе. Мы знаем, что есть другие приемы, которые не утра­тят своей важности никогда, а при существующих политических усло­виях в России тем более выдвигаются на вид. Но как бы мало ни при­давал значения распространению книг живущий в народе социалист, как бы ни считал он ограниченной сферу их возможного распростране­ния, он всетаки должен согласиться, что они могут оказать ему весьма серьезные услуги. Прежде всего, он никогда не может обойтись без союзников из среды самого народа. Как местные люди, такие союзники должны служить связующим звеном между социалистической организацией и массой народа. При более близком знакомстве они могут и должны быть приняты в организацию. Тогда явится необходимость по­святить их в ее цели и задачи, и здесьто начинается роль книжной пропаганды. Степень устойчивости и влиятельности организации и здесь, как в среде городских рабочих или в интеллигенции, прямо про­порциональна сознательности отношения ее членов к окружающей их действительности и средствам достижения лучшего будущего. В этом отношении, описание современного положения крестьянства, его наде­лов и лежащих на них платежей, количественное отношение мелкого и крупного землевладения в России, история крестьянского сословия, наконец, цели и стремления социально-революционной партии, — всё это могло бы быть весьма благодарною темою для наших народных изданий.

Подводя итог всему сказанному, мы увидим, что каждая из суще­ствующих отраслей социалистической литературы требует весьма зна­чительного пополнения. Кроме того, в виду разницы экономического положения и привычек различных классов трудящегося населения Рос­сии, наша народная литература должна, так сказать, дифференциро­ваться на несколько различных отраслей: издания для городских рабо­чих, казачества и крестьянства.

Сделать это тем более можно и должно, что та же самая борьба, которая ставит нам эту задачу, дает косвенные средства для ее разре­шения. Известный процент русских социалистов постоянно должен искать убежища на чужбине. Личный состав нашей эмиграции, правда, постоянно меняется. Но и тех нескольких месяцев, которые приходится провести каждой отдельной личности за границей, достаточно, чтобы, так или иначе, способствовать делу пополнения социалистической литературы для интеллигенции, крестьян и рабочих. Кроме того, есть люди, возврат которых в Россию будет невозможен еще очень долгое время Их обязанность заключается в том, чтобы досуг, остающийся от еже­дневной борьбы за существование, посвятить делу социальной револю­ции на родине; обязанность хорошо организованной партии состоит в утилизации их сил.

Мы предлагаем социалистам всех фракций и оттенков, выражают­ся ли их взгляды изданиями «Вперед!», «Работника» или «Общины», «Земли и Воли», «Начала», «Народной Воли», «Черного Передела» или «Громады» — соединиться для дела, несомненно полезного им всем.

Это дело — издание книг и брошюр, разрабатывающих теоретиче­ски вопросы, относящиеся к социализму. Весь ряд будет носить общее название *Русской Социально-революционной Библиотеки.*

Издания Русской Социально-революционной Библиотеки предна­значаются:

1) *Для интеллигенции,* т. е. для читателей, подготовленных к чте­нию серьезных трудов и располагающих необходимым для этого до­сугом.

2) *Для народа,* т. е. для читателей, по недостатку времени или подготовки не могущих воспользоваться трудами первой категории. Сюда войдут популярные брошюры для рабочих, крестьян, казачества и т. д. Народные издания Русской Социально-революционной Библиотеки по языку и способу изложения будут применяться к важнейшим экономи­ческим и этнографическим особенностям различных местностей России. Более или менее полное достижение поставленной таким образом задачи зависит от той поддержки, какую окажут нашему предприятию различные социальнореволюционные кружки в России.

Для покрытия издержек издания образуется *фонд* Русской Со­циально-революционной Библиотеки.

Дела издания Русской Социально-революционной Библиотеки на­ходятся в заведовании *Редакционной Комиссии,* состоящей из трех лиц и *кассира.*

Способы избрания комиссии и кассира и их функции будут уста­новлены на первом собрании всех лиц, согласных содействовать изда­нию. Оно должно быть созвано через полгода по выходе первой книжки Русской Социально-революционной Библиотеки.

В настоящее время избрана по большинству голосов лицами, согла­сившимися участвовать своими трудами в издании, *временная Редак­ционная Комиссия* и ею избран кассир.

Дело временной редакционной комиссии ограничивается устано­влением порядка в издании предлагаемых ей трудов, соображаясь со временем их доставки и со средствами кассы. Комиссия имеет право устранять лишь труды, прямо отрицающие основные начала рабочего социализма, и те, которые явно лишены всякого литературного достоин­ства. Если она найдет, что присланные рукописи нуждаются в дополне­ниях или изменениях, то входит по этому вопросу в сношения с авто­рами, но не может без согласия последних делать какиелибо измене­ния в рукописях и, в крайнем случае, может внести в издание некото­рые примечания. Если бы автор дозволил себе личные оскорбительные выражения относительно других членов социалистической партии, вы­ражения, которые комиссия нашла бы неприличными и противореча­щими самой цели издания, именно, соединению всех фракций русского социализма в серьезной обработке общих вопросов для общих целей, то комиссия созовет общее собрание, которому и предложит решить вопрос.

На обязанности *кассира* лежит ведение всех дел по кассе фонда, и на его имя должна быть адресована вся переписка. Он же выдает расписки о получении денег в кассу или рукописей для редакционной ко­миссии.

Первое собрание всех русских социалистов, согласных участвовать трудами или взносами в издании, окончательно установит все подроб­ности ведения дела, при чем лица, не находящиеся на месте, передают свой голос другим.

Во временную Редакционную комиссию избраны следующие лица: *Л. Н. Гартман, П. Л. Лавров и Н. А. Морозов.*

*1880 г.*

## Предисловие к русскому изданию „Мани­феста Коммунистической Партииˮ.

Имена Карла Маркса и Фридриха Энгельса пользуются у нас такою громкою и почетною известностью, что говорить о научных достоин­ствах «Манифеста Коммунистической Партии» значит повторять всем известную истину. Вместе с другими сочинениями его авторов «Манифест» начал новую эпоху в истории социалистической и экономической лите­ратуры — эпоху беспощадной критики современных отношений труда к капиталу и, чуждого всяких утопий, научного обоснования социализма. Едва ли нужно, поэтому, объяснять мотивы, побудившие «Русскую Со­циально-революционную Библиотеку» издать «Манифест» на русском языке. Достаточно сказать, что вышедший в шестидесятых годах русский перевод его представляет собою теперь библиографическую ред­кость в полном смысле этого слова. Кроме того, в перевод этот закралось, как нам кажется, несколько неточностей, мешавших правильному пониманию мыслей авторов. Мы решились сделать новый перевод этого великого, хотя и не объемистого произведения, которое разо­шлось в огромном количестве экземпляров во всех цивилизованных странах, и несомненно получило бы еще большее распространение, если бы образованные представители господствующих классов продол­жали интересоваться наукой даже в том случае, когда выводы ее про­тиворечат их интересам и предрассудкам.

Нам казалось, что издание русского перевода «Манифеста Комму­нистической Партии» не только полезно, но и необходимо теперь, когда русское социалистическое движение окончательно уже выступило на путь открытой борьбы с абсолютизмом, и вопрос о значении и задачах политической деятельности нашей партии становится жгучим практи­ческим вопросом. Взаимная зависимость и связь политических и эко­номических интересов трудящихся указаны в «Манифесте» с полною ясностью. Авторы его сочувствуют «всякому революционному движению против существующих общественных и политических отношений». Но, отстаивая ближайшие, непосредственные цели всякого революционного движения, они в то же время не упускают из виду его «будущности». Поэтому «Манифест» может предостеречь русских социалистов от двух одинаково печальных крайностей: отрицательного отношения к поли­тической деятельности, с одной стороны, и забвения будущих интере­сов партии — с другой. Люди, склонные к первой из упомянутых край­ностей, убедятся в том, что «всякая классовая борьба есть борьба по­литическая», и что отказываться от активной борьбы с современным русским абсолютизмом значит косвенным образом его поддерживать. С другой стороны, «Манифест» показывает, что успех борьбы каждого класса вообще, а рабочего в особенности, зависит от объединения этого класса и ясного сознания им своих экономических интересов. От орга­низации рабочего класса и непрестанного выяснения ему враждебной противоположности его интересов с интересами господствующих клас­сов зависит будущность нашего движения, которую, разумеется, невоз­можно приносить в жертву интересам данной минуты.

Основания этой организации рабочего класса могут быть заложены уже в настоящее время. Русское социалистическое движение не ограни­чивается уже пределами того слоя, который принято называть уча­щеюся молодежью, мыслящим пролетариатом и т. п. Рабочие наших промышленных центров, в свою очередь, начинают «мыслить и стре­миться к своему освобождению». Несмотря на все преследования прави­тельства, тайные социалистические организации рабочих не только не разрушаются, но принимают всё более широкие размеры. Вместе с этим расширяется социалистическая пропаганда, растет спрос на популярные брошюры, излагающие основные положения социализма. Было бы очень желательно, чтобы имеющая возникнуть русская рабочая литература поставила себе задачей популяризацию учений Маркса и Энгельса, ми­нуя окольные пути более или менее искаженного прудонизма.

Правда, у нас до сих пор еще довольно сильно распространено убе­ждение в том, что задачи русских социалистов существенно отличаются от задач их западноевропейских товарищей. Но не говоря ужео том, что окончательная цель должна быть одинакова для социалистов всех стран, рациональное отношение наших социалистов к особенностям русского экономического строя возможно лишь при правильном пони­мании западноевропейского общественного развития. Сочинения же Маркса и Энгельса представляют собой незаменимый источник для изу­чения общественных отношений Запада.

Скажем теперь несколько слов о «приложениях», помещенных нами в конце книги. В своем предисловии к немецкому изданию 1872 г. авторы «Манифеста» указывают на опыт Парижской Коммуны, «пока­завшей, что рабочий класс не может просто овладеть готовой государ­ственной машиной и воспользоваться ею для своих собственных целей». При этом они ссылаются на брошюру «Гражданская война во Франции», в которой вопрос о развитии и значении современной государственной власти рассматривается подробнее. Ввиду того, что русское издание этой брошюры теперь уже совершенно разошлось, мы решили прило­жить к «Манифесту» перевод указанного авторами места из «Граждан­ской войны во Франции». Что касается Устава Международного Това­рищества Рабочих, то мы считали его интересным дополнением к «Ма­нифесту» потому, что это знаменитое Товарищество представляет со­бою в высшей степени плодотворный опыт международной организации рабочего класса на началах, впервые развитых в «Манифесте Коммуни­стической Партии». Несмотря на непродолжительность своего суще­ствования, Международное Товарищество Рабочих сделало свое дело, скрепивши «братскими узами солидарности» социалистические партии всего мира.

## Воспоминания об А. Д. Михайлове.

Я познакомился с А. Д. Михайловым осенью 1875 года, когда он, окончивши гимназический курс, поступил в Технологический институт в Петербурге. Знакомство наше состоялось на одной из многочислен­ных тогда студенческих сходок, на которых обсуждались зани­мавшие молодые умы вопросы о «знании и революции», «хожде­нии в народ», пропаганде, агитации и т. п. Сходка, о которой я говорю, состоялась гдето около Технологического института в довольно просторной и высокой комнате, битком набитой студентами разных учебных заведений. Проспоривши часа два под­ряд, мы все почувствовали нестерпимую духоту и решили отво­рить форточку. Тогда наступил род перерыва, и прения приняли частный характер; собрание разбилось на небольшие группы, в кото­рых продолжалось обсуждение различных спорных пунктов. Мы горячи­лись и кричали, не обращая внимания на то, что, благодаря открытой форточке, собрание наше могло обратить на себя внимание дворников и полиции. Вдруг все голоса были покрыты чьимто громким напомина­нием об осторожности. Обернувшись в сторону говорившего, мы увидели довольно высокого, белокурого господина в красной шерстяной рубашке и высоких сапогах.

— Вы лучше помолчите, господа, пока форточка открыта, — про­должал белокурый господин, не проронивший до тех пор ни одного слова и потому не обративший на себя ничьего внимания.

Не знаю почему, все мы расхохотались над этим предостережением, но не отказались, однако, последовать благому совету. У многих яви­лось желание познакомиться с осторожным господином, одетым настоя­щим «нигилистом». Около него образовалась кучка, посыпались во­просы: где учитесь, как ваша фамилия и т. д. «Михайлов, студент Техно­логического института, первокурсник», — обстоятельно пояснял, с лег­ким заиканием, белокурый господин, не обращаясь ни к кому в частности. Я был в числе вопрошавших и, узнавши, что Михайлов — технолог, спросил его о новых правилах, только что введенных Вышнеград­ским и вызывавших всеобщее неудовольствие студентов.

 Говорят, что не сегоднязавтра студенты откажутся ходить на репетиции, и начнутся «беспорядки».

 Студенты очень возбуждены, и беспорядки весьма возможны, но я не приму в них ни малейшего участия, — отвечал мой новый знакомый.

Это откровенное заявление ужасно удивило меня, так как отказ поддерживать товарищей в их справедливых требованиях, считался не­сомненным признаком трусости.

 Видите ли, в чем дело, — невозмутимо продолжал Михайлов,— они хотят сообща отказаться от репетиций, потому что каждый из них боится сделать это в одиночку. Я давно уже переступил этот Рубикон: с самого поступления в институт я не был ни на одной репетиции, так как считаю их совершенно бесполезными. Если бы и другие поступали как я, то новые правила были бы устранены фактически, и тогда не было бы надобности в «беспорядках» и неизбежных за тем высылках.

Но ведь те, которые не являются на репетиции, получают нуль, а за несколько нулей студент не допускается к экзамену.

— А пусть себе ставят нули, ведь нельзя же оставить на второй год всех студентов всех курсов.

 Но пока вы один, с вами это, наверное, случится.

 Это уже их дело, а я всетаки не пойду на репетиции, потому что это пустая трата времени.

На этом и прекратился мой разговор с Михайловым. Вскоре после нашей первой с ним встречи, действительно, начались «беспорядки» в Технологическом институте, а за ними последовали административные «водворения на родину». Михайлов был выслан одним из первых, хотя он сдержал слово и не принимал ни малейшего участия в «беспорядках». Его выслали как упрямого протестанта против новых порядков, дока­завшего свою «злую волю» непосещением репетиций еще в то время, когда другие студенты являлись на них самым исправным образом. Его водворили, кажется, в Путивле, откуда он скоро перебрался в Киев.

В шумном водовороте петербургской студенческой жизни я скоро совсем забыл о Михайлове, не подозревая, что мне еще придется жить и действовать с ним вместе. Поэтому ятаки порядком удивился, когда, в октябре 1876 года, столкнулся с ним на имперьяле конножелезной дороги. После первых приветствий, он рассказал мне свою Одиссею и прибавил, что, получивши разрешение вернуться в Петербург, он при­ехал с целью поступить в Горный институт или какоенибудь другое высшее учебное заведение. В минуту нашей внезапной встречи он ехал на Садовую, чтобы осведомиться насчет правил приема в Институт Ин­женеров Путей Сообщения. Как человек практичный, он решил держать экзамены в двух учебных заведениях сразу, чтобы, «срезавшись» в од­ном, не лишиться шансов на успех в другом. Нужно заметить, что при­емные экзамены в Горный институт отличались тогда большою стро­гостью, так что опасения Михайлова касательно провала были не ли­шены основания. Впрочем, техника интересовала его в это время очень мало. Студенческий билет должен был доставить ему некоторую гаран­тию от преследований полиции, которая, как известно, вообще неблаго­склонно смотрит на пребывание в Петербурге людей «без определенных занятий». Я не помню, удалось ли ему запастись этим громоотводом, знаю только, что, поселившись в столице, Михайлов посвящал всё свое время разыскиванию «настоящих революционеров». Припоминая теперь его тогдашний образ жизни, я думаю, что он должен был пережить страшно много за какихнибудь дватри месяца. Он как бы переродился. Из уединенного обитателя Измайловского полка, каким я знал его год тому назад, он превратился в самого подвижного, самого живого члена студенческих «коммун», нигде не остающегося надолго, но вечно пере­кочевывающего из одной квартиры в другую. «Коммуны», в которых он вращался в это время, представляли собою иногда небольшую студенче­скую комнату, занимаемую вместе с настоящим ее хозяином целой мас­сой пришлого населения. Я помню рассказ Михайлова об обстановке одной из таких коммун. На Малой Дворянской улице, на Петербургской стороне, в крошечном и низком деревянном домике, настоящей избушке «на курьих ножках», ктото из знакомых Михайлова занимал комнату, помещавшуюся в первом этаже и выходившую окнами на улицу. Малопомалу, вместо одного постоянного жильца в ней оказалось целых шестеро, размещавшихся, как это легко себе представить, без всякой претензии на удобства. Спали на кроватях, спали на столах, спали на полу, и когда к постоянным обитателям комнаты присоединялось не­сколько «ночлежников», то весь пол был занят спящими, так что путе­шествие из одного угла комнаты в другой представляло собой настоя­щую «скачку с препятствиями». «Когда дворник отворял по утрам ставни наших окон, — рассказывал Михайлов, — то, пораженный этим необычайным зрелищем, он мог только произнести: «О, Господи!». В настоящее время, конечно, ни один дворник не ограничился бы такими лирическими порывами, но лет пятьшесть тому назад полиция снисхо­дительнее смотрела на студенческие нравы и терпеливее «ожидала поступков». Она ни разу не потревожила Михайлова и его сожителей, ко­торые, не довольствуясь обычным в их квартире многолюдством, часто устраивали сходки из нескольких десятков человек. В то время сходки, вообще, были очень многолюдны и оживленны. Наступившее после аре­стов 1873—1874 годов затишье уступило место новому оживлению мо­лодежи, на развалинах старых кружков вырастали новые организации, революционные «программы» предшествующего периода заменялись так называемым «народничеством».

Михайлов горячо интересовался всеми «проклятыми вопросами» этого периода нашего революционного движения и принимал деятельное участие во всех вызывавшихся ими дебатах. Посещая все сколькони­будь интересные собрания, он надеялся встретиться там с «настоящими революционерами», которые облегчили бы ему переход от слова к делу. Надежды его оправдались в очень скором времени. На одной из сходок, если не ошибаюсь, в описанной уже выше «коммуне» на Малой Дворян­ской улице, он познакомился с членами возникавшего тогда общества «Земля и Воля» и скоро сам был в него принят. Тогда окончился «ниги­листический», как любил выражаться Михайлов, период его жизни. Он достиг своей цели, нашел подходивших к его воззрениям людей, нашел коекакую организацию и энергически принялся за ее расширение. Те­перь он уже не посещал «коммун», не ужасал дворников оригиналь­ностью своего костюма. Он превратился в сдержанного организатора, взвешивающего каждый свой шаг и дорожащего каждой минутой вре­мени. «Нигилистический» костюм с егопледом и высокими сапогами мог обратить на себя внимание шпиона и повести к серьезным арестам. Ми­хайлов немедленно отказался от него, как только взялся за серьезную работу. Он оделся весьма прилично, справедливо рассуждая, что лучше истратить несколько десятков рублей на платье, чем подвергаться не­нужной опасности. Во всем кружке «Земля и Воля» не было с тех пор более энергичного сторонника приличной внешности. Часто, после об­суждения какогонибудь серьезного плана, он делал своему собеседнику замечание относительно неисправности его костюма и настаивал на необходимости ремонта этого последнего. Если собеседник отговаривался неимением денег, то Михайлов умолкал, но при этом записывал чтото шифром в свою книжечку. Через несколько дней он доставал деньги и сообщал адрес недорогого магазина платья, так что его неисправно оде­тому товарищу оставалось только идти по указанному адресу, чтобы вернуться домой в приличном виде. Другою, не менее постоянною забо­тою Михайлова был квартирный вопрос. Помимо обыкновенных житейских удобств, найденная им «конспиративная» квартира имела много других, незаметных для глаза непосвященного в революционные тайны смертного. Окна ее оказывались особенно хорошо приспособленными для установки «знака», который легко мог быть снят в случае появления полиции, так что, не входя еще в квартиру, можно было знать, что там «неблагополучно»; от других квартир она отделялась толстою капи­тальною стеною, так что ни одно слово не могло долететь до ушей, быть может, нескромных соседей; план двора, положение подъезда, — все было принято в соображение, всё было приспособлено к «конспиративным» целям. Я помню, как, показавши мне все достоинства только что на­нятой им квартиры, на Бассейной улице, Михайлов вывел меня на лест­ницу, чтобы обратить мое внимание на ее особенные удобства.

— Видите, какая площадка, — произнес он с восхищением. Признаюсь, я не понял — в чем дело.

— В случае несвоевременного обыска мы можем укрепиться на этой площадке и, обстреливая лестницу, защищаться от целого эскад­рона жандармов, — пояснил мне Михайлов.

Вернувшись в квартиру, он показал мне целый арсенал различного оборонительного оружия, и я убедился, что жандармам придется дорога поплатиться за «несвоевременный» визит к Михайлову.

Но все эти хлопоты занимали Ал. Дм. лишь временно. Он соби­рался в «народ», на Дон или на Волгу, туда, где, по его мнению, еще жива была память о Разине и Пугачеве, где крестьянство не свыклось еще с ярмом государственной организации и не махнуло рукой на свое будущее. Но так как бродячая пропаганда 1873—1874 годов не при­несла хороших результатов, то общество «Земля и Воля» решилось основать прочные поселения в народе, чтобы иметь возможность дей­ствовать осмотрительно, с знанием местности и разумным выбором лич­ностей. Для этого, разумеется, нужно было занять известное положение в деревне, нужно было звание учителя, писаря, фельдшера или чеголибо подобного. Михайлов решился сделаться учителем, но не в право­славной, а в раскольничьей деревне. На пропаганду среди раскольников тогда возлагались очень большие надежды; беспоповцев, в особенности, считали, как и теперь считают многие, носителями неиспорченного народного идеала, которых без большого труда можно превратить из оппозиционного — в революционный элемент русской общественной жизни. Наилучшею репутациею пользовались, конечно, бегуны. Мысль о заведе­нии с ними правильных и постоянных сношений была не нова, но осуще­ствление ее представляло большие трудности. Михайлов не видел возможности познакомиться с представителями этой секты иначе, как че­рез посредство других, менее крайних, менее преследуемых, а потому, естественно, и менее недоверчивых сект. Он решился научиться всем обрядам беспоповцев, усвоить главные основания их учения и затем, в качестве своего человека, поселиться учителем в какойнибудь расколь­ничьей деревне. Окончательный выбор его пал на Саратовскую губернию. Весною 1877 г. с разных концов России члены общества «Земля и Воля» двинулись в Поволжье для устройства «поселений». Пространство от Нижнего до Астрахани принято было за операционный базис, от ко­торого должны были идти поселения по обе стороны Волги. В одном месте устраивалась ферма, в другом — кузница, там поселялся лавочник, здесь приискивал себе место волостной писарь. В каждом губернском городе был свой «центр», заведовавший делами местной группы. Сара­товская и Астраханская группы непосредственно сносились с членами кружка, жившими в Донской области, а надо всеми этими группами стоял Петербургский «основной кружок», заведовавший делами всей организации. Много потерь и неудач пришлось испытать и «основному кружку», и местным группам, но в общем дела шли очень недурно. Как член «основного» петербургского кружка, Михайлов должен был прини­мать деятельное участие в организации Саратовской группы, но в то же время он усердно готовился к своей миссии среди раскольников. При­ехавши в Саратов в конце июля 1877 года и увидевшись с Михайловым, я узнал от него, что он уже завел знакомство между саратовскими раскольниками, даже поселился у одного из них на квартире и занимается изучением «писания». Его новый образ жизни не раз вызывал во мне удивление к его железной настойчивости и самой строгой выдержан­ности. Раскольничье семейство, в котором он поселился, обитало гдето на окраине Саратова и отличалось самыми патриархальными нравами. Много нужно было характера и терпения, чтобы приспособиться к этим допотопным нравам и не соскучиться выполнением раскольничьих обря­довых церемоний. Засидеться в гостях долее 6 час. вечера считалось в этой среде чуть не преступлением; начинавшееся с рассветом утро по­свящалось всевозможным молитвам, «метаниям» и причитаниям; нечего и говорить о постах, которые соблюдались с педантическою стро­гостью. Живя в комнате, отделенной от хозяйского помещения лишь то­ненькой перегородкою, Михайлов не мог скрыть ни одного своего шага от подозрительного глаза хозяев и должен был взять себя в ежовые ру­кавицы, чтобы окончательно отделаться от столичных привычек. С по­разительным терпением и аккуратностью молился он Богу, расстилая на полу какойто «плат» и надевая на руку какойто удивительный ко­жаный треугольник, висевший на длинном ремне. Помолившись и по­вздыхавши о своих грехах, он принимался за чтение священных книг и пo целым дням назидался рассуждениями о пришествии Ильи и Еноха, о двуперстном сложении, о кончине мира и т. п. Скоро он так преуспел в этой раскольничьей теологии, что решился принять участие в диспутах, часто происходивших в православных храмах между православным ду­ховенством и раскольничьими начетчиками. Он сообщил мне о своем намерении, и мы условились идти вместе. «Во едину от суббот», в ок­тябре или ноябре 1877 года, мы явились с ним в так называемую «Ки­вонию», которая служила главной ареной обличительной деятельности саратовского духовенства. Всенощная уже окончилась, и оставшаяся в церкви публика, очевидно, дожидалась диспута. Скоро причетник поста­вил посредине церкви два аналоя, зажег около каждого из них по боль­шому подсвечнику и стал поджидать «батюшек», ковыряя в носу и напе­вая какуюто молитву. Мы воспользовались этой свободной минутой, чтобы расспросить его о предстоящем диспуте. Михайлова более всего интересовал вопрос о том, кто из раскольничьих «столпов» будет отста­ивать «древнее благочестие». Но, к великому его огорчению, причетник отвечал, что раскольники почти перестали ходить на диспуты, так как, не довольствуясь книжной мудростью, «батюшки» доносят на своих оп­понентов полиции, и за несогласие с духовной властью раскольники получают должное воздаяние от власти светской. Благодаря этому изве­стию, диспут утратил в глазах Михайлова почти всякий интерес, но он всетаки решился остаться «посмотреть, что будет». Нам недолго при­шлось ожидать появления православных «светильников церкви». Из ал­таря вышли один за другим два священника, неся в каждой руке по огром­ной книге, в кожаном порыжелом переплете. Подойдя к аналоям и воз­ведя глаза к небу, — они объявили, что целью их «собеседования» будет оспаривание, не помню уже какого, догмата раскольников «австрий­ского согласия». Михайлов насторожился. «Вот, например, раскольники утверждают, что перед пришествием антихриста церковь погибнет, — смиренномудро говорил один из «батюшек», — а, между тем, в Писании сказано...».

«Созижду церковь мою и врата адовы не одолеют ю», — подхваты­вал его товарищ, перелистывая порыжелые фолианты и отыскивая в них приличный случаю текст.

«О, Господи, помилуй нас грешных», — сокрушенно шептал кто-то в толпе, и «батюшки» переходили к новому пункту раскольничьих «лже­учений».

Не подлежало никакому сомнению, что оппонентов в толпе не имеется. Смиренномудрые «лики» батюшек озарились уже было созна­нием победы, как вдруг Михайлов попросил некоторых разъяснений. Дело шло о пришествии Ильи или Еноха; Михайлов утверждал, что для него не ясен смысл относящегося сюда пророчества. «Батюшки» разъясняли его «сомнения», он немедленно высказывал новые. Диспут ожи­вился. Не интересовавшись никогда ни Ильей, ни Енохом, я был совер­шенным профаном в этих вопросах и не понимал решительно ничего во всем споре. Я видел только, что Михайлов говорит очень самоуверенно, что его не смущают возражения «батюшек», и что на каждый из при­водимых ими текстов, он приводит не менее веское свидетельство того или другого святого. Окружающие слушали его с большим вниманием, а «батюшки» чувствовали себя, как видно было, не совсем ловко. Они не ожидали такого отпора и несколько растерялись. Михайлов настойчиво допрашивал их, как понимают они пришествие Еноха — духовно или те­лесно; «батюшки» почемуто избегали прямого ответа.

Не знаю, чем кончилось бы это препирательство, если бы Михайлов не имел неосторожности упомянуть о бегунах. Как только он назвал эту секту, оппоненты его снова почувствовали себя на твердой почве.

 Ну да ведь бегуны и царя не признают, — воскликнул один из них.

 Бога бойся, царя почитай, — вторил другой громовым голосом.

Михайлов не имел ни малейшего желания толковать с ними о по­литике и, в свою очередь, стал отвечать уклончиво. Через несколько ми­нут «собеседование» окончилось. Мы направились к выходу.

— А позвольте вас спросить, — обратился к Михайлову один из свя­щенников, — вы где живете?

Я вспомнил слова причетника и начал опасаться, что развязка диспута будет иметь место в полицейском участке.

 Да я не здешний, я из Камышина, — заявил, не смущаясь, Михайлов.

 Да остановилисьто вы где? — допрашивал батюшка.

 У одного знакомого, я ведь всего на два дня сюда приехал.

 Вы не подумайте, что я для чего-нибудь, — успокаивал неотвязчи­вый диспутант, — мне только хотелось бы поговорить с вами, я вижу в вас сомнения...

Коекак отделавшись от его допросов, мы вышли на улицу. Михайлов был доволен своим дебютом. Он убедился, что его усидчивые за­нятия не остались без результата, и что он приобрел уже некоторый навык в богословских спорах. «Победихом, победихом», — повторял он с веселым смехом и решился, не откладывая долее, ехать в какую-нибудь раскольничью деревню.

Его останавливала лишь необходимость отбывания воинской повин­ности. Солдатчина могла надолго отвлечь его от исполнения задуман­ного им предприятия. Но ему повезло неожиданное счастье. Отправив­шись в Москву и записавшись в одном из призывных участков, он вынул номер, по которому его зачислили в запас и отпустили на все четыре стороны. Он немедленно возвратился в Саратов и недели через две по­селился гдето среди спасовцев в качестве «своего» (т. е. не назначенного от земства, а нанятого самими раскольниками) учителя.

Более я не встречался уже с ним в Саратове. Обстоятельства заста­вили меня вернуться в Петербург, где я прожил всю зиму 1877—1878 года. Михайлов изредка сообщал «основному кружку» о своих успехах среди раскольников, но письма его были довольно лаконичны и бедны подробностями. «Весною приеду, расскажу более», заключал он обыкно­венно свои сообщения. Мы ждали его в середине мая.

Читатель помнит, конечно, какими бурными событиями ознамено­валась в Петербурге весна 1878 г. Стачки рабочих, процесс В. И. Засу­лич, давший повод к кровавому столкновению публики с полицией, де­монстрация в честь убитого Сидорацкого, в которой приняли участие люди весьма солидного общественного положения, — всё это давало по­вод думать, что русское общество начинает терять терпение и готово серьезно протестовать против произвола правительства. Живя в провин­ции, Михайлов только по газетам мог следить за положением дел в Пе­тербурге. Его воображение дополняло газетные известия, и он был убе­жден, что в скором времени предстоят еще более крупные события. Он не вытерпел и в начале апреля уже мчался в Петербург, чтобы принять участие в тамошних волнениях. Надежды его, однако, не оправдались, одна ласточка «не сделала весны». Энергия петербургского об­щества истощилась в очень короткое время, газеты не дотянули начатой ими либеральной ноты, и скоро всё вошло в обычную унылоказенную колею: социалистам оставалось только примириться с новым разочарованием и продолжать начатую в народе работу. Махнул рукой на петербургскую «революцию» и Михайлов. Он снова сосредоточил все свои помыслы на революционной деятельности среди раскольни­ков. Но, заручившись знакомством и связями в этой среде, он, как организатор по преимуществу, не удовлетворялся уже своею прежнею ролью одинокого наблюдателя раскольничьей жизни. Он стремился сорганизо­вать целый кружок лиц, знающих историю раскола, начитанных «от Писания» и могущих не приспособляться только, но и приспособлять к своим идеалам окружающих лиц. Он требовал от нашего кружка осно­вания особой типографии с славянским шрифтом, специальной целью которой было бы печатание различных революционных изданий для раскольников. Чтобы хоть несколько подготовиться к своей будущей роли реформатора раскола, он начал усердно посещать Публичную Биб­лиотеку, пользуясь каждой свободной минутой для изучения богослов­ской литературы. К сожалению, времени у него было очень мало. Его организаторский талант делал необходимым участие его в различных революционных предприятиях, требовавших иногда весьма продолжи­тельной беготни. К этому присоединился пересмотр программы обще­ства «Земля и Воля» и устава его организации. По смыслу выработан­ного в начале 1877 г. временного устава петербургского основного кружка, программа общества должна была подвергаться, если не оши­баюсь, ежегодному пересмотру с целью изменения или расши­рения ее, сообразно с указаниями опыта. Но так как весною 1878 г. у нас не было еще ни малейшего сомнения в практич­ности нашей программы, то оставалось только ввести в нее несколько дополнительных пунктов о деятельности в народе. Не так скоро покончили мы с уставом. Михайлов требовал ради­кального изменения устава в смысле большей централизации револю­ционных сил и большей зависимости местных групп от центра. После многих споров почти все его предложения были приняты, и ему поручено было написать проект нового устава. При обсуждении приготовленного им проекта немалую оппозицию встретил параграф, по которому член основного кружка обязывался исполнить всякое распоряжение боль­шинства своих товарищей, хотя бы оно не вполне соответствовало его личным воззрениям. Михайлов не мог даже понять точки зрения своих оппонентов. «Если вы приняли программу кружка, если вы сделались членом организации, то в основных пунктах у вас не может быть разно­гласий с большинством ее членов, — повторял он с досадой. — Вы можете разойтись с ними во взгляде на уместность и своевременность поручен­ного вам предприятия, но в этом случае вы должны подчиниться боль­шинству голосов. Что касается до меня, то я сделаю всё, что потребует от меня организация. Если бы меня заставили писать стихи, я не отка­зался бы и от этого, хотя и знал бы наперед, что стихи выйдут невозможные. Личность должна подчиняться организации». В конце концов, был принят и этот параграф, с тем, однако, добавлением, что организа­ция должна, по возможности, принимать в соображение личные наклон­ности различных ее членов.

Покончивши с уставом, Михайлов снова углубился было в изучение раскольничьей литературы, но события всё более и более отклоняли его от избранного им пути. Большинство членов основного кружка предло­жило Михайлову отложить на неопределенное время деятельность его среди раскольников и принять участие в организации некото­рых из задуманных тогда предприятий. Волейневолей ему при­шлось подчиниться этому решению и оставить на время мысль о возвращении в Саратов. Было бы неудобно рассказывать здесь о том, что именно делал в это время Михайлов[[19]](#footnote-19). Я замечу только, что теперь, как и всегда, он фигурировал, главным об­разом, в роли организатора. Так, например, осенью 1878 г. ему поручено было ехать в РостовнаДону с тем, чтобы собрать сведения о происходивших тогда в Луганской станице волнениях и, если окажется возможным, принять участие в движении казаков, организовавши пред­варительно особую организационную группу из местных «радикалов». Михайлов отправился по назначению, но, едва прибывши в Ростов, был снова отозван в Петербург, где во время его отсутствия произошли многочисленные аресты. По возвращении в Петербург, он нашел только немногие остатки незадолго перед тем сильного и прекрасно организо­ванного «основного кружка». Положение дел было самое печальное. Оставшиеся на свободе члены организации не имели ни денег, ни паспор­тов, у них не было даже возможности снестись с провинциальными чле­нами организации, так как они не знали их местопребывания. Такая дезорганизация грозила, разумеется, новыми провалами. Я помню, что, приехавши в Петербург спустя около недели после арестов, я не знал о них решительно ничего, и только благодаря случайной встрече с одним из уцелевших членов нашей организации я не пошел на квартиру Мали­новской, где полицейские хватали всякого приходящего. Михайлов принялся восстановлять полуразрушенную организацию. С утра до вечера бегал он по Петербургу, доставая деньги, приготовляя паспорта, завода новые связи, словом, поправляя всё, что было поправимо в нашем тогдаш­нем положении. Скоро дела наши пришли в некоторый порядок, и обще­ство «Земля и Воля» не только не распалось, но приступило даже к изданию своей газеты. Неутомимая деятельность Михайлова за этот период времени составляет одну из самых главных заслуг его перед рус­ским революционным движением. Он уже окончательно теперь отка­зался от мысли возвратиться в Саратов и весь отдался организационным заботам.

В принципе Михайлов попрежнему признавал деятельность в на­роде главною задачею общества «Земля и Воля», но он думал, что, при наличных силах этого общества, нельзя было надеяться на сколькони­будь серьезный успех в крестьянской среде. «В настоящую минуту нам, находящимся в городах, нечего и думать об отъезде в деревню, — говорил он, по возвращении из Ростова, — мы слишком слабы для работы в на­роде. Соберемся сначала с силами, создадим крепкую и обширную орга­низацию и тогда перенесем центр тяжести наших усилий в деревню. Теперь же волейневолей приходится нам сосредоточить свое внимание на городских рабочих и учащейся молодежи». В то время мы были, дей­ствительно, так слабы, что никому из нас и в голову не приходило не соглашаться с Михайловым. Порешивши остаться в Петербурге, мы под­разделили деятельность «основного кружка» на несколько различных отраслей, так что каждому из нас предстоял особый род работы. На Ми­хайлове лежали, главным образом, хозяйственные заботы. Он заведовал паспортной частью, типографией, распространением «Земли и Воли», переписывался с провинциальными членами нашей организации, доставал и распределял средства между различными ветвями кружка и т. д.[[20]](#footnote-20). Уже это одно требовало очень значительной затраты времени, но Михайлов этим не ограничился. Аккуратный и точный до педантизма, он всегда умел так распределить свои занятия, что у него оставалось по нескольку свободных часов ежедневно. Этими часами, которые, каза­лось бы, составляли законное время отдыха, он воспользовался для дея­тельности среди рабочих. Здесь, как и везде, он фигурировал, главным образом, в роли организатора. Не имея возможности лично посещать рабочие кварталы, он старался, по крайней мере, собирать сведения обо всем, что происходило в революционных рабочих группах, снабжал их книгами, деньгами, паспортами, а главное, давал множество разнообраз­ных и всегда разумных советов. Кроме того, вращаясь среди петербург­ской революционной молодежи, он сближался с личностями, способными, по его мнению, взяться за революционную пропаганду между рабочими, вводил их в занимавшуюся этим делом группу и способствовал, таким образом, расширению последней. В особенности сблизился он с рабочей группой» во время большой стачки в январе или в феврале 1879 г. Рабочие фабрики Шау и так называемой Новой Бумагопрядильни на Обводном канале забастовали почти одновременно, сговорившись через посредство своих делегатов «стоять дружно» и начинать работу не иначе, как с общего согласия стачечников обеих фабрик. Более 500 человек осталось, временно, без всякого заработка, а следовательно, и без всяких средств к существованию, если не считать кредита в мелочных лавочках. Кроме того, предвиделись вмешательство полиции и административные расправы с «бунтовщиками». Нужно было ор­ганизовать немедленную материальную помощь всем стачечникам и обеспечить семейства арестованных или высланных, в особенности. Работа закипела. Сборы производились повсюду, где была какаянибудь на­дежда на успех: между рабочими, студентами, литераторами и т. д. При своих огромных связях, Михайлов часто в один день собирал такую сумму, какой не собирали другие сборщики за всё время стачки. Каждый день, явившись на заседание «рабочей группы»[[21]](#footnote-21), Михайлов предъявлял ей довольно значительную сумму денег и немедленно начинал самые об­стоятельные расспросы. С довольным видом, пощипывая свою эспаньолку, выслушивал он рассказы людей, сошедшихся из разных концов Петербурга, занося в свою записную книжечку всевозможные поручения относительно паспортов, прокламаций, даже оружия и костюмов. Выработавши план действий на следующий день, собрание расходилось, и Михайлов спешил по какомунибудь новому делу, на свидание с тем или другим «человечком», на собрание какойнибудь другой группы нашего общества или самого «основного кружка».

Ал. Дм. никогда не мог увлечься какимнибудь специальным делом до забвения, хотя бы и временного, других отраслей революционного дела. Каждое отдельное предприятие имело для него смысл лишь в том случае, когда он видел, понимал и, если можно так выразиться, осязал связь его со всеми остальными функциями общества «Земля и Воля» Не будучи никогда литератором ни по случаю, ни по призванию, он не пропускал ни одного собрания редакции издававшейся тогда «Земли и Воли»: он не мог быть спокоен, пока не знал состава приготовляемого номера и содержания каждой его статьи. Редакция до такой степени привыкла к присутствию Михайлова на ее собраниях, что часто отсро­чивала их, если он был чемнибудь занят. «Я очень люблю читать Ми­хайлову свои статьи, — говорил мне один из членов редакции[[22]](#footnote-22)*,* — заме­чания его так удачны, так метки, что с ним почти всегда приходится согласиться, и часто я переменяю весь план статьи, прочитавши ему чер­новую рукопись». Критические приемы Михайлова не лишены были не­которой своеобразности. Кроме согласия с программой, доказательности и хорошего слога, он очень ценил в статьях краткость изложения. Как только на собраниях редакции приступали к чтению имевшихся в ее распоряжении рукописей, А. Д. вынимал часы (мимоходом замечу, имев­шие удивительное свойство останавливаться на ночь: «тоже спать хо­тят», говорил он, заводя их утром) и замечал, во сколько времени может быть прочитана та или другая статья. «Не торопитесь, потише, — оста­навливал он читающего, — публика читает, обыкновенно, медленнее... 25 минут, несколько длинно... Вы бы какнибудь покороче; а кроме того, я хотел вам заметить»... Следовали замечания по существу дела. Выход каждого № «Земли и Воли» ознаменовывался некоторым торжеством на квартире Михайлова. Тогда бывало «разрешение вина и елея». В маленькой комнатке, наш «Катонцензор», как называли мы его тогда, приготовлял скромное угощение. Часов в девять вечера появлялись виновники торжества, — члены редакции «Земли и Воли», — и начиналось «празднество». Михайлов откупоривал бутылку коньяку, наливал из нее каждому по рюмке и тотчас же запирал в шкап. Затем выступали на сцену какаято «рыбка» и чай со сладким печеньем. Спустивши стору и установивши «знак» для когонибудь из запоздавших, Михайлов ожи­вленно и весело беседовал с гостями, отдыхая от тревог и волнений истекшего месяца. Эти собрания были едва ли не единственным развле­чением А. Д.; в театр он не могпойти, если бы и захотел, так как это было бы «неосторожно»: там его могли узнать шпионы; у своих знакомых он оставался не долее, чем это требовало дело. Каждый вечер шифровал он в своей записной книжечке расписание предстоящих на завтра дел и свиданий, и, ложась спать, он долго еще ворочался в постели, стараясь припомнить каждую мелочь. Пробуждаясь на утро, он прежде всего бро­сал беглый взгляд на маленький клочок бумаги, висевший над его кро­ватью и составлявший единственное украшение комнаты. На этой бу­мажке красовалось написанное крупными буквами лаконическое напо­минание: *«Не* *забывай своих обязанностей».* Как медный «змий» спасал евреев от телесных недугов, надпись эта спасала Михайлова от случай­ных искушений и слабостей: желания проспать долее положенного вре­мени, почитать утром газету и т. д. Взглянувши на эту надпись, он не­медленно вскакивал с постели, тщательно чистил платье и, одевшись «прилично», принимался за свою ежедневную беготню по Петербургу.

Личных друзей в обществе «Земля и Воля» у Михайлова было очень немного. По характеру своему, он более чем ктонибудь другой склонен был согласиться с Прудоном в том, что «любовь есть нарушение обще­ственной справедливости». Про него говорили, что он любит людей только со времени вступления их в «основной кружок» итолько до тех пор, пока они состоят членами последнего. И нельзя не согласиться, по крайней мере, с положительной стороной этой характеристики. К каж­дому из своих товарищей он относился с самою нежною заботливостью, хотя и не упускал случая сердито поворчать за неисправность или не­осторожность. Несомненно также, что революционная работа до такой степени проникала собой все помыслы и чувства Михайлова, что он не мог полюбить человека иначе, как на «деле» и за «дело». Для столкно­вения с людьми помимо этого дела у него просто не было времени.

Весною 1879 года совершился крутой перелом в воззрениях Михай­лова. Он все более и более начал склоняться к так называемому терро­ристическому способу действий. Перелом этот произошел, конечно, не вдруг. Некоторое время Михайлов не высказывался принципиально про­тив старой программы, хотя не упускал случая заметить, что мы не имеем и десятой доли сил, необходимых для ее выполнения. Но, малопо­малу, новый способ действий выяснился для него окончательно, и когда весною 1879 г. Соловьев и Гольденберг приехали в Петербург, жребий был брошен, Михайлов сделался террористом. С этих пор начинается новый период его жизни, который мне известен менее, чем предыдущие.

Я не знаю, придется ли мне еще встретиться с Михайловым, послу­жит ли он еще революционному делу, или погибнет в каторжной тюрьме[[23]](#footnote-23), несмотря на свой железный характер. Но я уверен, что у всех, знавших Михайлова, никогда не изгладится образ этого человека, кото­рый, подобно Лермонтовскому Мцыри, «знал *одной* лишь думы власть, *одну,* но пламенную страсть»: этой думой было счастье родины, этой страстью была борьба за ее освобождение.

*1882 г.*

## Новое направление в области политиче­ской экономии.

Dr. Meyer  *Die neuere NationalOekonomie in ihren Hauptrichtungen.* Ed. de Laveley — *Le socialisme contemporain.*

Всякий, кто следит за современной литературой в области эконо­мической науки, не мог оставить незамеченным то явление, что наряду с «ортодоксальными» учениями, как они вышли некогда изпод пера экономистов-классиков, — учениями, дополненными и исправленными «учеными» вроде Бастиа, — вырастает новое направление, отрекающееся одновременно от Рикардо и от Бастиа и грозящее, повидимому, не оста­вить камня на камне в здании «манчестерства». Это новое направле­ние в экономической науке приобретает все большее количество по­следователей и уже в настоящее время занимает довольно крепкую позицию в литературе и в университетах передовых европейских народов. Значительная часть немецких университетских кафедр занята так на­зываемыми катедер-социалистами, взгляды которых встречают сочув­ствие и поддержку в целой фаланге итальянских, датских и даже англий­ских ученых.

Только в странах французского языка новаторские стремления ка­тедерсоциалистов встретили равнодушный и даже враждебный прием. Но и здесь ученая ересь начинает оказывать свое влияние. И здесь, ря­дом с сочинениями, вроде книги Молинари «L'évolution économique du XIX siècle»; рядом с уверениями в том, что «естественные законы» народного хозяйства продолжают как нельзя лучше содействовать развитию общего богатства и благосостояния; рядом с традиционным «laissez faire, laissez passer», — слышатся другие слова, раздаются другие уверения, предлагаются новые девизы. К числу таких, пока еще немного­численных там отщепенцев принадлежит известный автор книги о «Первобытной собственности» — Эмиль де Лавелэ, выпустивший недавно в свет новое сочинение «О современном социализме». Некоторые главы этого вообще небезинтересного с фактической стороны труда бельгий­ского профессора затрагивают вопросы «о новых тенденциях в политической экономии», об «отношении политической экономии к морали, праву, политике иистории» и т. д.., и т. д. Рассматривая каждый из этих вопросов, автор настаивает на необходимости пересмотра положений «старой школы» с точки зрения катедер-социализма или, как его пра­вильнее называют, «историко-реалистического направления».

Чем же вызывается это критическое отношение к догматам школы, считавшейся некогда непогрешимой? С какой стороны затрагивает «старую школу» критика экономистов«реалистов»? Наконец, отказы­ваясь от завещанного классической и вульгарной экономией наследства, расходясь как со Смитом и Рикардо, так и с Бастиа, представляет ли собою «историкореалистическое» направление самостоятельную и цельную систему, охватившую все явления современной экономической жизни, все завоевания современной науки?

В предлагаемой статье мы попытаемся ответить на эти вопросы, опираясь на данные, заключающиеся в выписанных выше новостях ино­странной экономической литературы. При этом вопрос о причинах по­стоянно возрастающего критического отношения к положениям «ман­честерства» заставит нас бросить беглый взгляд на обстоятельства, при которых это учение начало клониться к упадку и уступать место новым экономическим теориям.

### I.

Сочинения Д. Рикардо представляют собою высшую, кульминацион­ную точку в развитии классической политической экономии. Основные положения тогдашней науки были с неуклонной последовательностью приложены знаменитым экономистом к решению всех вопросов про­изводства, обмена и распределения, обращавших на себя в то время внимание исследователя. Эти вопросы были, разумеется, непохожи на «проклятые вопросы» настоящего времени. Не нужно забывать, что главное сочинение Рикардо, «Начала политической экономии», появи­лось еще в 1817 году, т. е. шестьдесят четыре года тому назад. Капиталистический способ производства тогда еще только завоевывал себе господствующее положение в сфере западноевропейских экономиче­ских отношений; буржуазия спорила еще за власть и преобладание с поземельной аристократией; наконец, промышленные кризисы не сде­лались еще в то время периодически возвращающимся бедствием цивилизованных наций. К общественным же наукам, более чем к какимлибо другим, применимы слова Ж. Б. Вико, утверждавшего, что «все науки родились из общественных потребностей и нужд народов» и что «ход идей соответствует ходу вещей». «Общественные потребности» и нужды западноевропейских народов были совсем иные в начале XIX века, чем в настоящее время. Перед современниками Рикардо не стоял еще грозным призраком рабочий вопрос; они не знали еще, до каких противоречий может дойти капиталистический способ производства. Они видели капитализм лишь с его положительной стороны, с точки зрения увеличения национального богатства. Правда, ученым того времени был уже известен закон заработной платы, названный впоследствии «желез­ным и жестоким» законом. Еще Тюрго писал, что «во всех отраслях труда должно происходить и происходит в самом деле, что плата рабо­чего ограничивается тем, что необходимо ему для поддержания его су­ществования»[[24]](#footnote-24).

Вслед за ним, отыскивая естественную норму заработной платы, Ад. Смит также находил, что она должна дать рабочему средства, не­обходимые для его существования и воспитания сына, который мог бы заменить своего отца, когда руки последнего окажутся неудовлетворяющими более своему назначению[[25]](#footnote-25). Что касается Рикардо, то он не только не отрицал указанной его предшественниками нормы заработ­ной платы, но, напротив, придал учению о ней тот законченный вид, в котором оно стало известно под именем «закона заработной платы Ри­кардо». «Естественная цена труда есть, по мнению этого последнего, та, которая, вообще, необходима для доставления рабочим средств к существованию и продолжению своего рода как без возрастания, так и без уменьшения»[[26]](#footnote-26). Таким образом, Рикардо и его предшествен­ники) — основатели экономической науки — имели уже совершенно опреде­ленный и далеко не розовый взгляд на положение рабочих в капитали­стическом обществе (о дифирамбах «экономической гармонии» в то время еще не задумывались), но тем не менее рабочий вопрос, в соб­ственном смысле этого слова, интересовал их еще очень мало. Безучаст­ность отношения экономистовклассиков к судьбе рабочего класса мо­жет иногда показаться просто невероятною для современного читателя. Так, напр., по поводу вопроса о заработной плате Ад. Смит цитирует

Кантильона, утверждавшего, что плата рабочего должна дать ему сред­ства для содержания двух детей. Смит замечает, что при большой смерт­ности детей, доходящей до 50%, «беднейшие рабочие должны стараться воспитать, по крайней мере, 4х детей, чтобы только двое из них могли достичь зрелого возраста»[[27]](#footnote-27)и служить, таким образом, для «поддер­жания рода». И этот факт громадной смертности, поражающей, главным образом, молодое рабочее поколение, — смертности, при которой половина детей заранее обрекается на гибель, чтобы другая могла удостоиться счастья и чести вынести на рынок свои «руки», — не останавливает на себе внимания «отца политической экономии».

«Адам Смит, — восклицает Прудон в своих «Экономических про­тиворечиях», — видит и не понимает; он рассказывает и не разумеет смысла своего рассказа; он говорит по внушению Бога, без удивления и благоговения, и внутренний смысл его слов остается для него закрытою книгою!» И действительно, истинный смысл и значение капитализма оставались «lettre close» для экономистовклассиков. Интересы рабочих они продолжали связывать с возрастанием «народного богатства» и в этом возрастании видели единственное средство уврачевания обществен­ных бедствий.

Впрочем, и во время Рикардо были уже явления, обнаружившие некоторые из противоречий капитализма. Одним из важнейших явле­ний этого рода была борьба рабочего с усовершенствованным орудием его труда — машиной. Введение машин затрагивало интересы всех уча­ствующих в производстве «факторов», но затрагивало их с совершенно различных сторон и в диаметрально противоположном смысле. Для ра­ботодателей введение машин означало увеличение производительности труда занятых в производстве рабочих или, как выражались тогда, уменьшение издержек производства, удешевление продуктов, расшире­ние сбыта, пожалуй, завоевание новых рынков и т. п. Словом, фабри­кант по самому своему положению склонен был видеть лишь положи­тельную сторону последствий введения машин. Для рабочего, напротив, это введение знаменовало собою уменьшение спроса на труд, пониже­ние задельной платы, а временами и безработицу. Немудрено поэтому, что рабочий недружелюбно относился к машинам. Противоречия капи­тализма обнаруживались прежде всего нелепым явлением — борьбой про­изводителя с орудием его труда. Из средства облегчения физического труда и увеличения власти человека над природой машина сделалась вернейшим средством угнетения трудящихся. И вот последние борются против введения машин как путем петиций, так и открытыми бунтами. Во время кризиса 1815 года «все ожесточение рабочих, по словам Макса Вирта, обратилось на машины, в которых они видели причину застоя в делах. В различных местностях затевались бунты с целью уничтоже­ния машин; молотилки, прядильные машины и ткацкие станки ломали и бросали в огонь». Когда тот или другой жизненный вопрос требует так настойчиво своего разрешения, то он, разумеется, не может остаться незамеченным наукою, если только ее представители не закрывают на него умышленно глаз. Но в то время к такому умышлен­ному закрытию глаз на явления жизни еще не было поводов. Протест рабочих выражался в такой грубой, примитивной форме; он напра­влялся против таких необходимых и очевидно полезных для производ­ства технических усовершенствований; наконец, сознание особенностей своего положения, как класса, было еще так слабо развито в умах самих рабочих, что ни самой буржуазии, ни ученым ее представителям не могло внушить серьезных опасений констатирование указанного выше противоречия капитализма. Каждый из лучших и честнейших представителей буржуазной экономии мог, как это сделал Рикардо, признать, что «замена машинами человеческого труда наносит часто большой вред интересам рабочего класса», и в то же время, без всяких сделок со своею совестью, прибавить: «надеюсь, что установленные мною положения не ведут к заключению, что машины не должны быть поощряемы». Рикардо совершенно верно полагал, что «употреблению машин никогда нельзя препятствовать в государстве безнаказанно».

Так современная им экономическая жизнь передовых европейских народов позволяла Рикардо и его непосредственным ученикам сохранять полную научную беспристрастность, стоя, в то же время, целиком на точке зрения буржуазии, отождествляя процессы ее обогащения с исто­рией обогащения всего общества. Благодаря этой объективности, положения школы Рикардо имели и имеют огромное научное значение. Сис­тематичность, ясность и строгая научность учений Рикардо оставляли желать весьма немногого. Казалось бы, что экономистам последующего времени оставалось лишь принять полностью завещанное великим эко­номистом наследство и продолжать строить начатое им здание науки по выработанному им плану.

Но развитие экономической жизни западноевропейских народов шло своим путем; на историческую арену стали пробиваться новые об­щественные группы; незаметные прежде, противоречия капитализма обнаруживались все с большею и большею ясностью, а вместе с этим и в науке стали обнаруживаться новые течения, более или менее сильно отклоняющиеся от направления РикардоСмитовской школы. Короче сказать, изменялся «ход вещей», — изменялся и «ход идей», и правиль­ное понимание первого должно дать нам ключ к уразумению последнего.

Заметнее и ранее всего обнаружилось это изменение в «ходе идей» в экономической литературе той страны, где зарождение иразвитие капитализма совершалось при несколько иных условиях, чем происхо­дило оно на родине экономической науки, в Англии и во Франции.

Мы говорим о Германии, где, по признанию Морица Мейера, «пре­образованию учения Смита, независимо от критики социалистов, высту­пивших уже гораздо позже, более всего способствовали политические и экономические отношения». Как мы увидим ниже, и социалистиче­ская критика была вызвана к жизни условиями совершенно определен­ного экономического и политического характера.

Но каковы же были «политические и экономические отношения», повлиявшие на развитие экономической науки в Германии и обусло­вившие собою характер господствующих там учений?

### II.

Начало XIX столетия застало большую часть Германии на весьма низкой ступени экономического развития. Страна, которой суждено было играть такую видную и потом даже решающую роль в судьбах остальной Германии, Пруссия, была еще совершенно земледельческим государством. Более 80% населения занималось исключительно земледельческим трудом; только в западной части государства, в Силезии и Марке, именно в Берлине и Магдебурге, существовала некоторая фа­бричная промышленность.

Земля, представлявшая собою главный объект труда тогдашнего на­селения Пруссии, резко разделялась на помещичьи (Rittersgütern) и государственные имения (Domänen), с одной стороны, и крестьянские участки — с другой.

По закону, «рыцарскими» поместьями могли владеть только дво­ряне. Дворянские имения платили весьма умеренный поземельный на­лог, который существовал притом не во всех частях государства. Кре­стьянское население, обложенное гораздо более тяжелыми налогами, стояло в обязательных отношениях к дворянским имениям (Gutsunterthänigkeit). Города платили многочисленные налоги в виде так называемых акцизных сборов, которыми обложены были все предметы по­требления горожан.

Старая меркантильная система связывала торговую деятельность страны по рукам и ногам и совершенно парализовала ее успехи. Сво­бода торговли не допускалась даже между отдельными провинциями. Каждая из них имела свои особые таможни и свои тарифы. Внешняя торговля была опутана еще большими стеснениями. Ввоз многих загра­ничных изделий был запрещен совсем; другие были обложены высокими пошлинами, доходившими до 50 и даже более процентов их стои­мости. В 1800 году был совершенно запрещен ввоз иностранных шелко­вых, полушелковых и хлопчатобумажных изделий. Уже после окон­чания наполеоновских войн тогдашний министр финансов фон Бюлов, указывая королю на необходимость изменения торгового устава, гово­рил, что сборами обложено 2.775 предметов и в том числе почти все предметы первой необходимости. По его словам, в одних старых провинциях Пруссии существовало до 60ти различных тарифов для город­ских и таможенных сборов. Все эти тарифы имели обязательную за­конную силу, хотя запомнить их не могла никакая человеческая память.

Промышленная деятельность была скована цеховыми уставами, не позволявшими ей выходить за городские ворота.

Результатом всего этого была отсталость прусской промышлен­ности. И хотя, верное духу колъбертизма, правительство в течение предшествовавших 80 лет «а одни только шелковые фабрики в Бер­лине, Потсдаме, Франкфурте на Одере и Кеппике издержало более 10ти миллионов талеров, но французские и английские шелковые изде­лия были настолько лучше, прочнее и дешевле прусских, что, как мы видели, пришлось совершенно запретить ввоз первых в Пруссию, чтобы не делать подрыва местным промышленникам. Но это запрещение об­ходилось страшною контрабандой, которой не могли искоренить ни­какие строгие меры законодательства.

Экономическая отсталость влекла за собою общую бедность стра­ны. По вычислениям Дитерици, перед роковым для Пруссии 1806 годом средний доход населения, в самых лучших случаях, не простирался выше 16—25 талеров на человека.

Австрия того времени находилась на еще более отсталой степени хозяйственного развития, и только некоторые мелкие государства — или, вернее, только некоторые части некоторых мелких государств — поднимались несколько над низким уровнем национальноэкономической культуры Германии.

Таковы были ресурсы немецкого народа в период, непосредственно предшествовавший войнам 3й и 4й коалиции. Известно, какой исход имели эти войны. Аустерлиц, Иена и Эйлау сделали Наполеона влады­кою Германии. Для французской буржуазии не могло быть лучшего случая расширить сбыт своих товаров. И вот, вместе с вторжением французских войск в немецкие пределы, совершается наплыв француз­ских товаров в завоеванные местности. В начале декабря 1806 года французы требуют пропуска всех французских товаров с оплатою невысокой таможенной пошлиной во все занятые наполеоновской ар­мией части Пруссии. Напрасно прусское правительство ставит завоева­телям на вид, что туземная промышленность не сможет вынести кон­куренции французских фабрикатов. Напрасно доказывает оно, что берлинские фабрики держались до сих пор лишь благодаря покровитель­ственному тарифу, с падением которого население окончательно обни­щает и фабричные рабочие пойдут по миру. Напрасно также старается оно подействовать на корыстолюбие завоевателей, говоря, что от понижения таможенных пошлин потеряет само же временное француз­ское правительство, в пользу которого собирались таможенные пошли­ны в завоеванных местностях. Победоносные полководцы буржуазной Франции отвечают, что ввоз в страну французских товаров представляет «естественное следствие» завоевания. После долгих споров и пре­реканий, французские товары получают свободный доступ в занятые завоевателями местности, с платою лишь небольшой пошлины.

Таким образом, рядом с политическою борьбою правительств шла экономическая борьба народов или, вернее, тех слоев французского и немецкого народов, в руках которых и до сих пор сосредоточиваются средства производства. Рядом с борьбою армий шла борьба фабрикантов; рядом с соперничеством полководцев шла конкуренция товаров. Французской буржуазии нужно было овладеть новым рынком; немец­кая — всеми силами старалась отстоять тот, который был в ее руках, благодаря покровительственному тарифу. Это обстоятельство, в связи с оборотом, принятым международной торговлей после падения конти­нентальной системы, имело огромное влияние на настроение умов в Германии, когда, убедившись в невозможности остаться при старых порядках, немецкие правительства взялись, наконец, за реформы. Пер­вый почин в деле преобразования принадлежал, как известно, прусскому королю Фридриху Вильгельму III.

### III.

В сентябре 1807 года Гарденберг представил королю записку о преобразовании государства. Он исходил в ней из того положения, что мировые события и судьбы народов совершаются по известному плану и что задача правительств заключается в введении мирным путем пре­образований, требуемых духом времени. Государства, общественный строй которых удовлетворяет требованиям духа времени, тем самым приобретают, по мнению Гарденберга, огромную силу и устойчивость. В разъяснение и подтверждение своей мысли знаменитый государствен­ный человек ссылался на пример Франции. Только что пережитая ею революция дала новый толчок ее развитию, разбудила дремавшие силы страны, вместе с отжившими учреждениями уничтожила старые пред­рассудки и дала французскому народу силы с успехом бороться против коалиционных армий европейской реакции. Всего ошибочнее и опаснее казалось Гарденбергу мнение, что революцию можно предотвратить упорным отстаиванием старых порядков и строгим преследованием всего нового. Рано или поздно государство должно будет подчиниться требо­ваниям времени или придет в окончательный упадок. Поэтому Гарден­берг желал «революции в хорошем смысле слова» или, иначе говоря, широких реформ сверху.

Ничего не могло быть разумнее и своевременнее этих требований. Записка Гарденберга представляла собою вполне верное отражение в ясном уме знаменитого канцлера тогдашних нужд и потребностей Пруссии. Старый, полуфеодальный строй Германии доказал полную свою несостоятельность, когда ему пришлось столкнуться с обновленною революционной грозою Францией. Военные расходы, уплата контрибу­ций, необходимость содержать громадную оккупационную французскую армию, — все это требовало огромного напряжения экономических сил страны, а между тем они пришли в полное истощение и, скованные феодальными путами, подавали очень плохую надежду в будущем. Главный источник доходов страны — земледелие — был в упадке, многие поля лежали необработанными, во многих имениях скот был совершенно уничтожен. Промышленность страдала, как мы видели, от конкуренции Франции; наконец, торговля, и прежде находившаяся в зачаточном состоянии, сильно терпела от континентальной системы, лишившей ее возможности сбывать в Англию хлеб — главный предмет вывоза тогдаш­ней Пруссии.

Только немедленные и как можно более широкие реформы могли возродить и оживить упавшие экономические силы государства.

Но как взяться за эти реформы? По какому плану их совершить? Каких перестроек и поправок в государственном здании Пруссии тре­бовал «дух времени», к которому апеллировали передовые люди Гер­мании?

Пока вопрос оставался еще в области общих теоретических реше­ний, всем мыслящим людям Германии казалось, что на него возможен только один ответ. Передовые страны Запада, Англия и Франция, явля­лись лучшими образцами для подражания. Они были могущественны и богаты, их промышленность и торговля находились в цветущем, по тогдашнему времени, состоянии. Над их общественною жизнью не тя­готело бремя мелочной регламентации; частной инициативе граждан была предоставлена значительная свобода. Естественно было поэтому, что теоретики капитализма находили себе горячих адептов в Германии. «Богатство народов» Смита было переведено на немецкий язык еще в конце XVIII столетия, и молодое поколение германской интеллигенции пропитывалось теориями свободной торговли и государственного невме­шательства. Люди, занявшие в штейногарденберговский период и по окончании наполеоновских войн важные места на государственной службе, все в большей или меньшей степени принадлежали к последо­вателям шотландского экономиста. Сам прусский король был сторон­ником свободы торговли и говорил, что его «приводят в ужас» много­томные тарифы таможенных и акцизных сборов.

Практическая жизнь скоро, однако, положила предел немецкому «западничеству» или, по крайней мере, вынудила его на компромиссы, отступления иоговорки, И хотя в пятилетний период 1807—1812 гг. ни одна отрасль государственной жизни и народной экономии не осталась без реформ «в духе времени», так горячо рекомендованных Гар­денбергом, хотя мотивировка почти всех тогдашних правительственных эдиктов напоминала собою политико-экономические трактаты в духе Адама Смита, но именно по вопросу о свободной торговле и потребо­вала практическая жизнь весьма серьезных уступок. Мы видели уже, как солоно пришлось немецким фабрикантам «естественное следствие» французского завоевания, т. е. ввоз в Пруссию французских товаров. Когда, вслед за объявлением войны 1813 года, прусские промышленники избавились, наконец, от своих французских конкурентов, у них яви­лись новые, еще более опасные противники. Падение континентальной системы открыло английским товарам доступ на европейские рынки.

Огромное количество этих товаров наводнило Пруссию. Дешевизна их, особенно хлопчатобумажных изделий, делала конкуренцию с ними не­возможною для местных производителей при той невысокой пошлине, которою были обложены теперь товары дружественных и нейтральных государств. Под влиянием жалоб прусских фабрикантов правительство скоро увидело себя вынужденным отказаться от своих фритредерских симпатий и ограничить ввоз в Пруссию, по крайней мере, хлопчатобу­мажных изделий.

Не довольствуясь этою временной уступкой правительства, прус­ские промышленники стремились оградить себя более прочными законодательными постановлениями против иностранной конкуренции. И чем более становилось известным, что правительство хочет принять политику свободной торговли, тем сильнее обнаруживалась реакция против нее прусской промышленной буржуазии. В особенности берлинские и силезские фабриканты опасались низких пошлин на иностранные то­вары. Они требовали, напротив, очень высокого тарифа, частью совершейного запрещения ввоза иностранных товаров. В этом смысле они вели очень деятельную агитацию и подавали петиции правительству. Назна­ченная по этому поводу комиссия высказалась в их пользу. Она нашла, что положение и интересы прусской промышленности делали невоз­можным принятие политики свободной торговли. Принципы последней могли быть проведены в жизнь, по мнению комиссии, лишь постепенно и с большою осмотрительностью. На доводы противников свободного обмена, утверждавших, что государству невыгодно производить товары, которые оно может дешевле купить за границей, возражали, что это справедливо только при известных условиях. Если бы дело шло о возникновении новых отраслей промышленности, то по отношению к ним вышеприведенный довод имел бы полную силу. Но когда речь заходит о затраченных уже капиталах, о более или менее привившихся уже в стране промышленных предприятиях, то оставлять их беззащитными ввиду иностранной конкуренции значило бы подвергать интересы государства, предпринимателей и рабочих слишком тяжелому испытанию.

С своей стороны, торговый слой прусской буржуазии находил бо­лее сообразным с принципами «науки», «справедливости» и «государ­ственных», — а главное, разумеется, своих собственных, — интересов — предоставление торговле возможно более широкой свободы. Интересы и мнения этого слоя нашли энергичную поддержку как в меньшинстве комиссии, так и в государственном совете.

Закон 26го мая 1818 года «о пошлинах на ввоз и потребление иностранных товаров и о торговых сношениях между провинциями государства» явился равнодействующею указанных течений. «Этот закон, — говорит Мориц Мейер, — создал экономическое единство Прус­сии... и поставил ее в совершенно новое положение к иностранцам, потому что хотя в основание торговых сношений с другими странами и был принят принцип свободной торговли, однако при этом было обра­щено серьезное внимание и на национальные интересы». Эти интересы, которые были, как мы видели, прежде всего интересами прусской про­мышленной буржуазии, и теперь охранялись ввозными пошлинами.

Мы остановились на этой странице из экономической истории Пруссии потому, что ее правительство было тогда более других склонно понимать требования «духа времени» и делать ему уступки. В общем экономические отношения остальной Германии представляли знакомую уженам из примера Пруссии картину. Разница заключается лишь в том, что указанная нами противоположность интересов промышленного и торгового слоев буржуазии нашла свое выражение в экономическом антагонизме различных частей Германии. Так, например, когда обнаружилась необходимость принятия однообразной торговой политики на пространстве всей раздробленной Германии и началась агитация в пользу общегерманского таможенного союза, то промышленные части Германии, как и следовало ожидать, стояли за покровительственный тариф, между тем как северные, торговые, государства отстаивали сво­боду торговли и отказывались примкнуть к проектировавшемуся союзу.

Таковы были положение, нужды и потребности немецкой промы­шленности в эпоху возникновения самостоятельной экономической ли­тературы в Германии. С одной стороны, жизнь настойчиво требовала реформ, в духе завоеваний французской революции, и отказа от старой меркантильной системы. Но интересы немецкой промышленности ну­ждались в то время в охране и в поддержке со стороны государства про­тив конкуренции более передовых наций, которые, вооружившись луч­шими способами производства, с удовольствием готовы были, по совету Тюрго, «забыть, что есть политические государства, отделенные одно от другого и различно организованные». Немецкая буржуазия выросла уже из помочей меркантильной системы, но отнюдь не прочь была опи­раться на руку покровительственного тарифа. Отсюда — осторожное от­ношение к рекомендованной Смитом и Рикардо экономической поли­тике, отрицание абсолютного ее значения и повсеместной применимо­сти. Сама жизнь указывала на необходимость пересмотра «британских преданий» в экономической науке и перекройки ее теорий по росту тогдашней буржуазии.

Этот пересмотр «британских преданий» взял на себя Фридрих Лист, получивший за это почетные титулы «Лютера экономической науки», «величайшего экономиста Германии» и т. д., и т. д., чуть не до «отца отечества» включительно. Сочинения Ф. Листа, в которых, как в зеркале, отразились состояние и нужды современной ему германской промышленности, представляют собою первую попытку систематической критики классической политической экономии. Критика его оказалась, однако, весьма поверхностной и односторонней.

Все главные положения *«Национальной системы политической эко­номии»* тесно связаны с учением о торговой политике, служащим цен­тром, вокруг которого группируются исследования «величайшего из немецких экономистов». По мнению Фр. Листа, промышленное разви­тие каждой страны проходит через несколько фазисов, из которых каждый требует особой торговой политики.

Сначала земледелие получает толчок благодаря ввозу заграничных мануфактурных товаров и вывозу земледельческих продуктов за гра­ницу. Потом, рядом с ввозом иностранных товаров, в стране появля­ются зачатки самостоятельной промышленной деятельности. Развиваясь далее, местная промышленность начинает доставлять продукты в коли­честве, достаточном для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Страна перестает нуждаться в иностранных продуктах и тем самым избавляется от экономической зависимости по отношению к дру­гим государствам. Наконец, четвертый, высший фазис промышленного развития каждой страны характеризуется вывозом мануфактурных изделий за границу и ввозом сырых продуктов извне.

Соответственно этому каждая страна должна, по мнению Листа, начинать с свободной торговли, чтобы путем обмена с богатыми промы­шленными нациями возбудить свою экономическую самодеятельность. Затем правительство должно малопомалу ввести покровительственный тариф, чтобы дать национальной промышленности возможность и время окрепнуть для борьбы на всемирном рынке. Как только система «про­мышленного воспитания нации» принесла эти желанные плоды, снова делается необходимым возврат к свободной торговле и принципам государственного невмешательства.

Английская школа, имевшая, как мы видели, немало последовате­лей и в Германии, налегла, главным образом, на то обстоятельство, что покровительственный тариф ложится тяжелым бременем на интересы потребителей, принося пользу лишь ограниченному кругу промышлен­ников. Чтобы устранить это главное возражение сторонников безусловно свободной торговли, Листу необходимо было указать на такие послед­ствия покровительственной системы, которые могли бы вознаградить временные потери потребителей. Это был вопрос не только теоретиче­ской, но и практической важности, так как Германия того времени нуждалась еще, по мнению Листа, в охране своего внутреннего рынка от иностранной конкуренции.

Отстаивая свое учение, Лист упрекает смитовскую школу в том, что она занимается лишь индивидуумами и частными хозяйствами, забы­вая о нации, которая стоит между индивидуумом и человечеством и является представительницей самостоятельной хозяйственной жизни. Богатство этой коллективной хозяйственной единицы зависит, по мнению Листа, не столько от количества находящихся в ее распоряжении меновых ценностей, сколько от развития ее производительных сил. В прямой пропорциональности с этим развитием находится способность страны дать средства существования более или менее густому населе­нию. Чем более высокой степени развития достигают производительные силы страны, тем более густое население способна она выдержать. Так увеличивается, например, эта способность в земледельческой стране при переходе части ее населения к промышленному труду. Анализ этого явления ведет Листа к вопросу об издержках на перевозку товаров и о возможном их сокращении.

В международной торговле издержки перевозки оплачиваются, по мнению Листа, той страною, которая вывозит свои сырые произведения и ввозит мануфактурные изделия изза границы. Вывод отсюда тот же, что из всех других исследований Листа: Германия должна освободиться от экономической зависимости по отношению к более передовым стра­нам; она должна перейти в более высокий фазис промышленного разви­тия и обрабатывать свое сырье дома. А для этого опятьтаки «нужно разрушить Карфаген», нужно избавить германских промышленников от иностранной конкуренции и создать им более широкий и свободный внутренний рынок, соединяя отдельные немецкие государства в один общегерманский таможенный союз.

Этот постоянный возврат к практическим нуждам и потребностям немецкой буржуазии и это подыскивание научных аргументов в пользу известных законодательных мероприятий сделали то, что имя Листа вопреки мнению его поклонников, имеет гораздо более значения как имя талантливого и образованного агитатора в пользу таможенного союза, чем как имя самостоятельного критика рикардосмитовской школы.

В этом последнем отношении заслуга автора *«Национальной сис­темы политической экономии»* ограничивается указанием на «отно­сительное» значение открытых предшествовавшими экономистами за­конов народного хозяйства.

Французские и английские экономисты ведались лишь с «абсолют­ными», вечными истинами. Они отыскивали законы того «естественного порядка вещей», который представлялся им гармоническим сочетанием свободы и справедливости, личной выгоды и общественной пользы. Законы этого идеального порядка вещей были, по их мнению, применимы ко всем человеческим обществам, на всех стадиях их развития. Только невежество и вытекающее из него неумелое законодательство мешают людям осуществить этот для всех одинаково выгодный общественный строй. «Все люди и все области человеческие, — писал глава физиокра­тов Кенэ, — подчинены этим высшим законам (законам Естественного Порядка), установленным верховным существом; эти законы неизменны и неотвратимы и лучшие из всех возможных законов. Поэтому они одни могут составить основу самого совершенного правительства и главное руководящее правило для положительных законов»[[28]](#footnote-28).

С своей стороны, Тюрго замечает, что «тот, кто не забудет, что существуют политические государства, отделенные одно от другого и различно организованные, никогда не будет в состоянии хороню обсу­дить какой бы то ни было вопрос политической экономии»[[29]](#footnote-29).

В противоположность этому, Лист энергически настаивает на хо­зяйственных особенностях различных государств и ограничивает сферу действия «неизменных и неотвратимых законов» своих предшественни­ков известными фазисами развития народного хозяйства. Принципы экономической политики, закон народонаселения, самое понятие о бо­гатстве страны теряют у него «абсолютное» значение и становятся весьма «относительными».

Это признание необходимости изучения экономических, явлений в их историческом развитии представляет, во всяком случае, значительный шаг вперед в истории политической экономии. И если новый метод не дал, в руках «историко-реалистической» немецкой школы, тех ре­зультатов, которых можно было от него ожидать, то причина этого лежит в положении, занятом этой школой по отношению к важнейшим общественным вопросам ее времени. Неудобства этого положения для объективного исследования явлений не лишили исторического метода его важного и плодотворного значения. Но, не забегая вперед, посмотрим, какой вклад внесла в науку новая «историко-реалистическая» школа и насколько она подвинула вперед разработку и критику клас­сической экономии.

### IV.

Почва, породившая «величайшего экономиста Германии», была на­столько подготовлена к «реформации», что голос Листа не мог остаться одиноким. У него нашлись последователи, нашлись товарищи по науке, одновременно с ним пришедшие к тем же выводам. Нашлись ученые, как Вильгельм Рошер, утверждавшие даже, что в учениях Листа нет ничего оригинального и что все сказанное им говорилось уже ранее в немецких университетах[[30]](#footnote-30). Вокруг знамени «экономической рефор­мации» группируется целая фаланга патентованных экономистов, и к концу пятидесятых годов «историко-реалистическая» школа становится прочною ногою в немецких университетах. Она имеет свои журналы, создает целую литературу. Сущность ее положений в этот период ее развития может быть резюмирована следующим образом.

«Историко-реалистическая» школа рассматривает народное хозяй­ство, как одну из сторон народной жизни, тесно связанную с общим историческим развитием данного народа и специальными условиями его существования. Эти специальные условия определяют собою напра­вление хозяйственной деятельности и распределение экономических сил нации. К их числу относится, прежде всего, территория данного государства. Она составляет данное самой природой основание, опреде­ляющее как род, так и успешность хозяйственной деятельности нации.

Влияние климата, распределение вод, свойства почвы, величина дан­ной территории, густота ее населения — все эти моменты обусловливают собою весьма важные различия в экономическом положении народов, — различия, которые сглаживаются иногда весьма значительно, но никогда не могут быть уничтожены окончательно.

В теснейшей связи с естественными условиями данной местности стоит природа людей, ее населяющих, свойства «национального чело­века». Само собою понятно, что экономические успехи народа опреде­ляются его духовными и физическими свойствами. Расовые особенности, величина мускульной силы, умственные способности, нравы, обычаи и привычки оказывают огромное влияние на экономические отношения.

Все это изменяется с течением времени, влияние которого испы­тывают даже физические свойства страны. Крупные национально-поли­тические движения сопровождаются, обыкновенно, успехами в области экономической жизни. Затем следуют периоды реакции, ослабления пульса экономической и политической жизни. Короче сказать, эконо­мическая жизнь народов отражает в себе колебательные движения че­ловеческой культуры. Представители «историко-реалистической» школы разделяют отчасти только то мнение, что, под влиянием постоянно уси­ливающихся международных сношений, условия экономической деятель­ности культурных народов становятся все более и более сходными. Экономисты этой школы не признают возможности полного уничтоже­ния национальных различий в экономической жизни народов. Некото­рые из заметных ее представителей держатся даже того убеждения, что указанные различия, с течением времени, увеличиваются в своей интенсивности. Так, например, Книс думает, что возрастание национальных особенностей в экономике народов необходимо соответствует культур­ному прогрессу.

Все указанные особенности, к которым нужно прибавить еще раз­личия в политическом строе народов, в их религии, в организации церкви и т. п., должны быть приняты во внимание, по учению «историкореалистической» школы, при исследовании экономических явлений. Экономическая наука должна отказаться от дедуктивного метода ста­рой школы и устроить свое здание не на отвлеченных положениях о свойстве человеческой природы, но на опыте и наблюдении. Она должна сделаться наукой индуктивной и черпать свой материал в данных ста­тистики и истории.

Пока исследования экономистов «историко-реалистического» на­правления оставались чисто методологическими, они обещали оказать большие услуги науке о народном хозяйстве. Отказ от завещанного XVIII столетием дедуктивного метода и стремление поставить науку на твердую почву положительного знания предвещали, казалось, огромный успех исследованиям новой школы. Признание же взаимной зависимости различных категорий общественных явлений, в связи с изучением экономических отношений в историческом процессе их развития, должно было пролить новый свет на прочие отрасли социальной науки — историю права, политику, учение о нравственности. В этом отношении неважно было, как именно была понята взаимная связь различных сто­рон общественной жизни тем или другим представителем нового напра­вления или даже всей школой в данный период ее развития. Трудная задача классификации и определения взаимной зависимости не тех или других единичных фактов, но целых категорий общественных явлений не могла быть решена скоро и безошибочно. В вышеприведенных общих положениях «историкореалистической» школы читатель мог уже за­метить много неточностей, промахов и недомыслия. Так, например, можно было бы сказать, что «свойства национального человека», кото­рые, по мнению названной школы, определяют собою характер и успеш­ность экономической деятельности данного народа, сами находятся в теснейшей зависимости от существующих в среде этого народа эконо­мических отношений. В доказательство можно было бы сослаться на тот общеизвестный факт, что с изменением материальных условий жизни изменяются как физические «свойства» человека, его здоровье, сила, средняя продолжительность жизни, так и нравы, воззрения и при­вычки индивидуумов, обществ или общественных классов. Внутри одного и того же народа «свойства национального человека» неодинаковы на различных ступенях общественной иерархии. «Свойства» свободного, полноправного гражданина, патриция, средневекового дворянина, нако­нец, современного буржуа непохожи на «свойства» раба, плебея, кре­постного крестьянина или бездомного пролетария. Разделение же об­щества на классы обусловливается причинами чисто-экономического свойства. Затем, можно было бы припомнить, что крупные национально-политические движения не только *«сопровождаются»* успехами в об­ласти экономической жизни. Гораздо важнее этого для философа исто­рии то обстоятельство, что ни одно скольконибудь заметное национально-политическое движение не являлось без предварительных изме­нений в экономических отношениях данного народа, — изменений, направлением которых определялись характер и направление политиче­ской жизни. Примером может служить история третьего сословия. По­литические движения средневековых городских общин, французская ре­волюция — все эти весьма крупные национально-политические движения были возможны только потому, что им *предшествовал* экономический переворот, поставивший буржуазию в новое и более благоприятное положение по отношению к прочим общественным силам средневековой Европы.

Наконец, читатель мог бы сказать, что в историческом процессе борьбы за существование целых обществ или различных общественных классов имеют шансы явиться и выжить только такие правовые поня­тия и институты, которые являются наиболее выгодными для целого общества или сильнейшей, руководящей его части. А так как никакой правовой институт не мог быть выгодным для господствующего или стремящегося к господству класса, если он препятствовал обеспечению и возрастанию материального его благосостояния, то нужно признать, что ключ к пониманию правовой истории общества лежит в экономи­ческой его истории, а не наоборот. В простейшей и самой общей ее форме мысль эта выражена еще у Аристотеля, который замечает, что «люди устраивают свой образ жизни сообразно своим потребностям и способу их удовлетворения». Можно было бы найти и еще целый ряд возражений, которые, как и вышеприведенные, показали бы, что «историко-реалистическая» школа весьма односторонне и поверхностно исполнила взятую на себя задачу определения взаимной зависимости различных сторон общественной жизни. Но, повторяем, важен был прин­цип, принятый названною школой, ошибки же ее были делом весьма поправимым. Стоя на правильном пути исторического исследования, молодое поколение экономистов новой школы легко могло бы исправить ошибки своих предшественников.

Неудавшееся Рошеру, Гилъдебранду или Кнису могло бы быть исполнено Адольфом Вагнером, Лавелэ или фон Шелем, если бы сами общественные отношения западноевропейских обществ не помешали «историко-реалистической» школе сохранить то спокойное и беспри­страстное отношение к предмету исследований, которое, как мы ви­дели, характеризовало Рикардо и его последователей. А они именно помешали ей в этом, приняв совершенно новое направление.

Это новое направление в истории западноевропейских обществен­ных отношений, роковое для «историкореалистической» школы и бур­жуазной экономии вообще, выражается двумя словами: *рабочий вопрос.*

### VI

Эпоха, предшествующая возникновению «историкореалистической» школы в Германии, может быть названа, с точки зрения экономиче­ской истории общества, эпохой споров между защитниками свободной торговли и сторонниками покровительственного тарифа. Эти разногла­сия вызваны были к жизни, — как справедливо полагает Книс, — «разде­лением внутри третьего сословия, сделавшегося господствующим со времени революции, противоположностью интересов промышленного и торгового слоев, выразившеюся в девизах борющихся партий: покрови­тельственном тарифе с одной стороны, свободной торговле — с другой».

Но это разделение интересов внутри названного сословия не поме­шало усилению его господства и влияния ни в самой Германии, ни в других более передовых странах Западной Европы. Буржуазия нахо­дилась тогда в восходящей части кривой своего движения по всемирноисторической сцене. В Германии в то время не было еще и зачатков рабочего движения, в других странах оно ограничивалось незначитель­ными вспышками и частными проявлениями неудовольствия рабочих той или другой местности, того или другого патрона.

Но малопомалу эти частные вспышки неудовольствия стали при­нимать более общий характер. Во Франции разражается восстание лионских ткачей, в Англии начинается движение чартистов, и в «сумасшедшем» 1848 году, когда буржуазия только что готовилась отдохнуть на лаврах своей окончательной победы над реакционными партиями, рабочий вопрос отравляет ее торжество и настоятельно тре­бует своего разрешения. Он становится злобою дня в республиканской Франции, его влияние сказывается на всех сторонах ее политической и духовной жизни. Из наступательного положения, которого держалась буржуазия по отношению к высшим сословиям, ей приходится стать в оборонительное — по отношению к пролетариату. Кровавое июньское столкновение не могло, разумеется, разрешить противоречия интересов этих двух классов. Оно повело лишь к усилению существовавшего между ними антагонизма.

Торжество буржуазии куплено было, — как писал Маркс в июле того же года,—«исчезновением всех иллюзий февральской революции, разложением старой республиканской партии, разделением французской нации на две враждебные друг другу нации: нацию имущих и нацию работников».

Но дело не кончилось антагонизмом общественных классов. По­двигаясь вперед с возрастающей быстротою, развитие капитализма обнаруживало все новые и новые темные стороны этого способа произ­водства. Промышленные и финансовые кризисы принимали все более широкие размеры, и каждый новый кризис оставлял далеко за собою все предшествующие по громадности причиненных им убытков. От этого бича страдало не одно только четвертое сословие, не и сама буржуазия, к бедствиям которой западноевропейские парламенты, составленные из ее представителей, относились уже с гораздо большим вниманием. Каждый раз, когда разражался кризис и гг. финансистами и предпри­нимателями овладевала паника, еще более ухудшавшая и без того рас­строенное положение дел, в парламентах поднималась тревога. Произ­носились речи, издавались декреты, государство старалось восстановить кредит, оживить упавшую торговлю. Но так как, говоря словами того же Маркса, нет законодательного собрания, нет короля, который мог бы крикнуть «стой» всемирному промышленному кризису, то буржуазные государственные деятели оказывали очень немного помощи буржуа-предпринимателям.

«Временное стеснение», — как назвал сэр Роберт Пиль кризис 1847 года, — стало периодическим. И эта периодически возвращающаяся болезнь промышленных обществ приводила к удивительным противо­речиям. Товары переполняли магазины и склады и продавались за ничто, между тем как большинство населения, рабочие, оставшиеся без занятий именно потому, что рынки были переполнены, терпели невероят­ную нужду и угрожали общественному спокойствию. Так оправдыва­лись слова Фурье, — «в цивилизации бедность рождается из самого изо­билия». С другой стороны, эта «рождающаяся из самого изобилия» бед­ность рабочих классов вредно отзывалась на состоянии рынков. «Не уменьшайте благосостояния низших классов, — советовал Кенэ в своих «Правилах»[[31]](#footnote-31), — потому что они не будут иметь возможности содей­ствовать потреблению». Но каждый капиталист, стремясь увеличить свою прибыль, тем самым необходимо должен был понижать заработ­ную плату, т. е. уменьшать покупательную силу рабочих и ограничи­вать «потребление» внутри страны.

Все это, вместе взятое, создавало такое положение дел, над кото­рым задумывались люди самых различных направлений, самого проти­воположного образа мыслей. В 1850 г. бывший прусский министр земле­делия Карл Родбертус-Ягецов следующим образом охарактеризовал его в своих «Письмах к Кирхману»: «Пауперизм и торговые кризисы — та­ковы, стало быть, жертвы, которыми заплатило общество за свою сво­боду. Новые правовые учреждения освободили его от прежних цепей, оно вступило в обладание всеми своими производительными силами; механика и химия отдали в его распоряжение силы природы, кредит подает надежду на устранение других препятствий; словом, материаль­ные условия, необходимые для того, чтобы свободное общество сделать также и счастливым, находятся налицо, — а между тем, смотрите, новое бедствие заняло место старого бесправия. Рабочие классы, которые прежде приносились в жертву юридической привилегии, отданы во власть привилегии фактической, и эта фактическая привилегия обращается, по временам, против самих привилегированных. Вместе с ростом на­ционального богатства растет обеднение рабочих классов; чтобы вос­препятствовать удлинению рабочего дня, является надобность в спе­циальных законах; наконец, численный состав рабочего класса увели­чивается в пропорции большей, чем численность всех остальных клас­сов общества».

Так смотрел на современные ему отношения человек, который го­ворил, что его теории составляют лишь последовательный вывод из «введенного в науку Смитом и еще глубже обоснованного Рикардо уче­ния о ценности». Как же отразились они на развитии «историко-реа­листической» школы?

После 1848 года в экономической литературе всей западной Евро­пы замечается двойственное течение, вызванное обрисованным выше историческим развитием общества. Представители одного направления продолжали восхвалять преимущества теперь уже господствовавшего «естественного порядка» и отрицать противоположность интересов предпринимателей и рабочих. Экономические побасенки Бастиа могут считаться типическим литературным выражением этого «гармониче­ского» направления. Экономисты другого оттенка, желавшие «быть более чем софистами и сикофантами господствующих классов, стара­лись примирить политическую экономию капитала с недавно еще быв­шими в пренебрежении требованиями пролетариата»[[32]](#footnote-32). К этому напра­влению принадлежал известный русским читателям Дж.Ст. Милль. Ученые этого лагеря признавали, что не все идет к лучшему в капита­листическом обществе; они понимали, что обеднение рабочих классов грозит серьезными замешательствами западноевропейским государ­ствам, и старались найти меры, которыми можно было бы предупредить дальнейшее развитие пауперизма. В этих попытках им пришлось отка­заться от многих из положений их предшественников.

В числе выброшенных за борт заповедей старой школы было зна­менитое правило «laissez faire, laissez passer». Государственное вмеша­тельство признавалось не только невредным, но даже необходимым для правильного и спокойного развития общества.

«Историко-реалистическая» школа, с самого своего возникновения отрицательно относившаяся к учениям школы свободной торговли, не могла, разумеется, примкнуть к первому из выше указанных направле­ний, не могла ожидать исцеления очевидных для всех общественных недугов от применения никогда не разделявшихся ею принципов государственного невмешательства. Тем более, что сами события заставили западноевропейские правительства выйти из нейтрального положения по вопросу об отношениях работодателей к рабочим. Пришлось ввести законы, регулирующие эти отношения, ограничить женский и детский труд и даже продолжительность рабочего дня взрослых работников. «Историко-реалистическая» школа находила в этом полное оправдание своего учения об «относительности» догматов классической экономии. К этому присоединилось еще и то обстоятельство, что бессилие софиз­мов «гармонического направления» слишком уже бросалось в глаза, и негодность «научных» положений Бастиа, совершенная безосновательность его розовых взглядов были окончательно разоблачены его про­тивниками.

Оставался другой способ соглашения общественных противоречий. Эклектизм Джона Стюарта Милля как нельзя более совпадал с при­нятым «историко-реалистической» школой направлением. Молодые отпрыски этой школы, названные впоследствии «катедер-социалистами», не только не восставали против реформаторских тенденций английского философа, но многие пошли гораздо далее егопо этому пути.

Английский ученый всетаки был духовным сыном экономистов-классиков, учеником Смита, Мальтуса и Рикардо. Он не мог и не хотел отказаться от основных научных положений своих предшественников. Теории ценности, ренты, распределения и заработной платы Рикардо, учение о народонаселении Мальтуса — служили фундаментом экономических воззрений Милля, исходным пунктом всех его исследований. «Историко-реалистическая» школа, напротив, была давно уже свободна от «британских преданий». Ее не связывали ни установившиеся приемы и догматы классической экономии, ни авторитет того или другого из ее представителей. В своем реформаторском рвении молодое поко­ление экономистов «историко-реалистического» направления решилось подвергнуть критике все положения «манчестерцев», начать сызнова постройку всего здания экономической науки.

Насколько удалось им это смелое предприятие, читатель увидит в следующих главах.

### VII.

«Новая политическая экономия, — говорит Эмиль де Лавелэ, — иначе чем старая понимает основания, метод, задачу и выводы науки. Ка­тедер-социалисты исходят из совершенно иной точки отправления, чем ортодоксальные экономисты»[[33]](#footnote-33). Прежде всего, разумеется, это раз­личие сказывается по вопросу о роли и значении государства в эконо­мической жизни народа. «Экономисты новой школы не питают по отно­шению к государству того ужаса, который заставлял их предшествен­ников называть государство то язвою, то необходимым злом. Для них, напротив, государство — представитель национального единства — является органом высшего права, орудием справедливости. Эманация живых сил и духовных стремлений страны, государство обязано бла­гоприятствовать ее развитию во всех направлениях. Как это показы­вает история, оно есть могущественнейший фактор цивилизации и про­гресса»[[34]](#footnote-34).

С своей стороны, немецкий последователь историко-реалистической школы, др Мориц Мейер, находит, что «государство, как стоящая выше частных интересов сила, обязано активно вмешиваться в борьбу интересов повсюду, где она угрожает благу общества»[[35]](#footnote-35).

«Как воплощение чувства общественности, государство должно по­полнять вытекающие из эгоизма недостатки и несовершенства эконо­мической жизни»[[36]](#footnote-36).

Вопрос о значении государства в экономической и вообще культур­ной деятельности нации до такой степени важен для оценки существую­щих в обществе потребностей и стремлений, что мы позволим себе остановить внимание читателя на том решении этого вопроса, которое заключается в вышеприведенных выписках. «Государство является органом высшего права, орудием справедливости»... «воплощением чув­ства общественности». Все это не только очень хорошо оказано, но и знакомо, вероятно, читателю из сочинений писателей, не имевших ни­чего общего с историкореалистической школою. Впрочем, не все. Многое из того, что было ясно под пером этих писателей, стало темным и сомнительным в редакции «новых» экономистов. Известно, что «исто­рия показывает» часто именно то, что людям хочется в ней увидеть. Нельзя поэтому ограничиваться бессодержательными ссылками на исто­рию вообще, нужно было несколько подробнее выяснить и доказать вы­шеприведенные мысли, составляющее, по мнению самого Лавелэ, су­щественный пункт разногласия «старой» и «новой» школ. Нужно было внимательнее рассмотреть вопрос о том, при каких обстоятельствах и в каких случаях государство является и являлось «фактором циви­лизации и прогресса». Нам кажется, что такое служение делу про­гресса со стороны государства было далеко не непрерывным. Нельзя же, например, признать, что римское государство являлось «могущественней­шим фактором цивилизации и прогресса» в то время, когда оно обру­шивалось преследованиями на первых христиан. Не мешало бы также несколько вразумительнее выразиться о «высшем праве» и «справедли­вости», «органом и орудием» которою является государство. Едва ли современный европеец признает, что римское, построенное на рабстве государство служило «орудием справедливости». Вообще, по вопросу о «высшем праве» и «справедливости» нужно остановиться на чемни­будь одном. Или разбираемые нами авторы должны признать, что вплоть до современного, основанного на наемном труде буржуазного государства все предшествовавшие формы государственной организации, как покоившиеся на рабстве и крепостничестве, были вопиющим нару­шением «справедливости» и отрицанием «высшего права». В таком слу­чае они должны признать, что «история показывает» совершенно про­тивоположное тому, что видит в ней Лавелэ. Или они должны согла­ситься, что «высшее право» и «справедливость», как понятия вполне относительные, имеют для современного европейца совершенно другое содержание, чем имели они, например, для Аристотеля или Платона, то есть что можно говорить лишь о свойственном той или другой эпохе понятии о «высшем праве» и т. д., а не о «праве» и «справедливости» вообще, без всякого отношения к месту и времени. Историко-реалистическои школе, так восстающей против «абсолютных» положений и законов старой школы, едва ли позволительно было бы не признавать «относительности» самых понятий о «праве» и «справедливости». А раз признана эта относительность, немудрено припомнить и то обстоятель­ство, которое «история показывает» нам с такой наглядностью, что но­вые нравственные учения, новые понятия о «высшем праве» и «спра­ведливости» не сразу прокладывали себе пути в сознание всего общества и не сразу же государство становилось их «органом» и «орудием». Христианство, напр., добилось этого путем долгой и тяжелой борьбы с язычеством. Как обострялась по временам эта борьба, можно видеть хотя бы из знаменитых «факелов Нерона».

В конце концов, новые учения действительно делали государство своим «органом» и «орудием», но это было тогда, когда известная часть общества видела в них выражение удобнейшего для себя обществен­ного строя и находила в себе достаточно силы и энергии для их за­щиты. Отсюда следует, что государство не всегда являлось «орудием» современной ему идеи «высшего права», но лишь при известных усло­виях. Поэтому и в настоящее время можно ожидать этого от западно­европейских государств только условно, а вовсе не во всех возможных комбинациях общественных сил.

Этото и забывают или, по крайней мере, недостаточно оттеняют экономисты «новой школы». Они делают при этом ошибку, подобную ими же указанной ошибке рикардосмитовской школы. Еще Лист упре­кал английскую школу в том, что она не видела никаких промежуточ­ных звеньев между индивидуумом и человечеством, между частным хозяйством и хозяйством всего культурного мира, которое представлялось ей не более, как суммою индивидуальных экономических предприятий. Лист и историкореалистическая школа утверждали, что между индивидуумом и человечеством стоит *государство,* как самостоятельный и живой экономический организм. Этому коллективному целому они приписывали различные свойства, признавали и признают за ним раз­личные обязанности. Но нам кажется, что они до тех пор не выйдут из области бессодержательных фраз о «цивилизации и прогрессе», «праве и справедливости», пока не поведут своего анализа еще далее и не увидят, что коллективное целое — государство — далеко не предста­вляется однородным. Напротив, в каждое данное время оно составляется из нескольких слоев, из нескольких сословий или классов, интересы ко­торых стоят в большем или меньшем взаимном противоречии. Другими словами, между индивидуумом и государством стоит класс, положением которого определяется, в значительной степени, и положение индивидуума, его отношение к государству и отношение государства к нему. Если за подтверждением нашей мысли мы обратимся к тому, что «показывает история», то увидим, что только новейшее, так называе­мое *правовое* государство является юридически бессословным. Во всех же предшествовавших формах государственной организации разделение индивидуумов на касты, классы или сословия находило свое выражение в весьма определенных и недвусмысленных юридических формах. Но юридическая бессословность правового государства не мешает фактиче­скому его разделению на классы имущих и неимущих, предпринимате­лей и рабочих, буржуа и пролетариев. Экономическая зависимость одного из этих классов от другого отражается и в политической жизни западноевропейских государств. Писатель, который возвел в теорию, примиряющую и водворяющую справедливость миссию государства, Лоренц фон Штейн, признает, что экономическая зависимость одних от других ведет к тому, что высшие классы стремятся захватить в свои руки все пружины государственного управления, и создает в политиче­ской жизни «порядок зависимости неимущих от имущих». Этот поря­док зависимости передается, по мнению Штейна, от родителей к детям; переход же из одного класса в другой все более затрудняется, по мере того, как экономическисамостоятельная деятельность, с развитием крупной промышленности, требует все большего и большего запаса средств.

Ввиду этого явившегося с первых же шагов истории факта подраз­деления общества на классы, стоящие в различных отношениях вза­имной зависимости, неудивительно, что понятия о «высшем праве» и «справедливости» бывают по временам различны на различных ступенях общественной лестницы.

Каждая составная часть общества стремится устроиться посвоему, каждый класс отстаивает или стремится завоевать наивыгоднейшие для него условия существования. И нужно сознаться, что «орган высшего права» — государство — находилось бы в большом затруднении, какой из рекомендуемых ему видов «справедливости» должно осуществить оно в данное время, если бы только оно действительно существовало как нечто стоящее вне экономической иерархии классов и совершенно не­зависимое от их интересов и стремлений. Но в томто и дело, что в каждый данный момент исторического развития организация государ­ства определялась отношением сил составных его частей. Если бы взаимное отношение этих сил оставалось неизменным, то и воплотив­шиеся в формах государственной организации идеи «права» и «справед­ливости» также не изменялись бы в своем содержании. Но история ни­когда не стоит на одном месте. Медленно и незаметно, но неуклонно и «неукоснительно» совершаются изменения в фактических отношениях сил различных общественных классов, пока, наконец, эти изменения не достиг­нут известной степени интенсивности. Но раз необходимая степень этих изменений достигнута — и только когда она достигнута — государственная организация в свою очередь подвергается переустройству, становится во­площением новых идей и принципов. История третьего сословия может служить наглядным доказательством всего вышесказанного. Эта же исто­рия может убедить читателя, что буржуазия совершила бы самоубийство, если бы в период своей юности, в то время, когда еще только стреми­лась быть «чемнибудь», она пришла к тем же взглядам, которые проповедует ныне Лавелэ с голоса историкореалистической школы. Она и доныне осталась бы «ничем», если бы, проникнувшись убеждением, что государство есть «орган высшего права», в бездействии ожидала осуще­ствления своих идеалов от феодального государства. Но такая ошибка возможна только в теории, в голове того или другого «ученого» или хотя бы целой когорты «ученых» известного направления. Уроки же практической жизни слишком дорого оплачиваются человечеством, чтобы оно могло забыть известное изречение — «в борьбе обретешь ты право свое». Третье сословие никогда не забывало этой истины, и только благодаря неутомимой, многовековой борьбе могло оно сбро­сить иго феодализма. Как бы по иронии судьбы, именно *историко-реа­листическая* школа и забыла поучительную историю этой борьбы. Мы говорили уже выше и еще вернемся к вопросу о причинах, обусловив­ших недостаточно критическое отношение историко-реалистической школы к предметам ее исследований. Теперь же, отметивши основную ошибку этой школы, состоящую в игнорировании повсюду отражающе­гося в политике расчленения общества на классы, мы перейдем к оценке других упреков, направляемых «новой политической экономией» по адресу ненавистного ей «манчестерства».

### VIII.

В основании всех учений школы Смита — Рикардо лежало, как известно, то принятое еще физиократами положение, что в «естественном порядке», который они рекомендовали взамен феодальномеркантильного, каждый индивидуум, преследуя цель личного своего обогащения, способствует в то же время возрастанию благосостояния всей нации и каждого из ее членов. В «естественном порядке» солидарность должна была родиться из самого эгоизма, и такого рода солидарность естественно казалась самой прочной и ненарушимой. Не более полустолетия нужно было, чтобы поставить вне всякого сомнения ту истину, что в капиталистиче­ском обществе не только обогащение одного индивидуума, но даже ко­лоссальное возрастание богатства целого общественного класса ужи­вается с обеднением большинства населения. С тридцатых годов нынешнего столетия вышеприведенное положение смитовской школы подвер­галось таким ожесточенным нападкам, что историко-реалистической школе не нужно было особенного мужества, чтобы атаковать этот раз­рушенный бастион воздвигнутой старою школою крепости. И она дей­ствительно не замедлила напасть с этой стороны на «манчестерцев», но и здесь осталась верна своей обычной тактике, свойства которой имеют очень мало общего с строгим и последовательным научным анализом.

«Без сомнения, — говорит Лавелэ от имени «новой политической экономии», — человек преследует свои интересы. Но не один, а не­сколько двигателей влияют на его душу и регулируют его действия. Ря­дом с эгоизмом существует еще чувство общественности, Gemeinsinn, выражающееся в образовании семьи, общины, государства. Человек не походит на животное, которое знает лишь удовлетворение своих нужд; он — существо нравственное, умеющее повиноваться долгу и под влиянием религиозного или философского убеждения жертвующее часто удовлетворением своих потребностей, благосостоянием, самою жизнью — родине, человечеству, истине, богу. Ошибочно поэтому основывать целый ряд истин на том афоризме, что человек действует лишь под влия­нием одного двигателя — личного интереса» (стр. 5).

Как и о всех почти положениях новой школы, по поводу этих слов Лавелэ приходится сказать, что с ними можно согласиться, но только с оговорками. Притом оговорок этих требуется так много, что заклю­чающаяся в приведенных его словах доля истины теряет всякое значение в массе запутанных и противоречивых положений.

Люди, впервые ополчившиеся на смитовскую школу, были вполне правы, утверждая, что эгоизм не только не приносит тех золотых гор, которые насулили за него экономисты, но, напротив, порождает целый ряд бедствий, угрожающих общественному спокойствию. Но, указывая на эти бедствия, первые критики «естественного порядка» не думали ограничиться указанием на то, что в человеке, кроме эгоизма, суще­ствуют еще альтруистические побуждения. Они понимали, что если бы при данных общественных отношениях альтруизм мог служить достаточным противовесом человеческому эгоизму, то он предупредил *бы* ими же указанную общественную неурядицу, совершенно независимо от того, признает или отрицает его влияние известная часть писателей. Не могло же им придти в голову, что альтруизм не вмешивается в междучеловеческие отношения и не смягчает их темных сторон лишь потому, что экономисты оказывали до сих пор исключительное внима­ние его антагонизму — эгоизму. Они утверждали, напротив, что альтруистичекие побуждения человеческой души не находят себе места в системе существующих экономических отношений и не найдут его, пока будут существовать эти отношения. В силу этого убеждения они требо­вали изменений в современном им экономическом строе общества и пред­лагали целый ряд проектов новых общественных отношений. Положим, в большинстве случаев проекты эти были наивны и неосуществимы, но исходная точка рассуждений их авторов — необходимость радикального изменения условий, в которые поставлена экономическая деятельность человека; эта точка зрения была и остается безупречной, так как по­строенная на конкуренции система частных хозяйств, действительно, ведет к самой ожесточенной борьбе за существование, вызывает и вос­питывает в человеке самые эгоистические инстинкты.

Не так рассуждают экономисты этической школы. Они надеются, повидимому, что ряд помещенных в их трактатах похвальных отзывов об альтруизме разбудит дремавшее до сих пор в душе современного европейца чувство общественности, и это чувство уврачует все социаль­ные недуги. Правда, оставаясь в сфере общих рассуждений, они еще признают, что довольствоваться одною проповедью невозможно. «Нужно, — говорит Лавелэ, — подавлять эгоизм, а не давать ему свобод­ного поприща: в этом заключается прежде всего задача морали, затем государства — органа справедливости». Но и государство не всемогуще и не может из ничего сделать чтолибо. «Подавить эгоизм» оно может только рядом целесообразных мероприятий. Какие же меры рекомен­дуют «государству — органу справедливости» бельгийский профессор и вся вообще историкореалистическая школа? Трудно дать сколькони­будь определенный ответ на этот неизбежный вопрос. Наш «этический» экономист, с такой важностью утверждавший, что «новая политическая экономия» умеет отличать «осуществимые реформы» от утопий, слиш­ком, повидимому, увлекся преследованием этих последних «шаг за ша­гом» и позабыл указать хоть на одну из «осуществимых», по его мнению, реформ. В его весьма почтенной по объему книге есть целая глава, посвященная роскоши, по отношению к которой он является неприми­римым и громит ее во всех ее проявлениях. Но в этой роли мелкобуржуазного проповедника он выступает «миссионером морали», а не ре­форматоров. «Христианство право, — восклицает он: — богатство нала­гает на человека известные обязанности, richesse oblige. Te, которым достается чистый доход страны, должны употреблять свой избыток не на утончение своих материальных наслаждений или возбуждение нездо­ровых инстинктов тщеславия и гордости, но на дела общественной пользы, как это уже сделали многие американские граждане и европей­ские монархи». И едва читатель успевает придти в себя, едва успевает он отереть слезу умиления, как профессорпроповедник перескаки­вает от Иоанна Златоуста к Вольтеру и начинает возражать самому себе. «Как сказал еще Вольтер, не речи проповедников, не рассуждения экономистов заставят исчезнуть роскошь, — заявляет он, — а медленный и постоянный прогресс учреждений и законов». Остается только пожа­леть, что эти слова Вольтера так поздно пришли на память нашему автору. Вспомни он их ранее, он не написал бы 59 страниц «рассужде­ний» о роскоши и, вероятно, с большею подробностью указал бы «изме­нения в законах и учреждениях», способные, по его мнению, уничто­жить ненавистное ему явление. Но этого не случилось, и читателю при­ходится довольствоваться тирадами вроде следующих: «Не забудем, что все античные демократии погибли в междоусобиях. Та же опасность является перед нами и проявляется иногда в ужасных катастрофах... Ни один писатель не понял лучше Аристотеля ужасную проблему, вызывае­мую учреждением демократического режима. В своей замечательной книге, «Политике», он в одно и то же время указывает и опасность и лекарство. Опасность происходит от неравенства, лекарство состоит в распространении собственности. Когда каждый отец семейства сде­лается собственником маленького поля, дома, акции, облигации, ренты, не­чего будет более бояться социальной революции. Нужно, следовательно, сообщать трудящимся классам с детства и в школе привычку к сбере­жению; сделать насколько возможно легким приобретение собствен­ности; отменить те законы, которые приводят к ее концентрации в не­многих руках, и, наоборот, установить такие, которые сделали бы ее доступной самому большому числу людей. Что касается до богатых классов, то они обязаны содействовать этому освободительному движению. Прилежание, любовь к полям, простота жизни, высокая нрав­ственная и умственная культура — такие примеры нужно показывать народу» (стр. 480—481).

Помимо сомнительной параллели между древним, рабовладельче­ским, и современным, буржуазным, обществом, в этой тираде заслуживает внимания неопределенность выражений, в которых Лавелэ рекомендует свои «осуществимые реформы». Какие законы «способствуют кон­центрации собственности в немногих руках», какие «делают ее доступ­ной самому большому числу людей», — об этом «новый экономист» не говорит ни слова, а между тем

Das ist des Pudels Kern.

Судя по репутации Лавелэ, приобретенной им книгою о «Перво­бытной собственности», читатель мог бы, пожалуй, предположить, что наш автор имеет в виду общинное землевладение и производительные ассоциации, земледельческие и промышленные. Но такое предположение было бы ошибочным. Лавелэ вообще совершенно безнадежно смотрит на поземельную общину. «Менее чем через полстолетия, — говорит он, — когда железные дороги и новейшая промышленность разовьют богат­ство южных славян, прежнее равенство уступит место антагонизму между трудом и капиталом, как в наших западных странах... Тенденции настоящего времени оказываются смертельными для деревенских об­щин». Что касается производительных ассоциаций, то пользу их и осу­ществимость Лавелэ признает тоже с весьма большими оговорками. «Государственные ссуды — гибель рабочих товариществ... это факт кон­статированный: деньги, ссуженные государством, приносят несчастье». Это положение могло бы привести в восторг любого из «манчестерцев». Оказывается, что во многих, по крайней мере, практических случаях «новая» школа вовсе не так уже радикально расходится со «старой» и не менее последней «испытывает ужас» перед государственным вмеша­тельством. Но чем же объясняется приведенный выше «констатированный факт»? «Тот, кто не сумеет скопить капитала сбережением, окажется еще менее способным сохранить его, употребляя его в дело. Именно бла­годаря стараниям накопить необходимый для их предприятия капитал члены товарищества приобретут коммерческую опытность, нужную для обеспечения их успеха» (стр. 138—139).

Таким образом, мы снова приходим к «сбережению», которое одно, повидимому, и в состоянии совершить обещанные нам чудеса, в виде «дома, акций, облигаций», принадлежащих «каждому отцу семейства». Как известно, Бастиа, «компрометировавший, по мнению Лавелэ, за­щиту общественного порядка», не говорил ничего, что могло бы идти вразрез с этой безобидной программой «нового экономиста».

Если, обсуждая вопрос о сбережении, как о панацее общественных зол, читатель вспомнит о законе заработной платы Тюрго — Рикардо, то этим он докажет только свое незнакомство с учениями историкореа­листической школы, по мнению которой закон этот — не более, как грубая ошибка «манчестерцев». «Большая часть современных экономи­стов, — жалуется Лавелэ, — считает влияния, регулирующие заработную плату, естественными законами, действие которых неотразимо, как действие законов физических явлений... Но это совершенно ошибочная точка зрения. Конечно, законы, регулирующие заработную плату являются «естественным» следствием данной общественной организа­ции, существующих нравов и привычек, составляющих результат исто­рии. Но факты и учреждения, следствием которых являются эти законы, суть факты, проистекающие из свободной воли человека. Создавшие их люди могут и изменить их, как они уже не раз делали в течение столе­тий, и тогда «естественные» следствия будут другие... Мы подчинены эгоистическим законам, но мы сами создаем законы общественные».

Оставим пока в стороне вопрос о том, каким образом «реализм» новой школы привел ее к отрицанию законосообразности общественных явлений и к установлению зависимости замечаемых в общественной ор­ганизации изменений лишь «от свободной воли человека». Укажем, также лишь мимоходом, на то, что наш экономистреалист смешал юриспруденцию с философией истории, писанные законы общества с за­конами, управляющими историческим развитием этого общества. Лю­дям, воображающим, что им удалось указать хоть некоторые законы не из тех, которые «мы *создаем* сами», а из числа тех, под влиянием кото­рых мы *создаемся* сами, этим людям после замечательного открытия Лавелэ оставалось бы только воскликнуть словами Фауста:

Da steh nich nun,

der arme Thor,

Und bin so klug,

als wie zuvor.

К счастью, мы можем утешить их, напомнивши им, что есть, по крайней мере, один «констатированный факт», не зависящий от «сво­бодной воли человека», а именно: «деньги, ссуженные государством, при­носят несчастье»... рабочим товариществам, конечно, а не крупным ак­ционерным компаниям. И, довольствуясь этим «фактом», посмотрим, при каких обстоятельствах могло бы измениться, по мнению Лавелэ, действие «железного и жестокого закона» заработной платы.

Бельгийский профессор охотно признает, что уровень заработной платы не может надолго *опуститься* ниже минимума, необходимого для удовлетворения самых насущных потребностей рабочего. «С этой сто­роны железный закон составляет несомненную действительность» (стр. 118). Что же касается до другой стороны этого закона, по которой уровень рабочей платы не может *возвыситься* надолго над указанным минимумом, то Лавелэ оспаривает ее самым энергическим образом. «Че­ловек — существе свободное, — философствует он, — которое поступает не всегда одинаково и поведение которого изменяется его верованиями и надеждами, господствующими идеями и окружающими его учрежде­ниями. Возвышение благосостояния рабочего причинило бы понижение заработной платы лишь в том случае, если бы он воспользовался этим возвышением исключительно для увеличения количества своих детей. Но это следствие до такой степени далеко от того, чтобы быть необхо­димым, что большая часть замеченных фактов скорее заставляет ожи­дать противоположных результатов. Бедность уносит много детей, но она же вызывает и большее количество рождений. Напротив, благосо­стояние, вызывая предусмотрительность, уменьшает плодовитость бра­ков и самое их число» (стр. 116). За доказательствами наш автор, разумеется, в карман не лезет. Население Ирландии бедствует и в то же время размножается чрезвычайно быстро. Во Франции, Швейцарии и Норвегии, где «собственность находится в большом числе рук и благо­состояние распределено более равномерно», население возрастает всего медленнее. Отсюда он делает двоякого рода вывод. Во-первых, если бы рабочие имели маленькие участки земли, то, вопреки мнению Милля, утверждавшего, что это повело бы лишь к уменьшению платы за труд, благосостояние рабочих могло бы подняться надолго, так как оно по­вело бы за собою лишь уменьшение числа рождений и ослабление кон­куренции «рук» вследствие уменьшения их предложения. Во-вторых, если бы предприниматели строили для своих рабочих дома, которые они затем отдавали бы по дешевой цене в наем этим же рабочим, то это не дало бы возможности предпринимателям понизить заработную плату, потому что предложение рук не возросло бы вследствие этого. Но и этим не довольствуется последователь «новой политической экономии». «Пусть делают еще лучше, — увлекается он, — пусть строят большие отели, где рабочие нашли бы помещение, пищу и честные развлечения за плату меньше трети или даже четверти их ежедневного заработка. Благодаря этому они... могли бы сберечь маленький капитал, усвоили бы лучшие привычки и, таким образом, не спешили бы бросаться на­встречу бедствиям слишком ранней женитьбы. Приближаясь к буржуа­зии, они усвоили бы инстинкты порядка и осторожности» (стр. 12).

Итак, «железный закон» оказывается, по исследованиям эконо­мистов «новой» школы, вовсе не «жестоким», как называли его Род­бертус и Лассаль. Его скорее следовало бы назвать «золотым» законом, так как он, во всяком случае, гарантирует рабочему удовлетворение минимума его потребностей и в то же время нисколько не препятствует какому угодно возвышению заработной платы над этим минимумом. Та­кова уж предустановленная гармония, которую, напомним мы Лавелэ, усмотрел впервые все тот же, без вины обиженный им, Бастиа.

Мориц Мейер смотрит на дело именно с этой точки зрения, причем, со свойственною немцам основательностью, идет даже далее. «Не­понятно, — удивляется он, — что же жестокого в том, что рабочий посто­янно имеет лишь столько, сколько ему, сообразно его привычкам, тре­буется. Много ли вообще людей, доходы которых превосходили бы их обычные потребности? Можно даже сказать, что в высших классах ме­нее значительное уменьшение благосостояния причиняет сравнительно большие страдания, чем в среде живущих в лишениях рабочих. Если же доход и потребности почти соответствуют друг другу, то в этом еще нет никакой «железной жестокости»[[37]](#footnote-37).

Совершенно справедливо! А когда, по совету Лавелэ, фабриканты понастроят для рабочих отели, в которых стоимость «помещения, пищи и честных развлечений» будет равняться «трети или даже четверти (последнеето уж, пожалуй, чересчур щедро!) их ежедневного заработка», то «доход» пролетария будет, по меньшей мере, вдвое превос­ходить его потребности, и рабочий класс будет «относительно» вдвое богаче всех других классов общества. Вследствие этого для него так же будет вдвое легче и сбережение, покупка «дома, акции, облигации, ма­ленького поля» и т. п., и т. п. Все это ясно, как божий день. «Никогда ни один геометр не чертил на песке более очевидного доказательства», как говорит Эразм Роттердамский в своей «Похвале глупости».

Одна только мысль может омрачить радужное настроение, овладе­вающее всяким «истинным другом человечества» ввиду открытий «но­вых» экономистов. Известно, что «сухой и жестокий, как силлогизм», Карл Маркс также занимался вопросом о заработной плате и о законе народонаселения, и этот «сухой» человек пришел к несколько другим выводам по этому поводу. «Накопление капитала, — говорит он[[38]](#footnote-38), — которое первоначально является количественным его увеличением, всегда сопровождается качественным изменением его состава, непрерыв­ным возрастанием постоянной его части на счет переменной... При возрастающем накоплении отношение постоянного капитала к перемен­ному из 1 : 1, как оно было, положим, сначала, переходит к 2 : 1, 3 : 1, 4 : 1, 5 : 1, 7 : 1 и т. д., так что, при возрастании капитала, вместо поло­вины общей его суммы, на рабочую плату расходуется 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 и т. д.; напротив, на средства производства затрачивается, соответ­ственно этому, 2/3, 3/4*,* 4/5*,* 5/6*,* 7/8 и т. д. Так как спрос на труд опреде­ляется не общим размером капитала, а переменной его частью, то он прогрессивно падает вместе с ростом общей суммы капитала, вместо того, чтобы возрастать в одинаковой с ней прогрессии». «Это вместе с ростом капитала возрастающее уменьшение переменной его части, — уменьшение, совершающееся быстрее роста самого капитала, предста­вляется, с другой стороны, наоборот, более быстрым возрастанием рабочего населения, сравнительно с переменным капиталом... Капиталистическое накопление порождает, и притом прямо пропорционально своей энергии и объему, относительное, то есть для средних размеров произ­водства ненужное, а потому и излишнее рабочее население или перенаселение»[[39]](#footnote-39).

Это «относительно излишнее» рабочее население является самым опасным конкурентом занятых уже в производстве рабочих и пони­жает заработную плату до последних пределов возможности. Но и это не все. Благодаря успехам крупной машинной промышленности, труд фабричного работника настолько упрощается, что женщины и дети с успехом конкурируют с мужчинами, и относительное перенаселение является, таким образом, еще скорее, достигает еще большей интенсивности. «Относительно излишний» рабочий, разумеется, не в состоя­нии требовать от фабриканта «отеля», где «за плату, меньшую трети или даже четверти его ежедневного заработка», он мог бы иметь «поме­щение, пищу и честные развлечения». У него простонапросто нет ни заработка, ни «пищи», ни «развлечений». Закон относительного пере­населения «приковывает работника к капиталу прочнее, чем цепи Вул­кана приковывали Прометея к скале». Он вызывает «соответствующее накоплению капитала — накопление нищеты»[[40]](#footnote-40).

И этойто «нищете» реалистическая политическая экономия, — ко­торая хочет наблюдать действительность и отказывается строить свои выводы на «нескольких абстрактных положениях», этомуто классу, все большая часть которого становится «излишней», «новые экономисты», проповедники «морали» и «альтруизма», советуют сбережение, как единственное средство выхода из того ужасного положения, в котором над ним, как Дамоклов меч, постоянно висят безработица и все связан­ные с нею ужасы бесприютности, голодания и беспомощного скиталь­чества!

«Приблизившись к буржуазии, вы приобретете инстинкты порядка и осторожности, перестанете размножаться с такою гибельною для вас быстротою, и заработная плата не будет падать вследствие вашей вза­имной конкуренции». Но весь ход развития капитализма идет как раз обратным путем: не рабочие «приближаются к буржуазии», а наобо­рот — ряды самой буржуазии постоянно редеют, и все большее количе­ство когдато самостоятельных производителей переходит в действую­щую или «резервную» армию пролетариата. Каким же чудом могут рабочие привести в исполнение благоразумные советы Лавелэ? Как достигнут они обетованной страны, где у них разовьются инстинкты «порядка и осторожности», где они могут, говоря словами поэта:

...auf Erden schon

Das Himmelreich errichten!

Да и в том ли вообще дело, что «благосостояние, вызывая пред­усмотрительность, уменьшает плодовитость браков и самое их число»? Может ли уменьшение цифры рождений ослабить конкуренцию рабочих, понижающую их заработную плату до крайнего минимума?

Оставим Маркса, книга которого кажется «новым» экономистам поражающим примером злоупотребления дедуктивным методом», и возьмем сочинение писателя, охотно цитируемого самим Лавелэ, хотя и непонятого этим последним.

«Не говоря уже о том, что новорожденные выйдут на рынок кон­курировать со взрослыми только спустя долгое время после их появле­ния на свет, количество рождений не дает верного масштаба ни для возрастания народонаселения, ни для его здоровья, — говорит Фр. Лангэ[[41]](#footnote-41). — В настоящее время во всей науке о народонаселении может считаться основным то положение, что более быстрое размножение на­рода или известной его части вызывается не увеличением его плодо­витости, но уменьшением смертности. Так, например, несомненно, что в большей части европейских государств евреи размножаются быстрее, чем христианское население. Но несомненно и то, что это происходит не потому, что в еврейских браках родится большее количество детей, но скорее потому, что смертность менее в среде евреев, что большее число новорожденных достигает зрелого возраста, и что вообще средняя продолжительность жизни у евреев более. В свою очередь, эта меньшая смертность является следствием того, что евреям удалось, без тяжкого физического труда, создать себе более удобное жизненное положение, в котором и уход за детьми поставлен в более благоприятные условия».

Выходит, что если бы рабочие, под влиянием улучшившегося, по щучьему велению, заработка, «приблизились к буржуазии» и приобрели инстинкты умеренности и аккуратности, то от этого увеличилась бы средняя продолжительность их жизни, большее число их детей достигло бы зрелого возраста, и население, а вместе с ним и конкуренция «рук» на рабочем рынке возрастали бы пропорционально улучшению жизненной обстановки рабочего. Конкуренция, в свою очередь, нейтрали­зовала бы причины, вызвавшие повышение рабочей платы, и последняя снова упала бы до уровня самых насущных потребностей трудящихся. Чтобы все это произошло, вовсе не нужно, чтобы «рабочие воспользо­вались увеличением заработка исключительно для увеличения количе­ства своих детей». Нужно только, чтобы они не доводили рекомендуе­мой им «новой школой» умеренности и аккуратности до бесчеловечного и невероятного скряжничества. Нужно, чтобы они не отказывали себе и своим детям в более, чем прежде, питательной пище, чтобы они не по­скупились позвать доктора в случае болезни когонибудь из их домаш­них, чтобы они одевались сами и одевали своих детей более сообразно требованиям климата и т. п., и т. п. И они сделают это, вопреки всем причитаниям «эстетических» экономистов, насколько позволит им воз­вышение их заработка. Но в таком случае население будет возрастать, хотя бы даже количество рождений и уменьшилось, если бы рабочие и «не спешили бросаться навстречу слишком ранней женитьбе». Увеличе­ние средней продолжительности жизни с избытком возместит уменьшение числа рождений. С своей стороны, и капиталисты не откажутся извлечь выгоду из увеличившегося предложения рабочих рук. Несмотря на присущий человеку Gemeinsinn, предприниматели очень хорошо по­нимают, что прибыль их обратно пропорциональна величине заработ­ной платы и, не будучи себе врагами, стараются и будут стараться, пока останутся на свете предприниматели в нынешнем смысле этого слова, понизить заработок пролетария, насколько это допускается условиями рабочего рынка. Железный закон оказывается, значит, «несомненной действительностью» не с одной только приятной своей стороны, с та­ким глубокомыслием и проницательностью оцененной дром Морицем Мейером. Следовательно, и все построенные на отрицании этого закона рецепты бельгийского профессора падают, как карточные домики, ока­зываются именно тою «утопией», которую почтенный экономист обе­щался преследовать «шаг за шагом». Этим мы избавляемся от необхо­димости оценивать внутренний смысл этих рецептов, экономическое значение предложений вроде того, чтобы «каждый отец семейства сделался собственником маленького поля, дома, акции, облигации» и т. п. Ввиду невозможности для рабочих сделаться такими собствен­никами, мы можем оставить в стороне вопрос о том, в каком положе­нии стоит в настоящее время мелкая поземельная собственность в про­мышленно развитых странах Западной Европы, какая участь постигает мелких капиталистов ввиду все более обнаруживающейся концентрации капиталов и т. д., ит. д. Остановившись слишком уже долгое время на «реалистических» теориях Лавелэ, мы не оказали до сих пор должного внимания немецкому представителю «новой политической экономии», дру Морицу Мейеру, о взгляде которого на закон заработной платы мы считаем нелишним сказать несколько слов.

Но так как почтенный доктор целиком списал свои размышления о заработной плате со страниц книги Луйо Брентано «Das Arbeits­verhältnis gemäss dem heutigen Recht», при чем обнаружил большую сдержанность по отношению к вносным знакам, то мы с вами, читатель, предпочтем «оригинал списку» и обратимся к самому Луйо Брентано.

В противность Лавелэ Брентано находит, что отрицать существование железного закона заработной платы «нелепо», так как он при­знается всеми «серьезными экономистами». Но, как мы видели уже из рассуждений его последователя Мейера, он не находит в этом за­коне ничего «жестокого». Он думает, напротив, что экономическую основу рабочего вопроса нужно искать не в том, что рабочая плата ко­леблется около насущных потребностей рабочего, подобно тому, как цена других товаров колеблется около издержек их производства, не в том, что труд... является в виде товара. Она лежит, напротив, в том, что труд не во всех отношениях сходен с другими товарами, что рабочий не стоит в положении продавца других товаров[[42]](#footnote-42).

Исходя из этого, в свою очередь заимствованного им у Торнтона положения, Луйо Брентано предлагает ряд мер, которые могли бы, по его мнению, оказать рабочим ту великую услугу, что они поставили бы их в положение «продавцов других товаров». Одним из самых действи­тельных средств достижения этого завидного положения он считает организацию рабочих союзов, опираясь на которые рабочий мог бы до­говариваться с капиталистом на более выгодных для себя условиях[[43]](#footnote-43). Затем он проектирует устройство особых палат для соглашения рабочих с предпринимателями в случаях споров о повышении или понижении заработной платы. Решениям этих палат, основанным на данном состоя­нии рынка, он предлагает присвоить обязательную силу и т. д.

Из всего этого читатель может видеть, что, советуя рабочим всеми зависящими от них средствами стремиться к повышению их заработка, этот последователь историкореалистической школы не находит нуж­ным и возможным устранение продажи человеческого труда на рынке; по его мнению, не в этом лежит «основа рабочего вопроса». В этом от­ношении он сходится с большинством экономистов новой школы, кото­рые, стремясь тем или другим способом смягчить антагонизм «важней­ших факторов производства», труда и капитала, в то же время стара­ются сохранить во всей ее целости капиталистическую систему произ­водства. Они, говоря словами Маркса, хотят «буржуазии без пролета­риата» или, по крайней мере, пролетариата без пауперизма, что не­возможно уже в силу приведенного выше закона относительного пере­населения. Вот почему все подобного рода проекты страдают неразре­шимым внутренним противоречием.

### IX.

Выше мы указывали на то, что воззрения Лавелэ на значение госу­дарственной помощи рабочим вовсе уже не так сильно расходятся со взглядами «манчестерцев», как этого можно было бы ожидать, судя по ожесточенным нападкам его на «старую школу». Ввиду этого могло бы показаться непонятным: в чем же собственно заключаются разногласия «старой» и «новой» школ? Но дело не замедлительно разъясниться, если мы припомним, что «старая школа» не ограничивалась рассуждениями о самопомощи и выгодах сбережения. Экономисты-классики разрабаты­вали учение о ценности, о ренте, распределении вообще и т. п. В этих вопросах историко-реалистическая школа расходится с ними уже го­раздо серьезнее. Здесь, по мнению, например, Лавелэ, ошибочна сама исходная точка классической экономии, которую составляла, как из­вестно, теория ценности. «Основное заблуждение Маркса, — говорит он по поводу «Капитала», — заключается в его понятии о ценности, изме­ряемой, по его мнению, трудом. Без сомнения, он сделал гораздо более вероятной теорию Смита и Рикардо, говоря, что стоимость предмета определяется количеством труда, «общественнонеобходимого» для его производства. Но даже таким образом дополненное, это учение ложно. Мы настаиваем на этом пункте, так как он имеет существенную важ­ность».

В этом случае Лавелэ высказывает взгляд, разделяемый всеми «серьезными экономистами» реалистической школы. Все они в большей или меньшей степени расходятся с учением о ценности Рикардо. Так, например, Гельд удивляется, каким образом «такой умный человек, как Родбертус», мог принимать теорию Рикардо. У него является даже по­дозрение, что «действительным намерением Родбертуса было подогреть недовольство рабочих и, заставивши их разорвать с либеральной буржуазией, воспользоваться этим в интересах крупных землевладель­цев»[[44]](#footnote-44)*.*

Германа Реслера также немало огорчает теория ценности Рикардо — Маркса. «Несчастная идея, что труд есть источник ценности, — мелан­холически замечает он, — делает невозможным возникновение правиль­ного учения о ценности». Даже наиболее выдающийся из всех катетерсоциалистов, Шеффлэ, не соглашается с принятым в классической эко­номии и дополненным Марксом взглядом на этот предмет. По его мне­нию, меновая ценность всякой вещи определяется не только необходи­мым для ее производства количеством труда, но и потребительною ее ценностью, которую имеет она в каждое данное время для покупщика (Gebrauchwertschätzung).

В чем же дело? Какая из этих двух сторон заблуждается в ре­шении этого действительно важного вопроса? И неужели классическая экономия не выработала даже правильного понятия о меновой (стои­мости) ценности, этого краеугольного камня всех рассуждений об эко­номических явлениях в обществе, богатство которого «является огром­ным скоплением товаров»?

Читателю известно, без сомнения, из каких посылок выводили свое учение о ценности экономистыклассики. Выслушаем теперь их про­тивников.

«Вот факты, — говорит Лавелэ, — доказывающие, что меновая цен­ность не пропорциональна труду. В один день охоты я убиваю козу, вы убиваете зайца. И заяц, и коза будут продуктом одного и того же уси­лия, в течение одного и того же времени; но будут ли они иметь оди­наковую меновую ценность? Нет: коза может служить мне пищей в течение пяти дней, заяц — в течение одного. Ценность (потребитель­ная?) первой будет в пять раз более ценности второго. Вино ШатоЛафит стоит по 15 франков за бутылку, вино соседнего холма стоит франк. И, однако, первое не требует вдвое большего труда, чем второе, и т. д., и т. д.; следовательно, меновая ценность непропорциональна труду».

Но чему же она в таком случае «пропорциональна»? «В действи­тельности меновая ценность проистекает из полезности, — отвечает Лавелэ. — К полезности нужно прибавить, как условие, определяющее ценность, редкость вещи... Однако, если ближе всмотреться, можно уви­деть, что редкость вещи есть одна из форм полезности» (?!).

Можно бы подумать, что наш реформатор экономической науки окончательно зарапортовался, утверждая, что «чем реже тот или дру­гой предмет, тем полезнее обладание им, но мы увидим ниже, о какой полезности он говорит, и хотя его рассуждения не выиграют ничего от этого разъяснения, но тем не менее нужно признать, что пункт логиче­ского грехопадения нашего автора лежит несколько далее.

Утверждая, что меновая ценность вещи, как товара, не зависит от «полезности» ее, как предмета потребления, экономисты-классики ссылались обыкновенно на воздух и воду, огромная «полезность» кото­рых не подлежит ни малейшему сомнению. Они говорили, что меновая ценность этих предметов, в том случае, когда для доставления их по­требителю не нужно никакого труда, равняется нулю. Если же для до­ставления потребителю этих «полезных вещей» нужна известная за­трата человеческого труда, как, напр., в случае необходимости устрой­ства вентиляторов, водопроводов и т. п., то ценность их, по учению классической экономии, равняется именно этому количеству труда, и только ему одному. Такое же рассуждение применялось «старыми» эко­номистами ко всем предметам, количество которых могло быть уве­личиваемо по произволу, с затратой, разумеется, больших или меньших «усилий». «Полезность» данной вещи, потребительная ее ценность являлась, таким образом, необходимым предположением для того, чтобы предмет мог иметь какоелибо хозяйственное значение, чтобы он мот явиться на товарном рынке. Но количества, в которых обменивался бы этот предмет на другие предметы, определялись бы, по мнению «старых» экономистов, относительными количествами труда, овеществленными в этих предметах. Лавелэ находит все вышеприведенные примеры и осно­ванные на них рассуждения в высшей степени ошибочными.

«Вот в чем заключается ошибка. Под водою в одном случае разумеют воду вообще, стихию, и в этом случае она имеет также огромную полезность, но она имеет также и величайшую ценность, потому что человек, заблудившийся в пустыне, отдал бы все за воду. Когда же говорят, что вода не имеет ценности, (то) разумеют известное количество воды, и в этом случае она обладает также очень малой полезностью. Что стоит ведро воды на берегу реки? Ничего, кроме труда, необходимого для того, чтобы почерпнуть его. На четвертом этаже оно будет стоить несколько сантимов, представляющих собою заработную плату водоноса. В Сахаре, для путешественника, который ни за какую цену не может получить его, оно будет стоить всех мил­лионов мира; ценность возрастает, таким образом, сообразно редкости и трудности воспроизведения. Следовательно, можно сказать, оставляя словам их обычный смысл, что предметы имеют тем более ценности, чем они полезнее, в том ли отношении, что они удовлетворяют суще­ствующей потребности, или в том, что они избавляют от необходимо­сти пожертвовать деньгами или усилиями, которые пришлось бы затра­тить для их воспроизведения» (стр. 87—89).

Читатель не посетует на нас за длинные и, в сущности, весьма скучные выписки, которые нам пришлось сделать, чтобы показать, как «критикуют» классическую экономию многие представители «новой школы», каким оружием они пытаются разбить основные положения учения Смита — Рикардо. В этом отношении рассуждения Лавелэ, как весьма характерные, заслуживают полного внимания не по внутренней своей «ценности» или «полезности», а потому, что ими определяется все научное значение по меньшей мере трех четвертей «новых эконо­мистов». Недаром же говорят, что учение о ценности может служить пробным камнем для определения достоинства данной экономической системы. Поэтому мы и позволим себе остановить внимание читателя на разборе вышеприведенных положений Лавелэ.

Конечно, он очень хорошо делает, восхваляя индуктивный метод и стремясь построить свое учение «на наблюдении действительности». Жаль только, что его старания не увенчиваются ни малейшим успехом. Его попытки перестроить «старую» теорию ценности не имеют ничего общего не только с «индуктивным методом», но и вообще с каким бы то ни было научным методом. Вся его «критика» основывается на двух — трех «фактах», взятых без всякой «критики» и без всякой оценки их, как экономических явлений. Затем на сцену выступает пустая и бессодержательная игра слов, основанная на самом вопиющем смеше­нии понятий и самой удивительной неспособности их разграничения. Все эти «зайцы» и «козы», «Шато-Лафит» и «вино соседнего холма», «вода, как стихия», и вода «в известном количестве», — все это при­вело бы в ужас самого Бастиа, который имел бы полное право заметить, что его сказочки, например, о «капитале и ренте» и остроумнее задуманы и вообще гораздо менее «компрометируют защиту порядка», чем «реалистические» измышления Лавелэ. Подумайте, в самом деле! «Я убиваю козу, вы убиваете зайца в один и тот же промежуток вре­мени; ценность первой будет в пять раз более ценности второго, потому что коза может служить пищею в течение пяти дней, заяц — в течение одного». Но, во-первых, где же и когда видано, чтобы потребность ка­питалистического общества в пище удовлетворялась тем же способом, как удовлетворяют ее краснокожие индейцы, то есть охотой? Что ста­лось бы со всею историко-реалистической школой, если бы профессор Лавелэ принужден был охотиться за козами, а почтенный Вильгельм Рошер, перед тем какидти на лекции, должен был бы «убивать зайцев», которые затем и «служили бы ему пищей» в течение одного дня каждый? Во-вторых, была ли бы какая-нибудь меновая ценность у уби­тых бельгийским профессором коз и подстреленных Рошером зайцев, если бы каждый из них питался продуктами своей охотничьей лов­кости, как это предположено в приведенном примере, где «я» питаюсь убитою «мною» козой, а «вы» — убитым «вами» зайцем? Как определить меновую ценность предметов, которые не обмениваются между собою ни непосредственно, то есть один на другой, ни посредством какого-либо третьего товара?

Но если бы — как ни нелепы такие «робинзонады» — между «мною» и «вами» установилось правильное разделение нашего охотничьего труда и обмен его продуктов, то произошло бы одно из двух. Или «я» дол­жен был бы платить «вам» за «зайца» «козой», если бы убить козу было всегда так же легко, как зайца, или «вы» прекратили бы охоту за «зайцами» и стали бы в свою очередь «убивать коз». Так как мы говорим о предметах, количество которых может быть увеличено по произволу, под условием лишь затраты определенного количества труда, то в «вашем» переходе от одного рода охоты к другому нет ничего выходящего за пределы нашего примера. Но «ваши» зайцы были «мне» необходимы, потому что иначе между нами не установилось бы пред­положенное разделение труда. Не получая их более от «вас», «я» дол­жен был бы сам охотиться за ними, примирившись с мыслью тратить по одному дню труда и на «козу» и на «зайца». Что же «я» выиграл бы, отказавшись обменивать продукт «моего» труда на продукт равного количества «вашего» труда? Не только ровно ничего, но еще и поте­рял бы, потому что прежнее разделение труда увеличивало его произ­водительность, а теперь, с прекращением этого разделения, и «заяц» и «коза» каждому из нас стоили бы уже не одного, а полутора или двух дней охоты. Увидевши, к чему привело «меня» учение о ценности исто­рикореалистических экономистов, «я» принужден был бы вернуться к воззрениям Адама Смита, учившего, что «труд есть истинный масштаб меновой ценности всех предметов»[[45]](#footnote-45). «Я» припомнил бы тогда, что Лавелэ и сам говорил что-то в этом роде, хотя и не сделал надлежа­щего вывода из своих посылок. «Что стоит ведро воды на берегу реки? Ничего, кроме труда, нужного, чтобы зачерпнуть его. На четвертом этаже оно будет стоить несколько сантимов, представляющих собою заработ­ную плату водоноса». Разве это не вариация на вышеприведенное по­ложение Смита? Вся разница лишь в том, что Смит, а тем более Ри­кардо, не отождествили бы меновой ценности предмета — в данном слу­чае воды — с рыночной ценою рабочей силы, то есть с «заработной пла­той водоноса». Такое смешение двух совершенно различных экономи­ческих категорий допускается только вульгарными экономистами «ста­рой школы», от родства с которыми напрасно открещиваются многие представители «новой политической экономии».

Но пойдем далее. На берегу реки ведро воды имеет меньшую цен­ность, чем на четвертом этаже, потому что во втором случае требуете более труда для доставки его потребителю. В Сахаре это ведро воды «будет стоить всех миллионов мира». «Оставляя словам их обычный смысл», Лавелэ приходит на этом основании к тому заключению, что предметы имеют тем более ценности, чем они полезнее. Для кого и для чего «полезнее»? Чем определяется у него понятие полезности?

Почему ведро воды «полезнее на четвертом этаже, чем на берегу реки, в Сахаре — «полезнее», чем на четвертом этаже? ведь «вода во­обще, как стихия», не приобрела новых качеств от того, что потре­битель ее взобрался на мансарду или «заблудился» впустыне. Потре­бительная стоимость ее, «полезность» ее для организма илидля хозяй­ства осталась, следовательно, неизменной. О каком же изменении «полезности» говорит наш «новый экономист»? «Ведро воды, — отвечает он, — полезнее на четвертом этаже, чем на берегу реки, в том от­ношении, что в первом случае воспроизведение его стоило бы дороже чем во втором; обладание им избавляет нас поэтому «от необходи­мости пожертвовать деньгами или усилиями большими, чем оказались *бы* они во втором случае». Как же велика эта разница пожертвований день­гами или усилиями? Она равняется ни более, ни менее, как разности меновой ценности одного и того же ведра воды, но перенесенного на различные расстояния. С возрастанием меновой ценности воды, доста­вляемой жильцам верхних этажей, возрастет и полезность для них тех ведер, которые уже находятся в их обладании. С понижением этой цен­ности упадет и «полезность» последних, потому что сделается меньше то «пожертвование деньгами или усилиями», от которого они изба­вляют своих обладателей. Оказывается, следовательно, что «полез­ность», о которой говорит Лавелэ, есть «полезность» совершенно осо­бого рода, не имеющая ничего общего с потребительною ценностью предмета. Эта «полезность» определяется не потребностями человече­ского организма, а потребностью мелкого буржуа быть уверенным в том, что ему не скоро еще придется расстаться с находящимися у него в кармане франками и сантимами. Эта «полезность» определяется, словом, по отношению к кошельку и равняется она меновой ценности предмета.

Мы пришли, таким образом, к следующему замечательному откры­тию. «Предметы имеют тем большую меновую стоимость, чем они полезнее», а полезны они тем более, чем большую меновую ценность они имеют. Вот что значит «оставлять словам их обычный смысл»! «Старая школа», с ее абстрактной теорией ценности, должна после этого считать себя окончательно похороненной. Злоумышленность Род­бертуса, целиком принимавшего эту «абстрактную» теорию, также мо­жет считаться доказанной!

Не Лавелэ не довольствуется, как мы видели, этим блестящим рас­суждением. Он дополняет его глубокомысленными соображениями о «воде, как стихии», имеющей «огромную ценность» (меновую?), и «воде в известном количестве», имеющей ценность очень малую, соображе­ниями, подкрепленными тем «констатированным фактом», что «человек, заблудившийся в пустыне, отдал бы все за воду». Затем, он по­стоянно отождествляет «денежные пожертвования», которых требует покупка известного предмета, с усилиями, которые пришлось бы сде­лать, чтобы «воспроизвести» самому этот предмет. Как будто плата за пароходный билет из Лондона в Нью-Йорк равняется или может равняться тому «пожертвованию усилиями», которое пришлось бы сделать, чтобы вплавь достигнуть Америки или переплыть океан в маленькой лодке! Автор «Первобытной собственности» постоянно забывает, что речь идет окапиталистическом обществе, в котором существует разделение труда и товарное производство. Далее следует нелепое определение меновой ценности или, как любит выражаться Лавелэ, «полез­ности» предмета (для кошелька его владельца) тем «количеством затрат и усилий», которых *не нужно* делать, благодаря обладанию этим предметом. Если взять все эти образчики «историко-реалистической» мудрости и полюбоваться их букетом во всем его грандиозном целом, то перед нами снова вырастает Фридрих Бастиа, на этот раз в самом лубочным издании, Одного взгляда на этот букет будет достаточно, чтобы ответить на поставленный вопрос: удалось ли «новой школе» заново перестроить воздвигнутое экономистами-классиками здание науки?

Что помешало экономистам «нового направления» выполнить взя­тую ими задачу? Каким образом, становясь в критическое отношение к «манчестерству», действительно совершенно уже отжившему, мно­гие, по крайней мере, представители «новой школы» только и сделали, что отказывались от всех серьезных приобретений классической эко­номии и дружно присоединились к хору вульгарных экономистов? Ответ на эти вопросы заключается в указанной выше борьбе классов в западноевропейском обществе. Эта борьба, заставившая европейские парламенты отказаться от политики невмешательства и издать ряд фабричных законов, окрасила собою весь ход как политической жизни, так и умственного развития Запада. В политике она заставила буржуа­зию отказаться от золотых грез ее юности о «свободе», равенстве и братстве» и привела ее в объятья военной диктатуры и исключительных законов, как это было во Франции и как это происходит ныне в Гер­мании. В области экономической науки она лишила ученых предста­вителей третьего сословия необходимых для научных исследований спо­койствия и беспристрастия.

Ввиду угрожающих движении пролетариата, «дело шло уже не о том, верна ли та или другая теорема, а о том, вредна или полезна, удобна или неудобна она для капитала»[[46]](#footnote-46)*.* То, что, вопреки завеща­ниям экономистовклассиков, вошло уже в житейскую практику, благодаря неотложным требованиям жизни, волей или неволей пришлось занести, под той или другой рубрикой, в свод «новой науки».

Так было с фабричным законодательством и переходом некото­рых отраслей народного хозяйства в ведение государства. И во имя этой научной санкции совершившемуся уже факту была объявлена война за­старелым «манчестерцам», которые в экономических отношениях конца XIX столетия хотели видеть то же, что видели их великие пред­шественники три четверти века тому назад. При этом нужно заметить, что борьба с «манчестерством» требовала со стороны экономистов «нового направления» скорее приятной военной прогулки, чем серьез­ной и трудной кампании. Критика «манчестерства» представляла собою вполне законченное целое на страницах сочинений Фурье, Сэн-Симона, Родбертуса и, главным образом, Маркса. Оставалось только черпать ее оттуда, разумеется, в благоразумных пропорциях и в не слишком силь­ных дозах. А между тем, благодаря этой борьбе чужим и умышленно притуплённым оружием, экономисты «историко-реалистической» школы приобретали симпатии всех «истинных друзей человечества», говоря проще — всех тех, которые, исходя из самых различных побуждений, требовали государственного вмешательства в слишком уже обострившуюся распрю между трудом и капиталом. Главное, же вовремя пред­принятые ученолитературные диверсии давали возможность скрыть неловкость положения, в которое ставили гг. экономистов беззаботная откровенность Смита и ученое прямодушие Рикардо. Мы уже знаем, что в трудах экономистовклассиков были серьезные исследования о ценности, распределении, заработной плате и т. п.

Неразвитое состояние междуклассовой борьбы позволяло авторам этих исследований оставаться на высоте бесстрастного отношения к предмету. Но когда вместе с развитием капиталистического производ­ства вышли наружу и свойственные капитализму противоречия, научные положения классической буржуазной экономии превратились в обвини­тельные пункты против буржуазного способа производства. Мы видели уже, как формулировал эти пункты продолжатель Смита и Рикардо, Карл Родбертус-Ягецов. Буржуазная наука обращалась, таким образом, против самой буржуазии. Экономистам историкореалистической школы оставалось выбирать одно из двух: остаться верными науке и тем са­мым отказаться от буржуазии или, наоборот, разрушить здание клас­сической экономии, чтобы под развалинами его похоронить противни­ков третьего сословия. «Ученые» à la Мориц Мейер и Лавелэ предпочли второй исход. Но мы видели уже, что разрушение грандиозных по­строек первых основателей науки оказалось не по плечу этим посред­ственностям. Несколькими обрушившимися камнями они лишь прида­вили самих себя, и придавили так сильно, что едва ли им уже удастся выбраться на дорогу серьезного научного исследования.

Так отомстила наука своим неверным жрецам и служителям.

## Экономическая теория Карла Родбертуса-Ягецова.

Судьба Родбертуса, как писателя, представляет собою довольно поучительное и, на первый взгляд, непонятное явление. Ученый, обла­давший огромною и разностороннею эрудицией, оригинальный и глу­бокомысленный экономический писатель, Родбертус не удостоился, однако, до самого последнего времени не только надлежащей оценки со стороны огромного большинства своих товарищей по науке, но, можно сказать, совершенно игнорировался ими. «Конечно, — говорит берлинский профессор Ад. Вагнер, — каждому экономисту в Германии известно имя Родбертуса и название главных его сочинений, о содер­жании которых каждый экономист также имеет хоть приблизительное понятие»[[47]](#footnote-47). Но дело в том, что Родбертус не принадлежит к числу писателей, по отношению к которым можно было бы довольствоваться «приблизительным понятием о содержании их сочинений». С самых пер­вых шагов своих в экономической литературе Родбертус является не популяризатором учений господствующей школы, даже не комментато­ром того или другого нового писателя. Он был оригинальным мысли­телем, прилагавшим новые пути в области науки, — одним из первых серьезных критиков классической экономии. Чтобы понять роль и зна­чение его теорий в истории политической экономии, необходимо было ознакомиться с ними из первых источников, т. е. из его сочинений. В особенности следовало сделать это немецким экономистам, главное достоинство которых заключается, как известно, в добросовестной и полной «Bücherkenntniss». Однако они довольствовались «приблизи­тельным» понятием об учениях Родбертуса, да и этим, более чем поверхностным, знанием делились с публикой весьма неохотно. Др Гум­пловиц, в своем «Rechtsstaat und Sozialismus», не без основания быть может, упрекает немецких ученых в том, что «многие из них умышлен­но обходили молчанием этого выдающегося экономиста».

Так продолжалось долго, очень долго, едва ли не до начала семи­десятых годов, когда отношение к Родбертусу, по крайней мере, части немецких экономистов радикально изменилось. С ним вошли в сно­шения и старались привлечь его к своему «социальнополитическому» союзу так называемые катедерсоциалисты; о нем заговорили, как о «самом оригинальном представителе экономического социализма», как о писателе, «стоящем выше Лассаля, Маркса и Энгельса». Так отзы­вается о нем, например, уже цитированный нами Ад. Вагнер. Разумеется, похвальные отзывы о писателе, подобном Родбертусу, не заключали бы в себе ничего удивительного, если бы дело не осложнялось несколькими довольно характерными обстоятельствами.

Во-первых, странно встречать горячих поклонников Родбертуса в среде молодого поколения той самой школы, «отцы» которой более всего заслужили упрек в «умышленном игнорировании» его учений. Ад. Вагнер и его сотоварищи по эйзенахскому союзу превозносят того самого экономиста, на которого Рошер и Карл Книс почти не обра­щали внимания. Но это было бы, как говорится, полбеды, если бы в научном миросозерцании катедер-социалистов теориям Родбертуса дей­ствительно отводилось сколько-нибудь видное место. На деле же ока­зывается, что отличительною чертою подобных Ад. Вагнеру поклонников «немецкого Рикардо» является полное их несогласие с учениями последнего. Сочиняемые ими панегирики Родбертусу нисколько не ме­шают им исповедывать теории, не имеющие ничего общего с его уче­нием. Это отлично сознавал и сам Родбертус, решительно отказавшийся пристать к эйзенахскому союзу катедер-социалистов. «Я убежден,— писал он тому же Ад. Вагнеру, — что из Эйзенаха ничего не выйдет: ромашкой нельзя даже облегчить, не только излечить социальный во­прос»... Не смущаясь таким строгим приговором «оригинальнейшего представителя экономического социализма», члены эизенахского союза продолжали и продолжают выдавать себя за горячих его поклонников, особенно в тех случаях, когда заходит речь о сравнительной оценке Родбертуса — с одной стороны и Карла Маркса — с другой.

С тем же рвением превозносят Родбертуса на счет Маркса и так называемые «социальные консерваторы» (sozialkonservativen), вроде Рудольфа Мейера, довольно известного в Германии автора книги о «борьбе четвертого сословия за свое освобождение».

Незнакомому с делом могло бы показаться, что теории Родбертуса представляют собою последнее «трезвенное слово» буржуазноюнкер­ской экономии, — слово, облеченное в ярко демократический наряд и потому оцененное по достоинству лишь в наше время заигрывания с народом даже самых закоснелых консерваторов. Однако такое пред­положение было бы совершенно ошибочно, так как причину странной перемены в отношении к Родбертусу консервативных и буржуазных писателей нужно искать не во внутреннем достоинстве его теорий. Она лежит в истории борьбы различных классов европейского общества, имевшей такое огромное влияние на развитие экономических учений. Различные перипетии этой борьбы отразились на литературной судьбе Родбертуса и обусловливали *то* или другое отношение к нему его уче­ных современников из среды «охранителей». Дело в том, что Родбертус с полным основанием может быть причислен к той блестящей, хотя и немногочисленной фаланге экономистов, которая украшается именами Маркса, Энгельса и Лассаля. Почти одновременно с двумя первыми из названных писателей выступил он на поприще экономической литера­туры и так же, как они, посвятил свои силы изучению вопроса о поло­жении и роли труда в современном обществе. Правда, «практические предложения» его далеко не были так радикальны, как стремления Маркса и Энгельса. Но теоретические основы этих «предложений» сильно противоречили учениям господствовавших школ и весьма близко подходили к учениям крайних партий. Лет двадцать тому назад одного этого было достаточно, чтобы вызвать негодование и высокомерное презрение патентованных экономистов. Родбертуса «замалчивали» тогда, как опасного и легкомысленного новатора.

Не так обстоит дело теперь. Уже со второй половины сороковых годов сделавшееся заметным новое направление в экономической науке окончательно сложилось ныне в стройную систему, самым полным выражением которой служит «Капитал». Автор его оказался воору­женным таким громадным количеством данных, обнаружил такую колоссальную ученость, что волейневолей приходилось с ним считаться. Но Маркс, как известно, не останавливался на «критике политической экономии». Последовательный до конца, он взялся за практическую деятельность и обнаружил при этом такие неприятные для буржуазии наклонности, что Родбертус, несмотря на всю свою ученую ересь, явился просто агнцем в сравнении с этим беспокойным человеком. Кроме того, и среда, к которой обращались Маркс и его последователи, к концу шестидесятых годов стала гораздо более восприимчивой к их пропо­веди, чем была она до февральской революции. Движение западноевропейского рабочего класса принимало все более и более грозный характер. Не дождавшись от буржуазии облегчения своего положения, пролетарии пришли к тому убеждению, что «освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих». Понятно, что «самопомощь», к которой стремились теперь рабочие, не имела ничего общего с «самопомощью», рекомендованной им, например, Шульце-Деличем. Тогдато вспомнили буржуазные экономисты, что гдето в Померании проживает, в своем имении, ученый, держащийся таких же, повидимому, как и Маркс, научных воззрений, но отличающийся гораздо более смирным нравом. Особенно привлекательным казалось для почтенных ученых то обстоятельство, что в политике Родбертус не только не разделял воз­зрений Маркса или Лассаля, но и прямо объявлял себя консерватором. Понятно, что в том затруднительном положении, в которое поставил экономистов автор «Капитала», Родбертус представлял для них настоя­щую находку. Он являлся противоядием, весьма полезным для рабочих, зараженных «лжеучениями» Маркса. Окончательного излечения теории Родбертуса, конечно, принести им не могли, потому что в сравнении с «любезно-верными» бисмарковскому режиму катедер-социалистами Родбертус всетаки, говоря его собственными словами, являлся «черною еретическою душою». Но упомянутый выше консерватизм Родбер­туса, считавшего вредной всякую политическую самодеятельность рабо­чего класса, делал его гораздо менее опасным для буржуазии, чем Маркса и его последователей. Кроме того, Родбертус, как это видно да пере­писки его с Лассалем, полагал, что окончательное осуществление его теорий возможно не ранее... пятисот лет. Дело откладывалось, следо­вательно, в такой долгий ящик, что ученая «ересь» нашего автора утра­чивала немалую долю своего практического значения. Оставались лишь ближайшие требования Родбертуса, представлявшие собою самую сла­бую часть его воззрений и тем охотнее выдвигавшиеся на первый план буржуазными экономистами, чем меньше нужно было остроумия для обнаружения их несостоятельности.

Таким образом, Родбертус являлся меньшим из двух почти неиз­бежных в настоящее время на Западе зол. И несомненно, что именно этому стечению обстоятельств обязан он тем вниманием, которое стали оказывать ему теперь катедер-социалисты. Тому, кто назвал бы наше объяснение невероятным, мы напомним прием, оказанный книге Кэри со стороны немецких «манчестерцев». Автору ее прощалось пристрастие его к покровительственному тарифу, — пристрастие, составляющее, как известно, смертный грех в глазах «манчестерцев». Его провозгласили великим экономистом единственно во внимание кзаслугам его по измышлению нового закона заработной платы, отличающегося весьма успокоительными свойствами.

Вообще, западноевропейские буржуазные экономисты находятся теперь далеко не в таком положении, чтобы их могла интересовать та или другая теория an und für sich. Решающее значение имеют в их глазах практические стремления авторов этих теорий и прежде всего разумеется, вопрос о политической самодеятельности рабочих классов. Писатель, выступающий против организации рабочих в особую поли­тическую партию, наверно приобретает симпатии буржуазных экономи­стов, какими бы теоретическими соображениями он при этом ни руко­водствовался.

Но если восторженные отзывы Ад. Вагнера о Родбертусе вызыва­ются побуждениями, имеющими очень мало общего с наукой, то это не уменьшает заслуг самого Родбертуса и не мешает ему занимать одно из самых видных мест среди экономических писателей XIX века. Ста­вить его «выше Маркса и Энгельса», конечно, невозможно. Учение его не может быть поставлено даже рядом с учением этих последних. Неверно также и то, что Родбертус, будто бы, *ранее* Маркса и Энгельса высказал те положения, которые легли потом в основу «Капитала». Первое сочинение Родбертуса, «Zur Erkenntnis unserer staatswirthschaftlichen Zustände», появилось в 1842 году. Менее чем через два года после этого начали выводить в Париже «Deutsch-Französische Jahr­bücher», издававшиеся Арнольдом Руге и Карлом Марксом. Печатав­шиеся в этом издании статьи Маркса и Энгельса вовсе не были повто­рением мыслей, высказанных в 1842 году Родбертусом. В них выража­лись, напротив, самостоятельные воззрения их авторов, во многих слу­чаях несогласные с учением Родбертуса. Мы не говорим уже о книге Энгельса «Lage der arbeitenden Klassen in England» (1845), о «Misère de la philosophie» (1847) Маркса и других сочинениях, в которых экономическая теория означенных авторов является уже в довольно законченном виде. Факты не позволяют, следовательно, утверждать, что автор «Капитала» заимствовал основные свои положения у Родбертуса. Они показывают, что Родбертус, Маркс и Энгельс одновременно высту­пили на литературное поприще, и что первый из названных писателей с одной стороны, Энгельс и Маркс с другой, уже с начала сороковых годов держались самостоятельных, имевших, правда, много общего, но во многом и расходившихся теорий.

Но, оставляя в стороне излишние притязания, к которым был склонен иногда и сам Родбертус[[48]](#footnote-48), за ним всетаки, повторяем, нужно при­знать огромные заслуги в экономической науке. Сочинения его должны возбуждать тем больший интерес всякого беспристрастного человека, чем более склонности к злоупотреблению его именем обнаруживают люди той или другой партии. Учение его сохранило весь свой интерес до настоящего времени, так как многие положения, общие ему с Марксом и Энгельсом, и поныне еще вызывают ожесточенные нападки буржуазных экономистов. Еще большее значение имеют его сочинения для тех, кто желал бы ознакомиться с историей экономических учений во второй половине XIX столетия. Сравнительная оценка теорий Род­бертуса с одной стороны и учений «историко-реалистической школы» с другой как нельзя более ясно показывает, кто внес действительно но­вый вклад в науку и кто ограничился пережевыванием, перекраиванием и даже порчей оставшегося от экономистовклассиков наследства.

Ввиду этого нельзя не порадоваться появлению перевода на рус­ский язык историко-экономических исследований Родбертуса. С своей стороны, мы считаем нелишним представить читателям изложение эко­номической доктрины этого замечательного писателя.

### I.

Прежде чем перейти к экономическому учению Родбертуса, мы позволим себе остановить внимание читателя на его жизни и практи­ческой деятельности. На это потребуется тем менее времени, что, во-первых, сколько-нибудь полной его биографии до сих пор не суще­ствует, а во-вторых, большая часть жизни Родбертуса протекла в мир­ной тиши ученого кабинета, вдали от политических тревог и волнений. Естественно поэтому, что биография Родбертуса и не могла бы возбуждать в. читателе того живого интереса, который вызывается одной какой-нибудь «страницей из жизни Лассаля».

Карл Родбертус-Ягецов родился в 1805 году в Померании, учился сначала во Фридланде, потом в Геттингене и в 1827 году, окончивши университетский курс, поступил на службу. Но уже в начале тридцатых годов он вышел в отставку и всецело посвятил себя научным занятиям, к поземельным собственникам и «капиталистам», т. е. людям, доход которых образуется из процентов с отданного взаймы денежного капитала. По его мнению, эти способы получения дохода, без всякого труда, были главной причиной большей части общественных бедствий настоя­щего времени. Фон Кирхман совершенно упускал из виду, что прибыль предпринимателя представляет собою такой же неоплаченный труд работника, как и поземельная рента или процент на денежный капи­тал. Ответом на эти статьи фон Кирхмана и явились *«Социальные письма»* Родбертуса, в которых последний противопоставил взглядам Кирхмана и других писателей свою собственную теорию ренты и про­мышленных кризисов. «Sociale Briefe an von Kirchmann», вышедшие в 1850—51 годах, содержат уже более полное и подробное изложение экономического учения Родбертуса, чем первый труд его «Zur Егkenntnis etc.». Вместе с тем, они являются последним сочинением на­шего автора, посвященным общим вопросам народного хозяйства. Правда, немецкая литература обогатилась с тех пор еще не одним тру­дом, вышедшим изпод пера Родбертуса. Но это были специальные со­чинения, посвященные частным практическим вопросам и лишь мимо­ходом затрагивавшие основные теоремы экономической науки. К этой категории относятся исследования Родбертуса о поземельном кредите, из которых главное, «Zur Erklärung und Abhülfe der heutigen Kre­ditnoth des Grundbesitzes», вышло в 1869 году в Иене. К тому же периоду литературной деятельности нашего автора относятся две неболь­шие брошюры его по рабочему вопросу. Когда Лассаль начал свою аги­тацию в среде немецких рабочих, комитет «Рабочего союза» обратился к автору *«Социальных писем»* с просьбой вступить в возникающую ор­ганизацию или, по крайней мере, помочь ей советами и указаниями. Лассаль с самым горячим сочувствием относился к мысли привлечь на сторону «Союза» Родбертуса, «Письма» которого он, по его собствен­ным словам, прочел еще в 1853 г. «с величайшим вниманием». Родбер­тус уступил письменным настояниям Лассаля и переслал ему для напечатания свое *«Открытое письмо комитету немецкого рабочего союза»,* которое и появилось в 1863 году в Лейпциге. Но желанного Лассалем полного соглашения между ним и Родбертусом всетаки не произошло. Последний не принял активного участия в начинавшемся рабочем дви­жении и, несмотря на неоднократные просьбы Лассаля, не появился даже ни на одном рабочем собрании. Родбертуса смущала выработанная Лас­салем программа союза, в которой требование всеобщего избиратель­ного права занимало первое место. Лассаль добивался его, как известно, с целью образования особой политической партии рабочих, что, как мы уже сказали выше, казалось Родбертусу не только излишним, но даже и вредным. Это и был важнейший пункт разногласия, о который разбились все стремления этих замечательных людей к взаимному сближению.

С большим сочувствием отнесся Родбертус к «социально-консер­вативному» изданию «Berliner Revue», издававшемуся Рудольфом Мейером. Родбертус не отказался сотрудничать в нем и написал для него несколько статей. Самою интересною из них является статья «О нормальном рабочем дне», вышедшая в 1871 году отдельной брошюрой. Родбертус излагает в ней подробнее, чем в каком-либо другом своем сочинении, «практические предложения» свои, для которых главные труды его являлись лишь «необходимой теоретической основой». Он доказывает в ней необходимость таких законодательных постановле­ний, которые позволили бы рабочим «воспользоваться увеличением производительности национального труда», не нарушая в то же время «прав поземельных собственников и капиталистов». Для оценки экономиче­ской доктрины нашего автора брошюра эта имеет очень важное зна­чение. Нам придется поэтому еще неоднократно возвращаться к ней в нашем дальнейшем изложении. Теперь же мы скажем несколько слов о другого рода работах Родбертуса, тесно связанных с экономическим его исследованием.

Как увидит читатель ив следующих глав нашей статьи, одною из характернейших особенностей учения Родбертуса было убеждение его в том, что существующие ныне формы общественно-экономических от­ношений нельзя рассматривать, как постоянные и неизменные, возник­шие с первых же шагов экономической деятельности человека и безусловно для нее необходимые. Свойственный капиталистическому об­ществу способ производства, обмена и распределения представлялся ему не более как *«исторической категорией»,* созданной экономической необходимостью и носящей в самой себе задатки дальнейшего своего развития и преобразования. Естественно было поэтому, что исследова­ния Родбертуса не ограничивались экономической жизнью современ­ного общества. Ему необходимо было обратиться к изучению истории, чтобы открыть в ней законы, под влиянием которых совершаются обра­зование и смена общественно-экономических формаций. И он не только хорошо ознакомился с экономической историей цивилизованных наро­дов, но и внес несколько ценных вкладов в литературу этого предмета. С 1864 г. он стал помещать свои исследования по политической экономии классической древности в «Jahrbücher für Nationale-Oekonomie und Statistik», издававшихся Бруно Гильдебрандом. Первым из этих историко-экономических трудов Родбертуса был переведенный ныне на рус­ский язык опыт об «адскрипциях, инквилинах и колонах». За ним по­следовали статьи «об истории римского трибута со времен Августа», «о стоимости денег в древнем мире» и т. д. И хотя работы этого рода далеко не составляют главной ученой заслуги Родбертуса, но историки оказались более внимательными ктрудам не принадлежащего к их цеху писателя, чем экономисты. Исторические исследования Родбертуса еще при жизни его обратили на себя серьезное внимание специалистов. По словам Ад. Вагнера, исследования эти «высоко ценятся историками-спе­циалистами». Хотя некоторые его заключения, — например, по вопросу о возникновении колоната, — до сих пор еще подвергаются оспариванию, но даже те, которые пришли по этому вопросу к другим выводам, отно­сятся к трудам его с величайшим уважением. Даже такой выдающийся знаток римских древностей, как Л. Фридлендер, сознается, что ему в его исследованиях о римском народонаселении «оказывали существенную услугу подробные письменные указания Родбертуса». Ад. Вагнер совершенно верно прибавляет, что Родбертус имел «почти перед всеми без исключения историками и филологами огромное преимущество, за­ключавшееся в основательном знакомстве с политической экономией и сельскохозяйственной техникой». Благодаря своим обширным экономи­ческим познаниям он умел поставить изучаемое им историческое явление на реальную почву развития общественного хозяйства. Таким образом, он сразу выходил из заколдованного круга туманных гипотез о «народном духе» и влиянии этого «духа» на политическую и правовую историю общества. Для примера сошлемся на вопрос о причинах перехода раб­ства в ту форму зависимости, которая известна под именем крепостни­чества. Известно, что вопрос этот давно уже привлекал к себе внима­ние историков, при чем одни приписывали названный переход влиянию христианства, другие апеллировали к особым свойствам «германского духа». Первым противоречили несомненные исторические факты[[49]](#footnote-49), вто­рые ничем не могли подтвердить свою мысль. Родбертус взглянул на дело с точки зрения экономической, и оно, — по крайней мере, по отноше­нию к римским хозяйственным условиям, — представилось всовершенно ясном свете. В своем исследовании об «адскрипциях, инквилинах и колонах» он показал, что для «интенсивного, отличного от римского спо­соба обработки полей необходима была непосредственная выгода самого возделывателя, а отсюда — участие владельца и, вследствие этого, только мелкое хозяйство. При наших теперешних общественных условиях это повело бы к образованию свободного класса арендаторов мелких участ­ков с платою аренды деньгами. «Но одних вольноотпущенников было недостаточно для образования такого класса, да к тому же существовали уже кроме того рабы, которые приставлены были к лавкам и мелочным лавочкам на условиях, аналогичных с полевыми инститорами. Что же касается денежной аренды, то, повидимому, и начато было с нее, но по тем же причинам, которые лежали в общих условиях древнего нату­рального хозяйства, и вследствие обесценения денег, от нее должны были отказаться. Словом, мелкое хозяйство и мелкая аренда, вынужден­ные обстоятельствами, видоизменились под влиянием существовавших условий так, что в арендаторы брались, главнейшим образом, рабы и аренда уплачивалась при этом натурой». Затем, под влиянием госу­дарственных потребностей, «законодательство прикрепило колонов к земле», и рабы-арендаторы превратились в крепостных, плативших «вместо прежней произвольной аренды только канон»[[50]](#footnote-50).

Это исследование Родбертуса показывает, что и решение более общего вопроса о причинах исчезновения рабства и замены его крепост­ною зависимостью в средневековой Европе может быть найдено лишь в хозяйственных условиях того времени. И в этом смысле «Исследова­ния в области национальной экономии классической древности» имеют большое философско-историческое значение.

Но если до сих пор редки экономисты, рассматривающие хозяй­ственный строй современной Европы как преходящую «историческую категорию», то нужно сознаться, что еще реже встречаются историки, отводящие экономическому «фактору» надлежащее место в своих обоб­щениях. Неудивительно поэтому, что интерес, возбужденный историче­скими исследователями Родбертуса в среде специалистов, ограничивался пределами того или другого из разработанных им вопросов. Его ори­гинальные философско-исторические взгляды, — по свидетельству того же Ад. Вагнера, — «обратили на себя гораздо менее внимания», а еще того менее встретили они согласия и одобрения.

Сотрудничество Родбертуса в гильдебрандовских «Jahrbücher» продолжалось до 1874 года, к которому относится последнее напеча­танное историческое его исследование «Bedenken gegen den von den Topographen Rom's angenommenen Tract der Aurelianischen Mauer». История не отвлекла его, однако, от главного предмета его занятий — общих вопросов политической экономии. В 1875 году вышло новое издание двух последних *«Писем»* его к Кирхману. В предисловии к этому изданию Родбертус говорит, что он «намеревался прибавить к этим двум письмам новый отдел, который рассматривал бы логическую сущность главных национально-экономических понятий в различных исторических, одна другую сменяющих формах их развития».

В этом отделе он имел в виду «провести резкую черту различия между логическими и историческими категориями во всех частях эко­номической науки, главным же образом в учении о капитале». Но ему не удалось исполнить это намерение. Продолжительная болезнь, к кото­рой присоединилась еще потеря глаза, помешала ему докончить этот написанный уже начерно отдел ко времени печатания второго издания его «Социальных писем к Кирхману», а через пять месяцев по выходе в свет этого издания Родбертуса уже не стало. Он скончался в своем имении Ягецове 6го декабря 1875 года от воспаления легких. Один из друзей покойного, биограф и издатель фон Тюнена, Шумахер-Цархлин взял на себя приведение в порядок и издание оставшегося после него «литературного наследства». А оно оказалось очень ценным. В бумагах Родбертуса было найдено введение к «Социальным письмам», написанное для предполагавшегося его первого «Письма», не вошедшего в издание 1875 года. Почти совершенно оконченным и готовым к печати оказа­лось новое, четвертое «Письмо», представляющее собою, очевидно, тот «новый отдел», который Родбертус считал необходимым для закончен­ного изложения своих воззрений. Этому отделу был посвящен послед­ний остаток сил семидесятилетнего ученого. Не далее как за две недели до своей смерти Родбертус писал Ад. Вагнеру, что его «приезд в Берлин замедляется все более и более», так как он «непременно хочет окон­чить» свое продолжение «Социальных писем к Кирхману». Это сочине­ние появилось в печати под именем «Капитала» после того, как написаны были эти статьи. Оно не дает, однако, ничего нового для характе­ристики экономических взглядов Родбертуса. Из других рукописей за­служивает особенного интереса незаконченное еще исследование о рас­пределении национального дохода в Англии. Это исследование должно было служить иллюстрацией к учению Родбертуса о распределении до­хода между различными классами современного общества.

Весьма интересным дополнением к литературным трудам Родбер­туса может служить переписка со многими из его современников. По замечанию Ад. Вагнера, «Родбертус был одним из тех немногих, кото­рые пишут теперь длинные ученые письма». Он охотно вступал в пере­писку со всеми, обращавшими на себя его внимание оригинальностью своих воззрений или готовностью содействовать осуществлению его «практических предложений». Мы говорили уже выше, что в самый горячий период агитации Лассаля Родбертус состоял с ним в переписке, касавшейся как практической злобы дня, так и общих вопросов эконо­мии и права. Письма Лассаля к Родбертусу, найденные в бумагах послед­него, вышли потом отдельным изданием. Нельзя не пожалеть, что до сих пор не найдены письма Родбертуса к Лассалю, и, таким образом, знакомство наше с перепискою этих двух замечательных людей остается односторонним. Но зато уже несколько лет тому назад обна­родованы письма Родбертуса к Ад. Вагнеру и архитектору Петерсу в Шверине[[51]](#footnote-51)*.* В профессоре Вагнере он надеялся, повидимому, встретить экономиста, способного усвоить более широкое миросозерцание, чем то, на котором остановились молодые отпрыски «историко-реалистической школы» — катедер-социалисты. Впоследствии он убедился, повидимому, в неосновательности своих ожиданий, как об этом можно судить, по крайней мере, по письму его к тому же Ад. Вагнеру, от 20го июня 1872 года. Мы приведем отрывок из этого письма, так как сам Ад. Ваг­нер справедливо замечает, что «оно характеризует принципиальное отношение Родбертуса к социальному вопросу». Речь идет в этом письме о задуманном в 1872 году плане объединения экономистов «антиманче­стерского» направления. «Я не могу выразить вам, — писал по этому по­воду Родбертус, — до какой степени счастливою кажется мне мысль об объединении людей науки против этого псевдонаучного направления (т. е. «манчестерства»)... Но, признаюсь вам, я не думаю, чтобы ваше объединение могло и должно было идти дальше единодушного протеста против манчестерства. В социальном вопросе вы не согласитесь и не можете согласиться между собою. В лучшем случае вы должны будете выработать, чтобы не разойтись, род мозаичной программы (eine Art Mosaikprogramm), в которую каждый положит свой камень. Но я думаю, что это имело бы свои большие неудобства и скорее усыпило бы, чем возбудило внимание общества». Поэтому Родбертус просит при выра­ботке программы «обойтись без его участия». Он прибавляет, что уча­стие повело бы ко взаимным неудовольствиям. «При вашем благосклон­ном мнении обо мне вы совершенно упустили из виду, каким злостным еретиком, какою черною национально-экономическою душою являюсь я в вашей науке... Поэтому многие приняли бы меня за «Бебеля высшего сорта», и вы сами были бы, в конце концов, не рады, что связались со мною по поводу социального вопроса». И действительно, членам эйзе­нахского союза вообще, а профессору Ад. Вагнеру в особенности, Род­бертус был далеко не товарищ. При всем своем «радикальном консер­ватизме», он никогда не стал бы провозглашать бисмарковский способ решения рабочего вопроса квинтэссенцией социально-реформаторской мудрости, как это делал Ад. Вагнер во время последних выборов в рейхстаг.

Что касается архитектора Петерса, то он заинтересовал Родбер­туса составлением «Вспомогательных таблиц» для определения «нор­мального рабочего дня». Таблицы эти имели огромное значение для «практических предложений» автора «Социальных писем к Кирхману», и нам придется еще коснуться их, равно как и возникшей по поводу их переписки, когда мы будем говорить о предложенных Родбертусом спо­собах решения социального вопроса.

Переходя теперь к изложению его экономической теории, мы на­помним читателю, что нашему автору не удалось издать ни одного сочинения, которое могло бы назваться полным и систематическим из­ложением его учения. Нам придется, поэтому, пользоваться как различными литературными произведениями, так и ученою перепискою Родбертуса. При этом мы можем не стесняться в нашем изложении соображениями о времени выхода того или другого из его сочинений. Он сам говорил, что во все продолжение своей ученолитературной дея­тельности он неизменно держался одних и тех же политико-экономи­ческих воззрений.

### II.

По основным положениям своей доктрины, Родбертус был учени­ком и последователем Смита и Рикардо. Во втором *«Письме к Кирх­ману»* он сам говорит, что теория его «есть лишь последовательный вы­вод из того — введенного в науку Смитом и еще глубже обоснованного школой Рикардо — положения, по которому все *предметы потребления, с экономической точки зрения, должны рассматриваться лишь как продукты труда, которые ничего кроме труда не стоят».* Но к тому вре­мени, когда наш автор выступил на литературное поприще, это основное положение классической экономии далеко не могло назваться обще­признанным в науке. С легкой руки Ж.Б. Сэя возникло и развивалось но­вое учение о стоимости, которое на место вполне определенного поня­тия о труде старалось поставить лишенное всякого реального содержа­ния понятие о «производительных услугах»; труд, затраченный в производстве, смешивало с заработной платой и т. д., и т. д. Малопомалу в заложенное Смитом и Рикардо здание экономической науки нанесена была такая масса всякого хлама, что невозможно было продолжать по­стройку этого здания без предварительной радикальной его очистки. Кроме того и само учение школы Смита — Рикардо, в чистом его виде, нуждалось в пересмотре и сообразных с обстоятельствами времени по­правках. Нужно было отделить сущность учения экономистов-класси­ков от их второстепенных, более или менее случайных, более или менее ошибочных положений. Нужно было сопоставить их взгляды на вероятный исход общественного развития с тем состоянием, в котором находи­лась Западная Европа в конце первой половины XIX столетия. Чувство­валась потребность подвести итоги всему тому, что выиграло и потеряло общество с тех пор, как, освободившись от феодальных пут, оно пошло по пути капиталистического развития. Экономическая наука пришла в «критический период» своего развития. Люди беспристрастные нахо­дили, что не все идет к лучшему в царстве «свободной конкуренции», что невыносимое положение рабочих классов грозит целым рядом ре­волюционных движений и требует безотлагательного принятия самых серьезных мер. А периодические промышленные кризисы, гибельно от­ражавшиеся на благосостоянии всех классов общества, заставляли за­думаться даже тех, которые изза благоденствия буржуазии не заме­тили бы бедствий пролетариата. «Недостатки экономических отноше­ний нашего времени, — писал Родбертус, — признаются теперь всеми: аристократией и народом, людьми, стремящимися вернуть прошлое, за­щитниками настоящего и провозвестниками будущего, теми, которые воображают, что наука о народном хозяйстве достигла уже высшей точки своего развития, равно как и теми, которые едва признают ее за науку». Но когда заходила речь о способах устранения этих недостат­ков, то различие интересов, положений и направлений вступало в свои права и подсказывало весьма различные, часто диаметрально противоположные мнения. Между реакционерами, которые, по словам Родбертуса, «искали спасения в возврате к средневековым отношениям», и теми крайними партиями, которые «хотели одним скачком перенестись в общественный строй, не имеющий никаких точек соединения с настоя­щим», располагалось множество оттенков более умеренного образа мыслей. Наш автор был одним из первых экономистов, пришедших к тому убеждению, что причина этих «несовершенств» лежит в эксплуатации человека человеком, и решившихся искать способов к ее устра­нению или, по крайней мере, ограничению. Чуждый того подогретого оптимизма, который уже в то время считался одним из несомненнейших признаков благонамеренности, Родбертус не скрывал от своих читате­лей ни размеров зла, ни исторического его значения. Резкими и сме­лыми штрихами нарисовал он безотрадную картину современных обще­ственных отношений. «Пауперизм и торговые кризисы, — писал он в пер­вом «Письме к Кирхману», — таковы, стало быть, жертвы, которыми заплатило общество за свою свободу. Новые правовые учреждения осво­бодили его от прежних цепей; оно вступило в обладание всеми своими производительными силами; механика и химия отдали в его распоряже­ние силы природы; кредит подает надежду на устранение других препятствий, — словом, материальные условия, необходимые для того, чтобы свободное общество сделать также и счастливым, находятся налицо,— а между тем, смотрите, новое бедствие заняло место старого бесправия. Рабочие классы, которые приносились прежде в жертву юридической привилегии, отданы во власть привилегии фактической, и эта послед­няя обращается по временам против самих привилегированных. Пять шестых нации, благодаря ничтожности своего дохода, не только были лишены до сих пор всех благодеяний цивилизации, но претерпевали иногда самые страшные бедствия нищеты, которая угрожает им беспре­рывно. А между тем они — творцы всего общественного богатства. Их работа начинается с восходом и кончается только с закатом солнца, часто продолжается и ночью, но никакие усилия с их стороны не могут изменить их положения. Не возвышая своего заработка, они теряют последние остатки времени, которым могли бы воспользоваться для своего образования... Вместе с ростом национального богатства растет обеднение рабочих классов; чтобы воспрепятствовать удлинению рабо­чего дня, является надобность в специальных законах; наконец, числен­ный состав рабочего класса увеличивается в пропорции большей, чем численность остальных классов общества». Как человек, сумевший возвыситься над классовыми предрассудками буржуазных экономистов, Родбертус увидел, что главною задачей политической экономии должно быть отныне изыскание средств для облегчения бедственного положения пролетариата. Он понял, что рабочие классы, как «творцы общественного богатства», имеют неоспоримое право на более широкое пользование этим богатством. «Я согласен, — продолжает он, обрисовавши бедственное по­ложение «пяти шестых нации», — то до настоящего времени цивилиза­ция нуждалась в таком огромном количестве бедствий для своего пьеде­стала. Но целый ряд удивительнейших изобретений, увеличивших произ­водительность человеческого труда более чем во сто раз, дал возмож­ность устранить эту печальную необходимость. Благодаря названным изобретениям национальное богатство увеличивается в возрастающей прогрессии... Я спрашиваю: может ли существовать более справедливое требование, чем требование того, чтобы творцы этого старого и нового богатства получили хоть какуюнибудь пользу от его увеличения; чтобы увеличился их доход, или сократилась продолжительность их работы, или, наконец, чтобы все большее число их переходило в ряды тех сча­стливцев, которые пожинают плоды их труда? Но общественное хозяй­ство приносило до сих пор прямо противоположные результаты».

Констатировавши таким образом, что распределение продуктов в буржуазном обществе противоречит «самым справедливым требова­ниям», Родбертус переходит к другому «недостатку» современного эко­номического строя — периодически возвращающимся торговым кризисам. Если современный способ распределения гибельно отзывается на благосостоянии рабочих, то промышленные кризисы не щадят и капита­листов. «Они представляют собою бич, терзающий по временам черес­чур ожиревшее тело капитала». Но рабочим от этого, разумеется, не легче. «Болезнь охватывает весь общественный организм и в особенности поражает те классы общества, которые менее всего могут назваться ее виновниками. Тогда выступает на сцену нелепое явление: магазины ока­зываются переполненными товарами в то время, когда рабочие терпят самую страшную нужду. Тогда соединяются вещи, повидимому, совер­шенно несоединимые».

Торговые кризисы самым тесным образом связаны, по мнению Род­бертуса, с пауперизмом, а этот последний является следствием того за­кона заработной платы, который, под именем «железного закона Лас­саля», наделал столько шуму в немецкой экономической литературе. В действительности закон этот так же мало может назваться «зако­ном Лассаля», как теория происхождения видов может назваться тео­рией Геккеля или теорией какого-нибудь другого из ее популяризаторов. Даже еще менее, потому что «железный закон» почти так же стар, как стара *наука* о народном хозяйстве. Закон этот признавался еще Тюрго, Смитом и Рикардо, Лассаль был совершенно прав, говоря, что он может, в подтверждение своих слов, сослаться на столько великих и славных имен, сколько их было в истории экономической науки. Как писатель, не отказавшийся от научного наследства экономистов-классиков, Родбертус принимал этот закон вместе со всеми вытекавшими из него выводами. Но само собою понятно, что в половине XIX столетия сама жизнь сделала такие выводы из этого закона, каких и не подозревали Тюрго, Смит и Рикардо. Родбертус не мог поэтому формулиро­вать его с олимпийским спокойствием экономистов-классиков. Адам Смит ограничился по поводу этого закона тем замечанием, что «малоутешительного в судьбе человека, не имеющего других источников дохода, кроме своего труда». Родбертус сделал его исходной точкой своих реформаторских планов.

«Главною целью моих исследований, — писал он в первом своем со­чинении[[52]](#footnote-52), — будет увеличение доли рабочего класса в национальном продукте, — увеличение, избавленное от изменчивых влияний рынка и построенное на прочном основании. Я хочу доставить этому классу воз­можность извлекать пользу из возрастания производительности труда. Я хочу устранить господство того закона, который иначе может ока­заться гибельным для наших общественных отношений, — закона, по которому заработная плата самыми условиями рынка всегда понижается до уровня насущнейших потребностей рабочего, как бы ни возвыша­лась при этом производительность труда. Этот уровень платы лишает рабочих возможности получить надлежащее образование и составляет самое вопиющее противоречие с их современным правовым положе­нием, с тем формальным равенством их с прочими сословиями, которое провозглашено нашими важнейшими учреждениями». Обнаружение тесной связи между пауперизмом и торговыми кризисами Родбертус счи­тает одною из главных заслуг своей экономической теории. Он неодно­кратно повторяет это во втором «Письме к Кирхману». Все разногла­сия между ним и Кирхманом автор «Письма» объясняет именно *тем,* что Кирхман, «подобно многим другим, сводит эти печальные явления не к одному и тому же основанию, *не к одному и тому же недостатку* в современной общественно-экономической организации[[53]](#footnote-53). Неуди­вительно поэтому, что, обеспечивая рабочим большую долю в «нацио­нальном продукте», наш автор надеялся тем самым «устранить периодические, страшные промышленные кризисы»[[54]](#footnote-54):Посмотрим же внима­тельнее как доказывает Родбертус существование «железного закона» и связь его с пауперизмом и кризисами, этими «бичами»», из которых последний терзает без разбора и исхудавшие плечи труда и «ожирев­шее тело капитала».

«Если экономическая жизнь общества, — говорит наш автор, — в от­ношении распределения национального продукта предоставлена самой себе, то известные, связанные с развитием общества условия ведут к тому, *что при возрастающей производительности общественного труда заработная плата составляет все меньшую и меньшую часть национального продукта»* (курсив Родбертуса). Это относительное уменьше­ние заработной платы не всегда сопровождается уменьшением количе­ства предметов потребления, поступающих в распоряжение рабочего. Другими словами, относительное уменьшение заработной платы не всегда сопровождается абсолютным ее уменьшением. Допустим, что в настоящее время каждый земледельческий рабочий производит своим трудом вдвое больше хлеба, чем производил он в прошлом столетии. Предположим также, что заработная плата его равняется пятидесяти четвертям хлеба, и что тому же равнялась она и в прошлом столетии. Тогда окажется, что, не потерпевши никакого количественного изме­нения, заработная плата всетаки стала представлять собою вдвое мень­шую часть земледельческого продукта. Если прежде она составляла *по­ловину* всего произведенного трудом работника хлеба, то теперь она бу­дет равняться *четвертой части* его количества. Как *часть* продукта, она уменьшилась бы даже в том случае, если вместо пятидесяти четвертей хлеба она равнялась бы теперь шестидесяти или даже восьмидесяти четвертям. Только поднявшись до ста четвертей, стала бы она в преж­нее отношение к общей сумме продукта, т. е., как в прошлом столе­тии, составляла бы ее половину. Но Родбертус не допускает возмож­ности подобного возвышения заработной платы в современном обще­стве. Вся суть социального вопроса именно в том, по его мнению, и за­ключается, что возрастание производительности труда не сопрово­ждается пропорциональным ему увеличением заработной платы.

«Я убежден, — говорит наш автор, — что плата за труд, рассматри­ваемая как часть продукта, падает по меньшей мере в той же, если еще не в большей пропорции, в какой увеличивается производительность труда»[[55]](#footnote-55).

 «Вы должны согласиться, — продолжал он, обращаясь к Кирхма­ну, — что ежели может быть доказано постоянное уменьшение заработ­ной платы, как части продукта, то связь этого обстоятельства с паупе­ризмом и торговыми кризисами обнаружится сама собою».

В самом деле, благодаря относительному уменьшению заработной платы, положение рабочих классов нисколько не улучшается с возраста­нием национального богатства. В то время как высшие классы обще­ства достигают неслыханного прежде благосостояния, количество пред­метов потребления, достающихся рабочим в виде заработной платы, остается неизменным, да и это бывает, по мнению Родбертуса, лишь «в лучшем случае». Очень часто обогащение высших классов сопрово­ждается *уменьшением* дохода рабочих. Такое распределение продуктов, естественно, влечет за собою появление пауперизма, именно в тот период экономического развития, когда улучшенные способы производства могли бы, казалось, обеспечить благосостояние всех классов общества. Нужно помнить, что понятие о богатстве или бедности данного лица или класса — понятие относительное. Родбертус полемизирует против Адама Смита, утверждавшего, что «человек богат или беден, смотря по тому, в какой мере может он обеспечить себе удовлетворение своих по­требностей, наслаждения и удобства жизни». Он справедливо замечает, что, держась данного Смитом определения, мы пришли бы к весьма стран­ным выводам. Мы должны были бы признать, «что зажиточный немец нашего времени богаче древних королей, или даже, что в древности со­всем не было богатых. Однако богатые и бедные существовали и в самые древние времена. Поэтому под богатством (лица или класса) нужно по­нимать *относительную долю* (этого лица или класса) в общей массе продуктов, существующей на известной стадии культурного развития народа»[[56]](#footnote-56), независимо от того, какое количество удобств и наслажде­ний может доставить эта *доля* ее обладателю. Возрастающее обеднение рабочих классов может, следовательно, считаться доказанным, если бу­дет доказано, что *относительная доля* рабочих в национальном продукте падает в той же пропорции в какой увеличивается производительность их труда.

Перейдем к промышленным кризисам. Если заработная плата, как *часть* продукта, постоянно понижается, то покупательная сила, рабочих классов, т. е. четырех пятых или пяти шестых всего населения, не может оставаться в соответствии с развитием производительных сил общества.

Она остается на прежнем уровне или даже уменьшается в то самое время, когда производство достигает все более и более высокой степени разви­тия и рынки переполняются товарами. Это ведет к затруднению сбыта, застою в делах, а наконец, и к кризисам. «Пусть не возражают мне,— говорит Родбертус, — что отнятая у рабочих покупательная сила остается в руках высших классов и должна поэтому с прежнею интен­сивностью действовать на рынке. Продукты теряют всякую стоимость там, где не существует в них надобности. Продукт, который мог бы иметь стоимость в глазах рабочих, оказывается совершенно излишним для других классов общества и остается непроданным. В национальном производстве должна произойти временная остановка, пока скопив­шиеся на рынке массы товаров не разойдутся малопомалу и пока на­правление производительной деятельности не приспособится к потребностям тех, в чьи руки перешла отнятая у рабочих покупательная сила»[[57]](#footnote-57).

Центром тяжести всей аргументации Родбертуса является, как ви­дит читатель, учение его о заработной плате, как *части* национального дохода. Чтобы судить о верности его выводов, мы должны, разумеется, проверить основательность его посылок. Мы должны взвесить доказательства, приводимые им, вопервых, в пользу того положения, что производительность труда не только возрастала прежде, но возрастает и по настоящее время. Мы должны опросить себя, вовторых, верно ли, что *количество предметов потребления,* поступающих в распоряжение рабочего класса, возрастало, по меньшей мере, не в той же пропорции, в какой увеличивалась производительность труда, а пожалуй и совсем осталось неизменным или даже упало?

Раз будут доказаны эти два положения, то учение Родбертуса о заработном плате явится вполне законным выводом из них. Мы должны будем признать, что рассматриваемая, как *часть* национального дохода, заработная плата, действительно, падает, в том или другом отношении к возрастающей производительности труда. Посмотрим же, на чем основывал наш автор свои «предварительные положения». И прежде всего постараемся отделить в них несомненное от гадательного, аксиомы от гипотез, данные, твердо установленные классической экономией, от того, что нуждалось еще в доказательствах, будучи впервые выска­зано Родбертусом. Припомним учение Рикардо о том же предмете. Рикардо также признавал, что производительность труда не остается не­изменной, но он допускал возможность ее возрастания далеко не во всех отраслях производства. Что касается фабричной обработки сы­рых произведений, то здесь постоянное увеличение производительности человеческого труда стоит, по его мнению, вне всякого оспаривания. Оно обусловливается «усовершенствованием машин, лучшим разделением ираспределением труда и постоянно возрастающею ловкостью произво­дителей». Не так смотрел Рикардо на земледелие. В основу его теории ренты легло убеждение в том, что производительность земледельче­ского труда в цивилизованных странах постоянно уменьшается, так как под влиянием возрастающего спроса в обработку поступают все менее и менее плодородные земли. Вследствие этого и цена земледельческих продуктов должна, по его учению, постоянно возрастать. А так как за­работная плата должна быть достаточна «для доставления рабочим средств к существованию и к продолжению своего рода»; так как кроме того главным предметом потребления рабочих являются произведения почвы, то и содержание их должно с течением времени становиться до­роже. Отсюда он делал тот вывод, что заработная плата, как *часть* про­дукта, стремится к повышению, прибыль же «имеет естественное стре­мление понижаться».

Это учение Рикардо не имело, однако, ничего общего с оптимизмом Кари, полагавшего, что буржуазные общества сумеют под эгидой по­кровительственного тарифа соединить *возрастание* производительности земледельческого труда с увеличением заработной платы, как части про­дукта. Автор *«Начал политической экономии»* стоял, напротив, гораздо ближе к Родбертусу, хотя и пришел к совершенно другому выводу, чем этот последний. «Естественная цена труда возрастает, по мнению Ри­кардо, в соответствии с увеличением цены на пищу и на другие необхо­димые предметы; она падает в соответствии с понижением этой цены»[[58]](#footnote-58)*.* Если бы, следовательно, ему было доказано, что производи­тельность земледельческого труда возрастает, а не понижается, то он, совершенно в духе Родбертуса, сказал бы, что заработная плата, как часть продукта, «имеет стремление к понижению, а не к повышению». Но во время появления «Начал политической экономии» убеждение в том, что с возрастанием народонаселения производительность земле­дельческого труда постоянно уменьшается, было весьма распространен­ным. Многие из современных Родбертусу экономистов также принимали это положение за бесспорную истину. Милль, например, считал его «важнейшим законом в науке о народном хозяйстве». На него же опи­рался, в своих рассуждениях, и фон Кирхман, с которым вступил в полемику Родбертус. Высказывая противоположное мнение, наш автор расходился, следовательно, со школою Рикардо. Собственно говоря, его убеждение в том, что производительность труда возрастает также и в земледелии, было единственным пунктом, в котором его учение о заработной плате разошлось с учением экономистов-классиков. На этот спорный пункт ему, казалось бы, и нужно было направить все силы своей критики. Но мы сказали уже выше, что рядом со школой Смита — Рикардо развилась другая школа, имевшая своим родоначальником Ж. Б. Сэя и распавшаяся со временем на несколько различных напра­влений. Несмотря на свои разногласия, экономисты всех этих направле­ний сходились в том, что какимто чутьем угадывали, сколько хлопот наделает буржуазии, впоследствии, учение Рикардо о меновой стоимо­сти, о заработной плате, о распределении национального дохода и т. д. Поэтому они взапуски принялись дополнять и поправлять «односторон­ние» и «бессердечные» теории Рикардо. Одной из услуг, оказанных «учеными» этого пошиба «делу порядка», была, как замечает Маркс, бастиатовская «категория услуги». С своей стороны, и так называемая историко-реалистическая школа, эта немецкая разновидность «вульгар­ной экономии», немало способствовала искажению здравых политико-экономических понятий. Все это привело к тому, что при защите своих «предварительных положений» Родбертус должен был начать чуть ли не с азбуки хозяйственной науки. «Повидимому, — говорит он во вто­ром «Письме к Кирхману», — мне нужно немедленно приступить к до­казательству моих двух предварительных положений, чтобы непосред­ственно затем показать, в какой связи стоят они с вопросом о паупе­ризме и кризисах. Однако дело далеко не так просто! При вашем зна­комстве с современным положением теории, вы прекрасно знаете, какое множество невыясненных понятий, какое множество научных предрас­судков стоит в противоречии с основным пунктом моих воззрений. Ведь теперь оспаривается даже то, что заработная плата, вообще, должна быть рассматриваема как часть продукта! А до какой степени расхо­дятся ходячие воззрения на природу и происхождение прибыли с основ­ными положениями моей теории! В каком противоречии с нею нахо­дится господствующее учение о происхождении и возрастании поземельной ренты! Без преувеличения можно сказать, что весь метод, ко­торому следовала до сих пор наша наука, затрудняет понимание положения, лежащего в основе моего объяснения экономических бедствий нашего времени»[[59]](#footnote-59).

Ошибочность и смутность господствующих в науке понятий обусло­вливается, по его мнению, прежде всего тем, что сама исходная точка рассуждений экономистов не соответствует характеру изучаемых ими явлений. Национальное хозяйство представляется им простым собранием частных хозяйств, не имеющих никакой органической связи между собою. Естественно поэтому, что индивидуум становится центром тяжести всех их рассуждений. Хозяйством и потребностями индивидуума, его ка­питалом и доходом ограничивается все поле зрения экономистов, и эта «атомистическая точка зрения» ведет их, по мнению Родбертуса, к целому ряду противоречий. «Вместо того чтобы исходить из признания того факта, что разделение труда связывает общество в одно неразрыв­ное хозяйственное целое; вместо того чтобы объяснять отдельные об­щественно-экономические понятия и явления с точки зрения этого целого; вместо того чтобы понятия о национальном (общественном) иму­ществе, национальном производстве, национальном капитале, национальном доходе и его разделении на поземельную ренту, прибыль и за­работную плату — эти общественные понятия — поставить во главе своих исследований и с помощью их объяснить положение и роль индивиду­умов, — наука о народном хозяйстве поддалась влиянию индивидуали­стических стремлений нашего времени. Она разорвала на клочки то, что, благодаря разделению труда, составляет одно социальное целое, что не может и существовать иначе, как целое; и от этих клочков, от эконо­мической деятельности индивидуумов она старалась возвыситься до по­нятия о целом. Так, например, она положила в основу своих исследо­ваний понятие об имуществе отдельного лица, не подозревая даже, что имущество человека, связанного со своими ближними посредством раз­деления труда, существенно разнится от имущества индивидуума, веду­щего изолированное хозяйство. Точно так же исходила она из понятия о ренте отдельного землевладельца, забывая, что понятие о поземельной ренте предполагает уже понятие о прибыли и заработной плате, и что обо всех этих понятиях мы можем говорит, имея в виду лишь современ­ное общество и его доход, частями которого являются поземельная рента, прибыль и т. д.»[[60]](#footnote-60).

Если бы экономическая наука не держалась этого ошибочного метода, она имела бы теперь, по мнению Родбертуса, совершенно другой вид и, конечно, гораздо дальше ушла бы вперед в своем развитии.

Затронув вопрос о методе, Родбертус разошелся уже не только с «вульгарными экономистами», сомневающимися даже в том, что за­работная плата представляет собою часть национального продукта. Он коснулся одного из слабых мест самой классической экономии.

Конечно, Рикардо в несравненно меньшей степени заслуживал упрека в излишнем «атомизме», чем какой-нибудь правоверный «Freihändler vulgaris». Автор «Начал политической экономии» отлично понимал, что, несмотря на экономическую «войну всех против всех», производительный механизм современного общества связан в «одно неразрывное целое», в котором каждый работает на всех и все на ка­ждого. Он не сказал бы, как это и до сих пор говорят некоторые эконо­мисты, что современное общество есть «собрание индивидуумов и се­мейств», обменивающих между собою *излишек* своих продуктов. Выра­ботанная же окончательно Рикардо теория распределения националь­ного дохода легла потом в основу учения самого Родбертуса. Но экономисты-классики, не исключая и Рикардо, были до такой степени детьми своего времени, что не допускали даже и мысли о возможности существо­вания экономических отношений, непохожих на буржуазные. Обществен­ное хозяйство античных государств, организация производства и распре­деления в далеком 6удушем, даже жизнь первобытных, диких племен — пред­ставлялись им более или менее яркими копиями экономической жизни современной им Англии или Франции. Они допускали еще, что лэнд­лорды существовали не на всех ступенях общественного развития, но без капиталистов и пролетариев они не могли вообразить себе даже охот­ничьего племени. Они считали, — чтобы употребить выражение Родбер­туса — *«делом природы* то, что было лишь *делом истории».* В своих со­чинениях они часто приглашали читателя вообразить себе капиталиста-охотника, рыбака-рабочего и тому подобные, будто бы поясняющие дело примеры. Но само собою разумеется, что эта «Ur-Fischer-Methode», как называл ее Ланге, только затрудняла понимание господствующих в капиталистическом обществе отношений. Еще более затрудняла она — или, вернее, делала совершенно невозможным — понимание историче­ского значения капитализма, как одного из фазисов экономического развития человеческих обществ.

Как человек, задавшийся целью «провести резкую черту различия между логическими и историческими категориями во всех частях эко­номической науки», Родбертус не мог не заметить указанной ошибки экономистов-классиков. Он понял, что хозяйственный строй всякого данного общества есть результат длинного процесса развития, и, как всякое «дело истории», изменчив не только в количественном, но и в качественном отношении. Он видел также, в каком направлении должны совершаться эти изменения. «Целый мир лежит между двумя понятиями: капитал сам по себе и капитал, составляющий частную собственность (Privatkapital) » — восклицает он в одном из писем своих к Вагнеру. — Чтобы выяснить себе существующее между ними различие, нужно при­помнить античное общество, в котором люди (т. е. рабы) также при­надлежали к капиталу частных лиц; затем нужно представить себе следующий всемирно-исторический период, в котором только земля и капи­талы являются объектами частной собственности и в котором средства существования работников еще принадлежат к капиталу частных пред­принимателей; наконец, нужно выяснить себе будущий период, в кото­ром объектами частной собственности будут лишь предметы потребле­ния, почва же и продукт национального производства, пока он не сде­лался еще *доходом,* составят собственность всего государства»[[61]](#footnote-61)*.* Только уяснивши себе различия в хозяйственной организации этих трех «следующих один за другим» периодов, можно, по мнению Родбертуса, увидеть совершенно ясно, что такое капитал сам по себе (или ка­питал в логическом смысле этого слова) и что такое капитал, составля­ющий частную собственность (или капитал в *историческом* смысле этого слова). Так как классическая экономия даже и не подозревала, что эти два понятия могут не совпадать между собою, то все ее иссле­дования ограничивались только одним из названных всемирно-историче­ских периодов, именно современным, буржуазным периодом. Есте­ственно было поэтому, что на многие явления этого периода она смо­трела не так, как взглянул на них Родбертус, утверждавший, что он «слышит уже приближение новой эры». Считая «делом природы» то, что было лишь «делом истории», экономисты-классики не могли воспользо­ваться сравнительным методом, с помощью которого Родбертус на­деялся выяснить характеристические особенности каждого из «всемирно-исторических периодов». Поэтому, когда наш автор пришел к вопросу о том, в каком же порядке должны быть расположены различ­ные части экономической науки, он не мог признать удовлетворитель­ным план, принятый его предшественниками. Современная политиче­ская экономия казалась ему «простым учением о природе обмена». Это учение нужно было, по его мнению, отнести к *первой части* науки, вы­ясняющей законы «производства, распределения и потребления про­дуктов» в современном обществе. За нею логически следовала бы *вто­рая часть,* «указывающая те опасности, которыми может угрожать об­ществу дальнейшее развитие его экономических отношений при сохра­нении нынешних правовых учреждений». Наконец, предметом *третьей* и последней *части* экономической науки должен был явиться вопрос о мерах, с помощью которых общество могло бы избежать этих опас­ностей.

Всякий знакомый с сочинениями буржуазных экономистов знает, как мало задумывались они о мерах, могущих отвратить тревожившие Родбертуса «опасности». Они полагают, что меры эти должны нахо­диться в ведении «исполнительной власти», которая, с своей стороны, не могла предложить ничего, кроме осадного положения и военной дик­татуры. Правда, катедер-социалисты немало толкуют теперь об «обя­занностях государства» по отношению к рабочему классу, но мы зна­ем уже, что наш автор называл предлагаемые ими меры «ромашкой, которая не может не только исцелить, но даже и облегчить социальный вопрос». Излишне прибавлять поэтому, что ни «вторая», ни «третья» части науки, в том смысле, как понимал их Родбертус, не находили себе места в сочинениях его предшественников. Самое «учение о природе обмена» понимали они далеко не так, как понимал их автор *«Социаль­ных писем к Кирхману».* Мы видели уже, с какою горячностью нападал он на «атомистическую точку зрения» буржуазных экономистов. По его мнению, экономическая наука «должна была бы исходить из понятий о национальном труде и национальном имуществе, понимая под национальным или общественным трудом кооперацию всех единичных сил, связанных, путем разделения труда в одно неразрывное целое; под на­циональным имуществом — сумму всех единичных имуществ данной на­ции, также связанных в одно неразрывное целое благодаря потреблению плодов национального труда». Затем она должна была бы перейти к оценке влияния, оказываемого разделением труда на организацию на­ционального производства. Она должна была показать, как при произ­водстве любого продукта общественный труд подразделяется на добы­вание сырья, фабричную его обработку и наконец перевозку, и как, в свою очередь, эти большие отрасли национального производства дро­бятся на отдельные предприятия. Соответственно разделению обще­ственного труда на добывание сырья и его обработку нужно было бы установить различие той части национального имущества, которая заключается в национальной почве, от той, которая представляет собою национальный капитал, т. е. продукт, предназначенный для дальней­шего производства и распределенный между различными предпри­ятиями. Далее необходимо было бы сопоставить понятие о национальном капитале с понятием о национальном продукте, как о результате на­ционального производства, полученном в течение определенного вре­мени. Уяснивши себе понятие о национальном продукте, нужно было бы показать, как одна часть его идет на восстановление потребленного в производстве капитала, другая же — служит для удовлетворения непо­средственных потребностей всего общества и отдельных его членов и в этом виде представляет собою национальный доход. От понятия об этом последнем оставался бы затем один только шаг до понятия о нацио­нальном богатстве, величина которого определяется степенью произво­дительности общественного труда. «После этого анализа общих поли­тико-экономических понятий и их взаимной связи нужно было бы, — прибавляет Родбертус, — показать, в какой зависимости стоят органи­зация и ход национального производства, равно как и распределение его продуктов, от существующих в обществе правовых учреждений».

Еще в первом своем сочинении наш автор совершенно верно за­метил, что «правовая идея и экономическая необходимость издавна шли рука об руку»[[62]](#footnote-62)*.* Он поступил бы поэтому последовательнее, если бы постарался обнаружить связь между современными правовыми учре­ждениями, с одной стороны, и вызвавшею их к жизни экономическою необходимостью — с другой. От такого выяснения много выиграл бы им же самим поднятый вопрос о мерах, способных устранить «недостатки современной общественно-экономической организации». Тогда было бы видно, какие учреждения уже отжили свой век и какие, напротив, про­должают соответствовать общественным потребностям. Критерием яви­лась бы, в этом случае, та самая экономическая необходимость, «рука об руку» с которой «издавна шло» и всегда будет идти развитие пра­вовой идеи.

Родбертус избрал, к сожалению, обратный путь. Он решился искать в правовых учреждениях объяснения общественно-экономиче­ских явлений и тем не только отнял у себя возможность найти это объяснение, но и лишил себя единственного разумного критерия для оценки самих «правовых учреждений». Вместо *объяснения* ему при­шлось ограничиться простым *описанием* экономической жизни общества на различных стадиях ее развития. Впрочем вредное влияние закрав­шейся в рассуждения Родбертуса непоследовательности отразилось бо­лее всего на его «практических предложениях». Сделанное же им *опи­сание* общественно-экономических явлений, которое, повторяем, он принимал за *объяснение* этих явлений, имеет и само по себе большой интерес и потому заслуживает полного внимания читателя. Интерес этот обусловливается тем, что, верный своему взгляду на «историче­ские категории», Родбертус сопоставил, в своем описании, хозяй­ственный строй современного общества с тою организацией производ­ства и распределения, которая должна, по его мнению, иметь место в «будущем всемирно-историческом периоде».

Для оценки влияния, оказываемого правовыми учреждениями на экономическую жизнь общества, нужно, — говорит наш автор, — прежде всего иметь в виду важнейший правовой институт нашего времени — частную собственность на землю и капиталы. В самом деле, нацио­нальное производство и распределение его продуктов приняли бы со­вершенно иной вид, если бы земля и капиталы составляли собствен­ность не частных лиц, а всего общества. Тогда не было бы, конечно, частной собственности на орудия труда, но что касается до распределе­ния продуктов, то оно не должно было бы непременно происходить на коммунистических основаниях. Предметы потребления продолжали бы составлять частную собственность благодаря тому, что продукты обще­ственного труда распределялись бы между отдельными лицами, со­образно с участием этих лиц в национальном производстве. При таком порядке вещей доход каждого члена общества зависел бы лишь от ко­личества затраченного им труда, и собственность не только не была бы уничтожена, но, напротив, была бы «окончательно приведена к ее перво­начальному и истинному принципу»[[63]](#footnote-63). Устроенное на таких основаниях общество не объявило бы, по примеру Прудона, что «собственность есть кража», оно — и только оно — предохранило бы, наоборот, собствен­ность от «кражи»[[64]](#footnote-64).

Против вышеизложенных оснований распределения продуктов обыкновенно возражают, что производительность труда различных ра­ботников никогда не бывает одинакова: один работник может в два часа сделать больше, чем другой в четыре, — утверждают экономисты. Кроме того, иногда говорят, что невозможно сравнить труд работников, занятых в различных отраслях производств. Луи Рейбо в своих «Etudes sur les réformateurs» удивляется, каким образом такой умный человек, как Оуэн, мог придти к «нелепой мысли» сравнивать труд сапожника с совершенно будто бы несходным с ним трудом булочника или ткача. «Но если противники этой системы, — говорит Родбертус, — не имеют против нее других аргументов, кроме того, что производи­тельные способности работников неодинаковы, то возражения их стоят очень немного»[[65]](#footnote-65).

Труд данного работника всегда может сравниваться и соизмеряться с трудом других работников, занятых в различных отраслях производ­ства. Для этого нужно при установлении «нормального рабочего дня» определить то среднее количество продукта, которое производят, обыкновенно, работники данной отрасли труда. Рабочий, сделавший менее этого среднего количества, получил бы менее, чем за целый ра­бочий день и, наоборот, сделавший более получил бы, сообразно с этим, право на большее вознаграждение. Считалось бы, что один тру­дился, например, в продолжение 7/8, между тем как другой в течение 5/6 нормального рабочего дня.

Кроме того, нужно было бы принять в соображение степени интен­сивности и утомительности труда в различных отраслях производства. Если, положим, труд углекопа утомительнее труда ткача, то пришлось бы постановить, что рабочий день углекопа должен быть на несколько часов короче. Несмотря на свою большую продолжительность, рабочий день ткача должен был бы считаться равноценным рабочему дню угле­копа, так как работа последнего требует большего напряжения сил. Проработавши установленное для каждого из них время, углекоп и ткач имели бы право на получение одинакового количества продуктов из общественных магазинов. Родбертус не отрицает, что определение средней производительности и интенсивности труда в каждой отрасли производства было бы делом далеко не легким. Но он считает вполне устранимыми все могущие встретиться на этом пути практические за­труднения. Вообще, он не сомневается в возможности осуществить та­кого рода организацию производства и распределения, в которой доход каждого отдельного лица соответствовал бы участию этого лица в обще­ственном труде. Важнее всех технических затруднений был бы вопрос о нравственной подготовленности народа для таких общественных отно­шений. Все дело зависит, по мнению Родбертуса, от того, «достаточно ли развит народ, чтобы по свободному побуждению принимать участие в национальном труде или, что то же, в национальном про­грессе, не видя перед собою того бича бедности, которым современная частная собственность на землю и капиталы выгоняет его на работу»[[66]](#footnote-66).

Наш автор справедливо полагает, что экономисты много выигра­ли бы в понимании хозяйственной жизни современного общества, если бы они постарались ясно представить себе все те изменения в организации производства и распределения, которые явились бы след­ствием «приведения собственности к ее первоначальному принципу». Но предшественники Родбертуса, в огромном большинстве случаев, не только не интересовались «первоначальным принципом собственности», но и вообще полагали, что рассуждать о подобных «принципах» — дело юриста, а не политико-эконома. Как мы сказали уже выше, эконо­мисты считали буржуазный строй последним или, вернее, единственно возможным шагом в развитии человечества и не могли даже предста­вить себе никаких серьезных изменений в экономических отношениях современной Европы. Родбертус, принадлежавший к числу немногих экономистов, «слышавших приближение новой эры», должен был сам взяться за решение всех тех вопросов, которые относятся к экономии «будущего всемирно-исторического периода». Ему пришлось приняться за обработку почти совершенно невозделанного экономистами поля, т. е. за изображение экономической деятельности того гипотетиче­ского общества, которое взяло бы в свое непосредственное заведование все средства производства.

В таком обществе все экономические явления приняли бы харак­тер, совершенно отличный от современного. Организация производства изменилась бы, прежде всего, в том отношении, что для заведования производительною деятельностью идля приведения ее в соответствие с общественными потребностями необходимо было бы существование особого учреждения. Задачу этого учреждения, говорит наш автор, со­ставляло бы целесообразное употребление в дело национального иму­щества. В современном же обществе, в котором национальное имуще­ство дробится между частными лицами, место такого рода учреждения занимает интерес собственников и предпринимателей. Он побуждает их производить лишь продукты, находящие себе сбыт на рынке, т. е. удовлетворяющие потребности всего общества илиизвестной его части.

Обращение орудий и объектов труда в коллективную собственность придало бы также новый вид тому переходу продуктов из одной отрасли производства в другую и тому передвижению их с места на место, которые обусловливаются разделением общественного труда. Чи­тателю известно, что самая обыкновенная вещь домашнего обихода, прежде чем быть готовой для употребления, претерпевает целый ряд разнообразнейших метаморфоз. Она появляется на свет в виде сырого материала и путешествует в таком виде в тот или другой промышлен­ный центр, чтобы подвергнуться фабричной обработке. Здесь она пере­ходит из одной отрасли производства в другую, пока не получит окон­чательной отделки и не отправится, наконец, на место сбыта. В совре­менном обществе этим метаморфозам продуктов соответствует пере­ход их через руки целого ряда предпринимателей, оптовых и мелочных торговцев, а следовательно, и целый ряд продаж и покупок. «От начала до конца, — говорит Родбертус, — от производства сырья до окончатель­ной выделки предметов потребления обмен продуктов представляет со­бою в настоящее время длинную цепь передач и отчуждений собствен­ности, совершаемых при посредстве денег».

Не так происходило бы дело в нашем гипотетическом обществе с его центральным учреждением, заведующим всем ходом производ­ства. В таком обществе каждый продукт представлял бы собою нацио­нальную собственность вплоть до окончательной своей отделки. И тогда достаточно было бы предписания названного центрального учре­ждения, чтобы передавать его из одной отрасли производства в другую и доставить, наконец, потребителю. То же центральное учреждение должно было бы озаботиться тем, чтобы из общей суммы национального продукта отделить часть, необходимую для восстановления затраченного в производстве капитала. Только после вычета этой части национальный *продукт* стал бы национальным *доходом* и служил бы для удовлетворения потребностей как общества, так и отдельных его членов. «В настоящее же время, — говорит Родбертус, — место этой преду­смотрительности центрального учреждения занимает интерес владель­цев капитала или предпринимателей. Их собственные выгоды побуждают их браться только за такие предприятия, которые, по замещении капитала, дают им известный излишек, называемый прибылью».

Если мы теперь от производства перейдем к распределению, то здесь наше гипотетическое общество представит еще более своеобраз­ные особенности, соответственно предположенным нами изменениям в отношении людей к вещам. Раз был бы установлен тот правовой прин­цип, по которому доход каждого члена общества определяется участием его в производстве, то национальный продукт уже не посту­пал бы в раздел между землевладельцами, капиталистами и работни­ками, как это имеет место в настоящее время. Он составлял бы тогда достояние одних рабочих. Каждый член общества получал бы свиде­тельство, удостоверяющее, что он затратил известное количество труда. Предъявивши это свидетельство в государственные магазины, он получил бы в обмен необходимые для него предметы потребления. И эти предметы потребления составляли бы такую же неотъемлемую соб­ственность его, какою является заработная плата по отношению к со­временным рабочим. Но заработная плата определяется теперь не ко­личеством затраченного работником труда: она испытывает на себе влияние рыночной конкуренции, понижающей ее до уровня насущней­ших потребностей трудящихся. Вся же разность между заработной пла­той и стоимостью произведенного работником продукта остается в ру­ках землевладельцев и капиталистов и, за вычетом части, необходимой для восстановления капитала, делится между ними на основании осо­бых экономических законов.

Выяснивши влияние правовых учреждений на распределение про­дуктов, следовало бы, по мнению Родбертуса, обратить внимание на то, каким образом распределение влияет, в свою очередь, на направление общественного производства. Для этого опять нужно было бы держаться сравнительного метода: нужно было бы посмотреть, как происходит дело в настоящее время и как происходило бы оно в обществе, уста­новившем коллективную собственность на землю и капиталы.

И в том и в другом случае направление производства не может не сообразоваться с потребностями лиц, участвующих в разделе на­ционального продукта. Но в обществе, взявшем в свое непосредствен­ное заведование все средства производства, это последнее сообразовалось бы с потребностями только тех лиц, которые получили благодаря своему труду право на требование из общественных магазинов извест­ного количества продуктов. В настоящее же время направление произ­водства определяется потребностями не одних только трудящихся, но также капиталистов и землевладельцев.

Интерес предпринимателей заставляет их сообразоваться с поку­пательною силой всех трех классов современного общества. Таким образом, чем бóльшая часть стоимости национального продукта посту­пит в распоряжение одного из этих классов, тем большая часть производительных сил страны будет занята приготовлением необходимых для него предметов потребления. Этим и объясняется, по мнению Родбертуса, то обстоятельство, что теперь часто «строят блестящие пас­сажи, в то время как рабочие не имеют здоровых жилищ... На рынок доставляется лишь то, за что можно получить деньги. Богатые фла­неры могут оплачивать содержание роскошных пассажей, рабочие же, получающие ничтожную плату, не могут заплатить за постройку здо­ровых жилищ»[[67]](#footnote-67)и потому должны довольствоваться нездоровыми.

На основании всего высказанного нетрудно также убедиться в том, что так называемое *сбережение,* которое, как известно читателю, вме­няется в заслугу современным капиталистам, есть особый способ уве­личения национального капитала, обусловленный существованием част­ной собственности на землю, материалы и орудия труда. При других же обстоятельствах увеличение национального капитала могло бы, по мне­нию Родбертуса, достигаться путем кредита[[68]](#footnote-68).

Выяснивши, таким образом, значение общих экономических по­нятий, обнаруживши влияние правовых учреждений на движение произ­водства и распределение продуктов, нужно было бы, — продолжает наш автор, — перейти к вопросу об изменении производительных сил об­щества. Изменение это может произойти двояким образом. Вопервых, благодаря распашке новых земель, расширению фабричной деятельно­сти, увеличению народонаселения и т. д., национальный продукт может возрасти в том или другом количественном отношении. Сумма произ­водимых в обществе предметов потребления может, например, удвоиться, но для приготовления каждого из этих предметов может требоваться не меньшая, чем прежде, затрата человеческого труда. Национальное производство расширится, но в способах его не окажется никакого улучшения. Земледельческая культура, фабричная техника и пути сообщения останутся, следовательно, на той же ступени разви­тия, на которой находились и прежде. Такой случай Родбертус назы­вает увеличением *суммы производительных сил.*

Но может случиться, что при таком же, как и прежде, количестве рабочих сил, при той же площади обрабатываемых земель, сло­вом, при той же *сумме* производительных сил, на выделку каждого предмета в отдельности потребуется меньше времени, чем нужно было прежде. Это может произойти вследствие улучшений в способах про­изводства, изобретения новых машин и т. п. В результате каждого дня работы окажется большее, чем прежде, количество продуктов, и на­циональный доход возрастет, потому что возросла *производительность труда.*

Именно этот второй путь изменения производительных сил страны и ведет к увеличению *национального богатства.* Под национальным богатством понимают обыкновенно отношение национального имущества к общей цифре народонаселения. А это отношение будет, разумеется, тем благоприятнее для общества, чем большее количество продуктов произведет каждый работник в единицу времени, т. е. чем *произво­дительнее* будет *труд* этого работника. Но Родбертус не смешивает,— как это умышленно делали буржуазные экономисты, — понятия о на­циональном богатстве с понятием о благосостоянии большей части членов общества. По его мнению, между этими двумя понятиями суще­ствует огромная разница, и, чтобы лучше оттенить ее, он снова берет в пример гипотетическое общество, обратившее землю и капиталы в национальную собственность. В таком обществе доход каждого члена был бы, как мы знаем, прямо пропорционален участию его в обще­ственном труде, и увеличение национального дохода действительно повело бы к улучшению положения всех трудящихся. В настоящее же время, при господстве того экономического закона, который понижает заработную плату до уровня насущнейших потребностей рабочего, возрастание производительности национального труда ведет, по мнению Родбертуса, к обогащению одних только капиталистов и землевла­дельцев.

После того, как изучено было бы влияние производительности труда на благосостояние различных классов общества, экономисты должны были бы перейти к вопросу о финансовом хозяйстве и о нало­гах и показать влияние этих последних на движение производства и распределение национального продукта. Это и составило бы предмет последнего отдела первой части экономической науки, «соответствую­щей современному учению о природе обмена».

«Если бы, — говорит Родбертус, — в науке держались этого метола, если бы переходили, таким образом, от целою к его частям, то избе­жали бы очень многих из существующих в ней теперь предрассудков.

Тогда была бы подготовлена почва для понимания тех обстоятельств, в которых я вижу причину кризисов и пауперизма. Тогда я мог бы, для обоснования своих положений, прямо перейти к доказательству того, что производительность труда возросла, между тем как заработная плата не увеличилась или даже упала. После этого мне оста­валось бы только показать, что названные выше бедствия составляют необходимое следствие понижения заработной платы, как *части* нацио­нального продукта. Теперь же я вынужден к набросанному мною очерку лучшего метода прибавить соответствующую ему теорию, по крайней мере, распределения национального продукта»[[69]](#footnote-69)*.*

Эта «из самой жизни заимствованная» теория распределения и представляет собою то, что может быть названо экономической тео­рией Родбертуса, в собственном смысле этого слова.

### III.

Учение Родбертуса о причине кризисов и пауперизма так и оста­лось незаконченным. Ни в одном из своих появившихся в печати со­чинений Родбертус не перешел еще к доказательству того «предвари­тельного положения», что «заработная плата не увеличилась или даже упала», несмотря на колоссальное возрастание производительности труда. Правда, положение это составляло вполне логичный вывод из того закона заработной платы Тюрго — Рикардо, который, по справедливому замечанию Брентано, «признается всеми серьезными экономистами», а оспаривается, заметим мы мимоходом, только некоторыми представителями «историкореалистической школы». Но в экономиче­ской науке, также как и в науках естественных, дедукция должна и может стоять в тесной связи с индукцией, и добытые путем вывода положения должны быть проверены на фактах. Разумеется, в социаль­ной науке невозможен *опыт,* составляющий такой могучий рычаг в развитии некоторых отраслей естествознания, но история и статистика представляют собою обширное поле для *наблюдения,* играющего не менее важную роль в точных науках. Чтобы поставить вне всякого сомнения свое учение о заработной плате, Родбертус должен был про­верить, на основании данных статистики и истории, вывод, сделанный им из закона Тюрго — Рикардо. Это тем более было необходимо, что Рикардо знал, как известно, только «цветочки» капитализма, «ягодки» же его начали поспевать в половине нашего века. Перед глазами совре­менников Родбертуса развертывалась гораздо более яркая картина по­ложения рабочих классов в капиталистическом обществе, и они должны были пополнить, так или иначе, теорию Рикардо. Родбертус хорошо сознавал эту необходимость, и, как видно из писем его к архитектору Петерсу, его учение о заработной плате опиралось не на одну только дедукцию. «Сила машин в современной Англии, — говорит он в одном из этих писем, — равняется, по крайней мере, силе 600 миллионов ра­ботников. В 1800 году она не превышала силы 50 миллионов рабочих. На основании истории распределения национального дохода Англии с 1800 года и разделения его на заработную плату, поземельную ренту и прибыль, мне удастся, как я надеюсь, доказать, что продукт труда 550 миллионов неутомимых день и ночь трудящихся деревянных и железных работников ни на йоту не увеличил собою общей суммы зара­ботка живых работников, но целиком был поглощен поземельной рен­той и прибылью». К сожалению, занятый борьбой против укоренив­шихся в науке «предрассудков», Родбертус не успел окончить своего опыта о распределении дохода в Англии, этой классической стране капитализма. С этого опыта только и началось бы, строго говоря, дока­зательство учения его о заработной плате, которому он считал нужным предпослать изложение правильной теории распределения[[70]](#footnote-70).

Что касается учения Родбертуса о распределении, продуктов в современном обществе, то оно, действительно, явилось лишь «после­довательным выводом» из основных положений школы Рикардо во всех своих частях, кроме теории поземельной ренты. Мы сказали уже выше, что из всех воззрений Рикардо только учение его о производитель­ности земледельческого труда противоречило теории кризисов и пау­перизма Родбертуса. Так понимал, повидимому, свое отношение к Ри­кардо и сам Родбертус. В письме к Ад. Вагнеру от 20го июня 1872 года он говорит, что теория поземельной ренты Рикардо несогласима с его учением о пауперизме и кризисах только в одной (и даже несуществен­ной) своей части, — в той именно части, где высказывается убеждение, что земледельческий труд становится все менее и менее производи­тельным и пища становится поэтому все дороже. «Мое же учение,— продолжает он, — основывается на совершенно обратном положении: я утверждаю, что земледельческий труд становится все более и более производительным, и что цена пищи, измеряемая *трудом,* постоянно падает»[[71]](#footnote-71). Но в своих учениях Родбертус не ограничился, к сожале­нию, опровержением этой «несущественной части» учения Рикардо о ренте. Он отнес к числу научных «предрассудков» все это учение и решился противопоставить ему свою собственную теорию поземельной ренты, которая вообще составляет самую слабую сторону всего учения его о распределении. Этой теории он придавал огромное значение и, весьма невыгодным для себя образом, связывал с нею все остальные свои «теоретические положения» и все свои «практические» планы. Каковы именно были взгляды Родбертуса на природу и происхождение поземельной ренты, об этом нам придется говорить в следующих гла­вах, теперь же мы должны познакомить читателя с основными «теоре­мами» его учения о распределении.

Первое, по важности, место занимает между ними «теорема», гла­сящая, что *«все предметы потребления* — *с экономической точки зре­ния* — *должны быть рассматриваемы как продукты труда, и только труда».* Теорема эта «приобрела уже, по словам нашего автора, полное право гражданства в учениях английских экономистов, нашла своего защитника даже в лице Бастиа, хотя и получила в его «Экономиче­ских гармониях» совершенно неверное приложение, но — что всего важнее — она глубоко вкоренилась в народном сознании, несмотря на софизмы некоторых таящих заднюю мысль учений»[[72]](#footnote-72)*.* Посмотрим же, как поясняет и доказывает ее Родбертус.

Если бы, — говорит он, — предметы потребления существовали в неограниченном количестве и притом, как воздух или солнечный свет, непосредственно могли бы служить для удовлетворения человеческих потребностей, то люди не имели бы никаких побуждений к труду и ведению хозяйства. Но в томто и дело, что предметов, самой природой приспособленных к нуждам человека, очень немного. Большинство же существующих в природе предметов должно быть подвергнуто извест­ной предварительной обработке, чтобы служить для удовлетворения человеческих потребностей. «Щедрость природы должна быть допол­нена деятельностью человека. Само собою разумеется, что деятель­ность его может быть весьма неодинаковой по своему характеру и интенсивности. Между собиранием дикорастущих плодов и тою в выс­шей степени сложной работой, которая необходима для постройки па­ровой машины, лежит целая бездна. Но, несмотря на все разнообразие проявлений человеческой деятельности, *природа* ее всегда остается неизменной. «Во всех различных случаях она есть не что иное, как затрата сил и времени человека, с целью приобретения известного предмета. Во всех этих случаях она остается *трудом*»[[73]](#footnote-73).

Теперь понятно, какой смысл имеет *хозяйство.* Человеческие по­требности очень разнообразны и многочисленны. Приобрести необходи­мые для их удовлетворения предметы человек может лишь ценою за­траты своего времени исвоих усилий. Как находящееся в его распоря­жении время, так и способность его к труду, разумеется, не безгра­ничны. Он должен поэтому стараться расходовать свой труд и свое время, равно как и приобретенные ценою их затраты продукты, с воз­можно большею осмотрительностью: он должен вести *хозяйство.* В область этого хозяйства будут, очевидно, входить лишь те предметы, приобретение которых стоило человеку известного труда, или, как вы­ражается Родбертус, «причины, сделавшие необходимым ведение хозяй­ства, определяют и границы его области». Все предметы, обладателем которых человек становится без всяких усилий с своей стороны, будут *естественными благами,* не представляющими собою объектов его хо­зяйственной деятельности.

Вместе с этим «определением границ хозяйственной области» че­ловека становится ясным и то положение, что *предметы потребления стоят труда, и только труда,* — другими словами, что «в истории воз­никновения предметов потребления нет помимо труда других элемен­тов, которые можно было бы рассматривать с точки зрения *стоимости* этих предметов. Никто, конечно, не станет отрицать, что для произ­водства известного продукта нужен еще материал, к которому мог бы быть приложен труд человека. Но этот материал дает ему природа. И нужно было бы, — замечает наш автор, — олицетворять природу, чтобы говорить о том, чего *стоит для нее* материал или так называемые силы ее, утилизируемые человеком для облегчения своего труда. А если нельзя говорить о том, чего *стоит* первоначальный материал *природе,* то нельзя, стало быть, и вообще говорить о его стоимости. Он суще­ствует помимо труда человека, а кроме человека нет другого субъекта, которому мог бы *стоить* чеголибо тот или другой предмет: природа безлична. Поэтому человек может быть очень благодарен природе за то, что силы ее облегчают ему труд производства необходимых для него продуктов; но в хозяйстве его эти продукты будут иметь значение лишь постольку, поскольку ему придется дополнять своим трудом дело природы. «Кто смотрит на предметы потребления иначе, тот рас­сматривает их с естественноисторической точки зрения», — замечает Родбертус[[74]](#footnote-74)*.*

При этом нужно помнить, что экономическая наука имеет дело только с материальными продуктами и только с тем трудом, который имеет целью производство этих продуктов. С легкой руки Ж. Б. Сэя французские экономисты особенно склонны были умалять различие между всеми видами «производительной деятельности» человека. Они утверждали, что труд юристов, писателей и чиновников так же входит в область национальноэкономических исследований, как труд маши­ниста или земледельца. Впрочем, на деле и они не оставались, по сло­вам Родбертуса, верными этому взгляду. «Заявивши на первых страни­цах своих сочинений, что нематериальные продукты также подлежат ведению хозяйственной науки, они ни единым словом не упоминали об этих продуктах во всех остальных частях своих исследований» и рас­суждали лишь о материальных предметах потребления. Если бы они захотели быть последовательными, то должны были бы «писать не о политической экономии, а о социальной науке в обширном смысле этого слова; тогда можно было бы говорить о теологии или юриспру­денции рядом с технологией или сельским хозяйством». Но деятельность, направленная на добывание материальных продуктов, во всяком случае, настолько важна и обширна, что может и должна составить предмет особой науки, область которой была бы разграничена с обла­стью других общественных наук. С точки же зрения этой науки про­изводительным может назваться только тот труд, который непосред­ственно направлен на производство материальных предметов потребле­ния. Судья, занимающийся охранением существующего в обществе пра­вового порядка, косвенным образом способствует, конечно, производству материальных продуктов. За эту деятельность он имеет, раз­умеется, полное право требовать известного вознаграждения. Но пред­метом непосредственных его занятий является право, а не фабричный или земледельческий труд. И если нельзя сказать, что рабочие прини­мают участие в деятельности судьи, обеспечивая ему материальные средства существования, то и, наоборот, нельзя утверждать, что судья участвует в производстве материальных предметов, занимаясь охра­нением правового порядка. «Необходимая взаимная связь различных общественных функций составляет, — говорит Родбертус, — гораздо бо­лее широкое понятие, чем понятие о разделении труда, направленного на добывание материальных предметов».

Но если все «хозяйственные блага» стоят труда, то под этим последним нужно понимать не только ту непосредственную работу, кото­рая делает материал годным для потребления. С теми *орудиями* труда, которыми снабдила его природа, то есть с органами своего тела, чело­век ушел бы очень недалеко, так как органы эти слишком слабы для успешной борьбы за существование. Поэтому с самых первых шагов своего культурного развития он вооружается искусственными орудиями, для приготовления которых он должен, разумеется, затратить извест­ное количество сил и времени: они также *стоят ему труда.* Каждый приготовленный не голыми руками продукт будет стоить, следовательно, вопервых, труда, с помощью которого орудия производства были упо­треблены в дело, а вовторых, — той работы или, вернее, известной части той работы, которая нужна была для выделки самих орудий производства. Если данное орудие могло служить для выделки одного только предмета, который мы назовем *х*, то стоимость его целиком перенесется на этот предмет. Если же с помощью нашего орудия можно произвести не один, а несколько, — например, хоть десять, — таких пред­метов, то на каждый из них в отдельности перенесется только одна десятая часть стоимости орудия. Таким образом стоимость каждого из них будет равняться, вопервых, десятой части стоимости орудия, к которой нужно прибавить, вовторых, труд, затраченный на приве­дение орудия в действие во время производства. Если мы этот труд обозначим через m, а труд, необходимый для приготовления орудия, через *п,* то у нас получится следующая формула стоимости нашего предмета:

$$x =m+ \frac{n}{10}$$

.

До сих пор мы предполагали, что имеем дело с человеком, веду­щим совершенно изолированное хозяйство. Для простоты примера было допущено, что трудящийся сам выделывает необходимые для него ору­дия и сам же подвергает существующий в природе материал всем после­довательным видам обработки. Но известно, что таких Робинзонов в действительности не существует. Уже на самых низших ступенях раз­вития человеческих обществ в их среде замечается известное разде­ление труда, делающее возможной кооперацию нескольких производи­телей. Затем появляется частная собственность, обнаруживаются имущественные неравенства, земля и орудия производства скопляются в руках высших сословий. Спрашивается, не вносит ли этот ход разви­тия человеческих обществ каких-либо ограничений в то положение, что «все продукты стоят труда и только труда»? Если это положение верно для человека, ведущего изолированное хозяйство, то не возни­кают ли, с течением времени, какие-нибудь другие элементы, которые рядом с трудом входили бы составною частью в стоимость продуктов? Известно, что этот вопрос был поводом ожесточенных споров между различными школами экономистов. Каждая из них отвечала на него посвоему и каждая утверждала, что она развивает лишь учение Адама Смита об этом предмете. И нужно сознаться, что Смит выра­жался по этому поводу так сбивчиво и неопределенно, что действи­тельно мог поддерживать своим авторитетом самые противоположные мнения.

По словам Родбертуса, вышеприведенная «истина не изменяется ни вследствие разделения труда, ни вследствие того, что людям удается, с течением времени, с меньшим количеством усилий производить боль­шее количество продуктов»[[75]](#footnote-75).

Разделением труда обусловливается лишь то обстоятельство, что над производством каждого данного продукта трудится уже не одно, а несколько лиц. Продукт стоит, в таком случае, труда всех тех ра­бочих, через руки которых он проходил на различных стадиях его приготовления. Если к труду этих работников прибавить ту часть стоимости, которую утратили употреблявшиеся ими орудия, то мы по­лучим полную стоимость данного продукта. А так как орудия произ­водства, в свою очередь, «стоят труда и только труда», то мы должны признать, что теперь — как и в изолированном хозяйстве — в стоимость продуктов не входит никаких элементов, кроме человеческой работы.

Точно также не изменяется сущность дела и с возникновением частной собственности на землю и капиталы. Оно ведет лишь к тому, что производители не трудятся более для себя, но работают на земле­владельцев и капиталистов. Поэтому и продукт труда принадлежит уже этим последним, между тем как рабочие получают, если они поль­зуются личной свободой, известное вознаграждение в виде заработной платы. Но продукты не перестанут быть результатом их труда и только их труда. Конечно, землевладельцы и капиталисты могут и сами при­нимать участие в труде их работников, и тогда продукты будут ре­зультатом, между прочим, и их труда. Но они выступят, в таком слу­чае, уже в качестве работников, а не в качестве капиталистов и земле­владельцев. Продукты будут результатом «их *труда,* а не *почвы* их или капиталов»[[76]](#footnote-76). Словом, все, что составляет доход собственников, поземельная рента и прибыль на капитал, представляет собою такой же продукт труда, как и заработная плата.

«Все передовые экономисты согласны между собою в этом отноше­нии, — говорит Родбертус, — хотя они и держатся различных взглядов на правомерность существования ренты и прибыли». Даже Бастиа и Тьер признают, что рента и прибыль составляют продукт труда. Но, по мнению этих последних, каждый поземельный собственник пред­ставляет собою именно то лицо, — или наследника того лица, — которое впервые расчистило данный участок земли и сделало его годным для обработки. Точно также и в капиталистах видят они лиц, собствен­ным трудом приготовивших те средства производства, которые упо­требляются ныне в дело рабочими. В этом пункте, — равно как и в вопросе о том, не являются ли рента и прибыль несколько преувели­ченным вознаграждением за когдато сделанную работу, — и лежит, по мнению Родбертуса, начало всех споров и несогласий между «передо­выми экономистами».

Если разделение труда и переход его орудий и объектов в руки высших сословий не могли поколебать вышеприведенной «теоремы», то возрастание производительности труда еще менее способно принести с собою какие-нибудь новые элементы стоимости. Единственным резуль­татом увеличения плодородности почвы или прогресса промышленной техники может быть лишь уменьшение затраты труда, необходимого для производства земледельческих или фабричных продуктов.

«Но никогда, — говорит Родбертус, — хлеб, выросший на более плодородной почве, не будет продуктом чеголибо другого, кроме труда; никогда не может он быть назван — с экономической точки зрения — продуктом самой почвы или землевладельца, как такового». То же нужно помнить и относительно фабричных продуктов. С экономиче­ской точки зрения было бы невозможно сказать, что производимые ныне с меньшими, чем прежде, затратами труда фабрикаты являются отчасти продуктом действующей в машинах естественной силы или продуктом предпринимателя, как такового. И до и после введения ма­шин фабричные изделия являются продуктами труда: в первом случае большего, во втором — меньшего его количества.

Связанное с употреблением машин возрастание количества продук­тов, производимых работником в единицу времени, дает нам только понятие о роли и значении производительности труда в экономиче­ской истории общества, но ни на йоту не ограничивает правила, по которому «все предметы потребления стоят труда и только труда».

Если «в истории возникновения предметов потребления нет, кроме труда, других элементов, которые можно было бы рассматривать с точки зрения стоимости этих предметов», то мы имеем право предпо­ложить, что труд является единственной нормой, регулирующей обмен продуктов на рынке. Иначе сказать, мы имеем все основания согла­ситься с Рикардо, утверждавшим, что меновая стоимость предмета «или количество всякого другого предмета, на которое он обменивается, зависит от сравнительного количества труда, необходимого на его про­изводство»[[77]](#footnote-77). Правда, так называемая рыночная цена предметов по­стоянно колеблется под влиянием изменений в спросе и предложении, но она стремится, по крайней мере, совпасть с «естественной ценою» предметов, которая определяется количеством труда, необходимого на их производство. Совершенно в духе Рикардо, Родбертус замечает, что это тяготение рыночной цены обусловливается конкуренцией предпринимателей. В самом деле, если бы в какой-нибудь отрасли производ­ства предпринимателям удалось получить, в обмен за свои продукты, количество предметов, стоившее большего труда, чем стоили им соб­ственные изделия, то это было бы равносильно увеличению их прибыли. Каждый, располагающий свободным капиталом, поспешил бы употре­бить его в «дело» именно в этой, более выгодной отрасли производ­ства. Тогда предложение ее продуктов превысило бы спрос их на рынке; упала бы их рыночная цена, а вместе с нею и прибыль предпринимателей, и меновая стоимость предметов снова стала бы в зависи­мость единственно «от количества труда, необходимого на их произ­водство». В том случае, когда рыночная цена предметов упала бы слишком низко, то есть, если бы в обмен за них стали давать коли­чество других предметов, стоившее меньшего труда, чем стоили они сами, произошло бы явление обратное вышеописанному. Производство этих продуктов сделалось бы, сравнительно, невыгодным, предприниматели стали бы переводить свои капиталы в другие более прибыльные отрасли промышленности, и рыночная цена этих продуктов, вследствие уменьшения предложения, снова поднялась бы до надлежащего уровня. Так, подобно маятнику, вечно колеблется рыночная цена продуктов то в ту, то в другую сторону, никогда, быть может, не совпадая, но всегда стремясь совпасть с точкой покоя, т. е. с «естественной» их ценою. Таково общее правило. Но известно, что на всякое правило есть исключения. «В частностях, т. е. в каждом данном ремесле и на ка­ждой данной ступени разделения труда, продукты не всегда могут обме­ниваться, — говорит Родбертус, — на точном основании заключающегося в них количества труда»[[78]](#footnote-78). Эти отклонения от нормы вызываются, по его мнению, двумя причинами:

1) тем, что прибыль капиталистов «имеет, по крайней мере, тен­денцию сделаться равной во всех предприятиях»;

2) тем, что меновая стоимость продуктов данного рода опреде­ляется количеством труда, необходимого на их производство в тех именно предприятиях, которые вынуждены работать при наименее бла­гоприятных условиях.

Остановимся сначала на первой из этих причин. Читателю извест­но, как определяется уровень прибыли промышленных предприятий: сумма так называемого чистого дохода делится на общую сумму пред­принимательского фонда. Если фабрикант затратил на свое предпри­ятие 100.000 рублей и получил 20.000 руб. чистого дохода, то прибыль будет равняться пятой части его капитала, или, иначе сказать, он получит 20% прибыли на свой капитал. Предположим теперь, что два предпринимателя «работают» в двух различных отраслях промышлен­ности. Допустим также, что каждый из них «дает работу» одинако­вому числу «рук» и что «руки» эти затрачивают в течение рабочего дня одинаковое количество труда в каждой из этих отраслей промы­шленности. Тогда один из элементов общей стоимости продуктов — труд непосредственно занятых в производстве работников — будет также одинаков в обоих предприятиях. Если мы предположим, кроме того, что каждый из наших предпринимателей употребляет машины одинаковой стоимости и одинаковой прочности, то в обоих предпри­ятиях на продукт перенесется одинаковая стоимость с орудий труда. Но в обществах, основанных на разделении труда, существует еще третий элемент меновой стоимости продуктов: стоимость материала, из которого они приготовляются. Мы говорили выше, что *первоначаль­ный материал* дается человеку самой природой и потому не может быть рассматриваем с точки зрения стоимости. Поэтому мы просим читателя обратить внимание на то, что теперь речь идет уже не о *первоначаль­ном* материале. Известно, что при разделении общественного труда один и тот же предмет является *продуктом* по отношению к одной отрасли производства и *материалом* по отношению к другой. Камен­ный уголь, например, может назваться *продуктом труда* рабочих, до­бывающих его в шахтах, и *материалом* — по отношению к рабочим газовых заводов; полотно есть продукт труда ткача, материал для труда швеи и т. д., и т. д. Мы знаем также, что при современных обществен­ных отношениях переход продуктов из одной отрасли производства в другую, т. е. с одной ступени обработки на другую, более высокую, «представляет собою длинную цепь передач и отчуждений собствен­ности, совершаемых при посредстве денег». Чем больше ступеней обработки прошел известный продукт, тем он дороже, потому что тем большее количество труда он, по выражению Родбертуса, «в себе за­ключает». Если взятые нами для примера два предпринимателя нужда­ются в материале различной степени обработки, то и стоимость этого материала будет неодинакова: одному из них придется заплатить за него, положим, 50.000 руб., другому — 100.000 или более. Разумеется, стоимость материала перенесется на продукт и составит, рядом с двумя указанными выше, третий элемент его меновой стоимости. Благодаря неодинаковым затратам на материал, *валовой доход* наших предпри­нимателей будет, следовательно, неодинаков. Первый выручит меньшую, второй большую сумму за свой продукт. Что же касается *чистого до­хода,* то на него стоимость материала не может оказать влияния, если только продукты обмениваются сообразно «количествам труда, необ­ходимого на их производство». В самом деле, ни материал, ни орудия труда не создают новой стоимости. Ее создает только живой челове­ческий труд. Стало быть, секрета *чистого дохода* мы должны искать в труде занятых производством продуктов рабочих. И действительно, ларчик открывается именно с этой стороны. *Чистый доход* предприни­мателей обязан своим существованием единственно тому, что рабочие получают, в виде заработной платы, стоимость значительно меньшую, чем та, которую они создают своим трудом и прибавляют, таким обра­зом, к стоимости материала. Ниже мы еще вернемся к этому предмету, а теперь обратим внимание на «барыши» наших предпринимателей. Каждый из них «дает работу» одинаковому числу «рук». Каждый удер­живает, при равной продолжительности и интенсивности работы и рав­ной заработной плате в обоих предприятиях, одинаковую часть стои­мости произведенных этими «руками» продуктов. Чистый доход их будет, следовательно, одинаков. Но один из них должен был сделать бóльшие затраты на материал, чем другой. Поэтому равный в обоих предприятиях чистый доход не будет стоять в одинаковом отношении к общей сумме издержек каждого из наших предпринимателей. Он бу­дет составлять, положим, четвертую часть издержек одного и только пятую часть издержек другого предпринимателя, которому пришлось употреблять в дело более дорогой материал. Первый получил 25% прибыли на затраченный им капитал, между тем как второму удается «заработать» только 20%. Но какой же предприниматель согласится затрачивать свой капитал в менее выгодной отрасли промышленности? Разумеется, никакой, если только не существует законодательных по­становлений, стесняющих переход от одного занятия к другому. По­этому Родбертус и полагает, что меновая стоимость продуктов не всегда «зависит от сравнительного количества труда, необходимого на их производство». Продукты тех отраслей производства, которые обра­батывают более дорогой материал, *всегда* должны, по его мнению, про­даваться по цене, несколько превышающей эту норму. И это откло­нение от общего правила должно быть достаточно для того, чтобы во всех отраслях промышленности отношение чистого дохода к общей сумме издержек предприятия было одинаково или, другими словами, чтобы уровень прибыли стоял на одной высоте.

Перейдем теперь ко второму из указанных Родбертусом ограни­чений общего закона меновой стоимости.

Увеличение спроса на продукты известного рода вынуждает, ко­нечно, к расширению производства этих продуктов. При этом может случиться, что добавочное их количество потребует большей затраты труда, чем нужно было прежде для производства равного ему количе­ства этих продуктов.

По мнению Родбертуса, стоимость всех находящихся на рынке продуктов этого рода должна возрасти пропорционально увеличению трудности производства добавочного их количества. Так, например, Рикардо утверждал, что с развитием общества производство земледель­ческих продуктов может расширяться только на счет худших участков земли. Если бы он был прав, то меновая стоимость хлеба постоянно возрастала бы, в зависимости от большей трудности производства его на менее плодородных участках. Вследствие этого, хлеб, снятый *с луч­ших участков,* приобрел бы стоимость, несколько превышающую ко­личество труда, затраченного на его производство. Другими словами, при обмене этого хлеба, например, на фабричные продукты, за него давали бы количество этих продуктов, стоившее большего труда, чем стоит он обладателю плодородного участка. Но если за продукт трех дней труда на *лучшем* участке дают продукт четырех дней фабричного труда, то один день фабричного труда создает стоимость, равную только трем четвертям дня работы на названном участке. Таким образом, «нарушение общего закона меновой стоимости но отношению к какому-нибудь продукту оказывает обратное действие на стоимость тех продуктов, на которые этот продукт обменивается».

Но этим исключениям не нужно придавать преувеличенного зна­чения. «Они доказывают только, что общий закон меновой стоимости применим не во всех частных случаях, но не опровергают его верности в общем»[[79]](#footnote-79).

Частные отступления уравновешивают друг друга, и меновая стои­мость предметов не перестает «зависеть от сравнительного количества труда, необходимого на их производство». Нельзя, например, утвер­ждать, — как это, не без задней мысли, делали некоторые экономисты, — что меновая стоимость *всякого* продукта несколько превышает количество затраченного на его производство труда. Такого рода пре­вышение возможно, по мнению Родбертуса, только в частных случаях. «Делаясь общим правилом, — говорит он, — оно тем самым потеряло бы всякое реальное значение». На кого падало бы это повышение меновой стоимости предметов? В обществе, основанном на разделении труда, потребители одних продуктов являются в то же время производителями других. В случае предположенного общего возвышения меновой стои­мости предметов производители продавали бы свои продукты по той же возвышенной цене,по какой покупали бы продукты всех других отра­слей производства. Положенное в один карман они вынимали бы из другого, и само собою разумеется, что такого рода упражнения так же не увеличили бы стоимости всех продуктов, как не увеличивает раз­ности прибавка одного и того же числа к уменьшаемому и вычитаемому.

Но все это до такой степени просто и ясно, скажет читатель, что едва ли стоило останавливаться на этом; еще более странно считать такое простое и очевидное для всех положение краеугольным камнем какойто новой теории, которая должна будто бы исправить ошибки прежних экономистов. Все это, действительно, очень просто и очень ясно, ответим мы, с своей стороны. Но так уже исстари ведется, что все как нельзя более ясные научные истины подвергаются оспариванию, как только они становятся в противоречие с интересами сколько-нибудь влиятельных классов общества. Недаром же говорят, что математи­ческие аксиомы обязаны своею общепризнанностью единственно тому обстоятельству, что они не затрагивают ничьих интересов. А так как вопрос о меновой стоимости очень недвусмысленным образом касается интересов предпринимателей, то, разумеется, не могло быть недостатка в ученых, готовых оспаривать самые неоспоримые истины экономиче­ской науки. За примером, как говорится, ходить недалеко. Тот самый Германн, которого профессор Адольф Вагнер относит к числу самых выдающихся немецких экономистов[[80]](#footnote-80), утверждал, что обыкновенно продукты обмениваются на продукты большего количества труда, чем то, которое нужно было на их производство» (!). И такие «теории» стоимости не только не вызывали гомерического хохота, но выдава­лись за последнее слою экономической науки, и авторы их до сих пор, как читатель видит на примере Германна, пользуются почетом со сто­роны «благодарного потомства». Родбертус взял на себя труд напомнить экономистам учение Рикардо о меновой стоимости. Он понял, что, пока этот вопрос не будет выяснен окончательно, невозможно будет сколько-нибудь научное обоснование учения о распределении. Поэтому он и на­правил свои усилия прежде всего на доказательство того положения, что *«все предметы потребления стоят труда и только труда».* Этою «теоремой» начинается первое, вышедшее еще в 1842 году, его сочине­ние — «Zur Erkenntnis unserer staatswirthschaftlichen Zustände». И эта «теорема» одна уже показывает в нем истинного ученика и последова­теля Смита и Рикардо.

### IV.

Если «все предметы потребления стоят труда и только труда», то весь национальный доход обязан своим существованием труду работни­ков. Как же объяснить, — спрашивает Родбертус, — то обстоятельство, что в современном обществе часть национального дохода достается ли­цам, пальцем не пошевельнувшим для его производства? Известно, что есть много, даже целые классы лиц, не принимающих участия в произ­водстве материальных продуктов. Судьи, врачи, писатели, учителя и т. д., и т. д. получают известное количество предметов потребления, произведенных без всякого с их стороны участия и составляющих, сле­довательно, продукт труда других членов общества. Правда, доход этих лиц является результатом того, что называется «производным распре­делением продуктов». Они получают его, в виде вознаграждения за свои услуги, от других лиц, принимающих участие в «первоначальном распре­делении продуктов». Но как происходит это последнее? Не видим ли мы, что лица, не принимавшие никакого участия в производстве и не ока­завшие никаких услуг ни целому обществу, ни отдельным его членам, получают, тем не менее, часть национального дохода? Здесь предъявляет на нее свои права землевладелец, весь труд которого состоял в том, что он подписал контракт, заключенный им со своим арендатором. Там ка­питалист — не менее легким путем — получает проценты на деньги, поло­женные им в банк или отданные взаймы частным лицам. Предпринима­тель может поручить ведение всего своего дела управляющему, и, тем не менее, он будет получать доход, в виде прибыли на затраченный в производство капитал, даже в том случае, если капитал этот не соста­вляет его собственности. Он может занять его у другого лица и полу­чать прибыль, отдавая капиталисту часть ее, в виде процента. Конечно, лица эти могут заниматься весьма полезными для общества делами, мо­гут облагодетельствовать своих сограждан тем или другим научным открытием или изобретением. Но доход свой они получают вовсе не в виде вознаграждения за эти возможные услуги. Они не потеряли бы своих прав на него даже в том случае, если бы стали вести совершенно праздный образ жизни.

Что же дает этим лицам право на их доход, который, — называется ли он поземельною рентою, прибылью или процентами на капитал, — всегда представляет собою продукт труда других членов общества? И что заставляет трудящихся членов общества передавать продукты их работы своим праздным согражданам, не получая от них никакой по­лезной услуги? «Ответ на эти вопросы есть теория ренты вообще, т. е. прибыли на капитал, и поземельной ренты»[[81]](#footnote-81), — говорит Родбертус.

Разумеется, предшественники Родбертуса в экономической науке, равно как и современные ему школы, также должны были столкнуться с этими вопросами и искать того или другого их решения. Но каждая из школ отвечала на них различным образом, и каждая ошибалась, по мнению нашего автора, в том или другом отношении. Английская школа осталась более всех других верною «тому великому положению Смита, что все предметы потребления являются результатом труда». Рикардо целиком принимает это положение и признает, что поземельная рента и прибыль представляют собою продукт труда, и притом труда не тех лиц, которые пользуются ими как доходом. Но, обстоятельно трактуя вопрос о поземельной ренте, он «слишком поверхностно касается прин­ципа прибыли». Она существует, по его мнению, уж в самые ранние эпохи общественного развития. «Первоначально, — говорит он, — когда присту­пают к земледелию, почва приносит только заработную плату и при­быль». Он пытается объяснить происхождение прибыли, называя ее «вознаграждением за сбережение капитала». Но, по справедливому за­мечанию Родбертуса, это может назваться лишь более или менее удач­ным сравнением, но никак не объяснением. Некоторые же из последова­телей Рикардо смешали прибыль с процентом на отданный в заем ка­питал, между тем как, в сущности, это два совершенно различных понятия.

Процентом называется та часть прибыли, которую предпринима­тель отдает лицу, ссудившему ему необходимый для ведения дела де­нежный капитал. Но откуда же берется самая прибыль, откуда полу­чает предприниматель возможность уплачивать проценты своему заимо­давцу? Вопрос остается открытым, и если Рикардо давал на него весьма неясный ответ, то школа Сэя совершенно запутала дело. Она отрицала, что доход поземельных собственников и капиталистов представляет собою продукт труда. По ее мнению, доход этот обязан своим суще­ствованием «производительным услугам» заключающихся в почве и капитале естественных сил. Но, совершенно неожиданно для нее самой, школа Сэя дала своей теорией новое оружие в руки французских со­циалистов. «Если поземельная рента и прибыль являются результатом действия естественных сил, — говорили социалисты, — то справедливо ли обращать эти силы в собственность частных лиц? Не разумнее ли было бы передать их в обладание всего общества?» Довод их был неотразим, и, чтобы поправить дело, принимавшее неприятный для экономистов оборот, Бастиа дал в своих «Гармониях» новые ответы на поставлен­ные выше «проклятые вопросы». Он соглашается, что поземельная рента и прибыль составляют продукт труда, но старается уверить своих чи­тателей, что каждый из этих видов дохода создается трудом именно тех лиц, которые его получают, или их предков. Ту же карту передергивает и Тьер в своей книге «О собственности». «Мой ответ на вышепоста­вленные вопросы, — говорит Родбертус, — заключает в себе новую, отличную от трех предшествующих, теорию».

«Во все времена, с тех пор как появилось разделение труда, с ним было связано два явления, которыми объясняется возникновение позе­мельной ренты и прибыли на капитал, или ренты вообще», — продол­жает он, переходя к изложению этой теории. Первое из них было эко­номического характера и относилось к производству продуктов; второе стояло в связи с их распределением и носило поэтому правовой ха­рактер. Остановимся сначала на первом.

На самых низких ступенях общественного развития производи­тельность труда так незначительна, что продуктов его едва хватает на поддержание жизни самих трудящихся. Тогда продукт, по необхо­димости, должен всецело принадлежать самим трудящимся. Ни один член общества не может жить в праздности или взяться за какое-нибудь занятие, не имеющее в виду удовлетворения самых первых, самых на­сущных потребностей человека. Так, например, каждый член охот­ничьего племени добывает своим трудом не более того, что необходимо для поддержания его собственного существования и, разумеется, его семьи. Поэтому в охотничьем племени немыслимо появление людей, не занимающихся материальным трудом. Такие люди умерли бы с го­лоду, и, при всем желании, общество не могло бы обеспечить им сколько-нибудь сносное существование. Но предположим, что производитель­ность охотничьего труда вдруг возросла в два или три раза. Тогда ка­ждый охотник мог бы добывать средства существования не только для себя одного, да и еще для одного или двух членов племени. Этим была бы создана *экономическая возможность* существования ренты, которая, по терминологии Родбертуса, есть не что иное, как «доход, получаемый кем-либо в качестве собственника без всякого труда с своей стороны». Увеличение производительности труда представляет собою необходи­мое условие возникновения ренты. Последняя *«возможна только тогда, когда занятые в производстве работники создают своим трудом более того, что нужно для поддержания их существования»*[[82]](#footnote-82). Но охотничий труд никогда не может достигнуть такой степени производительности. Только переход к земледелию избавляет людей от необходимости тратить все свое время и все свои силы на удовлетворение насущнейших своих потребностей. Конечно, земледелие, в собственном смысле этого слова, доставляет только сырой материал. Его продукты должны под­вергнуться дальнейшей обработке, чтобы годиться для потребления. И, чтобы возможно было возникновение ренты, производительность труда должна возрасти также и в тех отраслях производства, которые занимаются обработкою доставляемого земледелием сырья. Что же ка­сается предметов не первой необходимости, то возрастание производи­тельности труда изготовляющих их лиц не составляет необходимого условия существования ренты. Если каждый занятый производством предметов первой необходимости работник может обеспечить средства существования не только самому себе, но и еще двум лицам, то ничто не мешает этим последним посвятить себя изготовлению предметов роскоши. Обладатели предметов первой необходимости отдадут им изли­шек своих продуктов в обмен за изделия роскоши, и такой обмен может состояться даже в том случае, если количество этих изделий будет весьма ограничено. Если же излишек продуктов первой необходимости скопится в руках немногих собственников, то они получат полную воз­можность содержать целые полчища совершенно непроизводительной челяди.

Чем более возрастает производительность труда, чем большее число членов общества может быть избавлено от необходимости материаль­ного труда, — тем большее число их может посвятить себя другим родам деятельности. Отсюда видно, как тесно связаны все сферы общественной жизни с экономическим прогрессом. «Чем выше производительность труда, тем пышнее может развиться умственная и художественная дея­тельность нации; чем ниже первая, тем беднее вторая».

Но возрастание производительности труда в свою очередь обусло­вливается его разделением. До разделения труда человеческая деятель­ность ограничивается захватом тех предметов потребления, которые предлагает сама природа: собиранием дикорастущих плодов или охо­той. Производство, в истинном смысле этого слова, земледелие и ско­товодство становятся возможными лишь со времени разделения труда с которым тесно связан весь экономический прогресс общества. В са­мом деле, человеческий труд может сделаться производительнее только путем улучшения способов производства и усовершенствования его ору­дий. Но никакое серьезное усовершенствование способов и орудий производства не мыслимо без разделения труда. «Именно это последнее было тою дверью, через которую человечество вышло на бесконечную дорогу своего экономического развития».

Казалось бы, что возрастание производительности труда должно прежде всего послужить на пользу самим трудящимся. Если в резуль­тате известного количества труда является большее, чем прежде, ко­личество продуктов, то естественнее всего было бы ожидать, что производители воспользуются этим для улучшения своего материального благосостояния для сокращения своего рабочего дня и т. д., и т. д. Так оно, по мнению Родбертуса, и было бы, если бы экономические успехи человечества не сопровождались возникновением некоторых правовых институтов, обуславливающих некоторые особенности в распределении продуктов.

Сущность этих институтов сводится к следующему. Как только производительность труда поднимается на такую высокую степень, что трудящийся оказывается в состоянии производить более, чем нужно для поддержания его существования, то почва и капиталы переходят в собственность лиц, не принимающих непосредственного участия в производстве. Поэтому и продукты труда достаются уже не рабочим, а обладателям средств производства. Из общей суммы этих продуктов рабочие получают только часть, не превышающую того, что необхо­димо для поддержания их жизни. Остальная часть продукта поступает в полное распоряжение собственников и составляет их *ренту.* «Поло­жение это кажется, с первого взгляда, до такой степени невероят­ным, — замечает Родбертус, — что может возбудить недоумение в чи­тателях... Ведь написал же Тьер целую книгу в 400 страниц, чтобы до­казать, что собственность основывается только на труде, что она на­столько же законна, насколько законно присвоение трудящимся про­дуктов своего труда. И вдруг оказывается, что знаменитый писатель старался обосновать право собственности, ссылаясь на несуществующий факт! В конце концов выходит, что в своей книге Тьер только и делал, что побивал самого себя! Как несомненно то, что труд есть единственное разумное основание права собственности, что труд, го­воря словами Тьера, не только должен лежать в основе собственности, но также определять ее меру и границы, так же неопровержимо и то обстоятельство, что всюду, где существует разделение труда, почва, орудия и продукты труда не принадлежат рабочим. Они составляют собственность последних только до разделения труда, т. е. до начала цивилизации. Земля, на которой снискивает свое пропитание первобытный охотник, составляет его собственность так же, как его лук, стрелы или убитое им животное. С появлением разделения труда такое правовое отношение трудящегося к средствам и продуктам производ­ства немедленно прекращается. Оглянитесь вокруг себя! Где земля принадлежит работнику? Она принадлежит тому, кто не только не обрабатывал, но, пожалуй, никогда ее и не видал. Где принадлежит работнику капитал, т. е. материал и орудия его труда? Он получает их от другого лица, от собственника, и работает, таким образом, с помощью чужого капитала. Где, наконец, принадлежат рабочему продукты его труда? Никогда, во все продолжение процесса производства, начи­ная от обработки пашни, на которой он сеет клевер для корма овец, и кончая доставкой сукна потребителям, на всех ступенях производ­ства, во время стрижки, пряденья шерсти, тканья и окрашиванья сукна, продукт не принадлежит работнику; он составляет собственность сна­чала землевладельца, а затем целого ряда предпринимателей, подвер­гающих его дальнейшей обработке. Трудящиеся над приготовлением продуктов рабочие получают заработную плату, которая есть нечто другое, чем продукт их труда. Только эта заработная плата и посту­пает им в собственность, — если они могут, по своему правовому поло­жению, иметь собственность. В таком отношении к почве, капиталу и продуктам своего труда повсюду стоит современный работник, и это отношение становится тем более заметным, чем более развивается разделение труда и возрастает его производительность»[[83]](#footnote-83).

Мы знаем уже, что Бастиа и Тьер не смущались современным по­ложением работника. Они утверждали, что если земля и не принадле­жит работнику в настоящее время, то она во всяком случае составляет собственность тех лиц или наследников тех лиц, которые впервые сделали ее доступной для обработки. Так же рассуждали они и о капи­тале. По их мнению, он перешел в обладание нынешних капиталистов в качестве наследства от тех лиц, труду которых он обязан своим су­ществованием. Но Родбертус не придает низкой цены подобного рода положениям. «Я думаю, — пишет он во втором письме к Кирхману, — что в вас, мой дорогой друг, эти бессмысленные уверения всегда вызывали такое же отвращение, как и во мне. Как? Разве не происходит почти ежедневно обработка новой, девственной почвы, ее осушение и т. п.? Этот труд совершается не землевладельцем, а нанятыми рабочими, ко­торые не получают, однако, ни малейшего права собственности на воз­деланную ими землю. Не возникают ли ежедневно новые капиталы, ко­торые менее всего составляют продукт труда лиц, получающих на них право собственности? И как это могло случиться, что факт присвоения самими трудящимися первых обработанных участков земли и первых возникших по разделении труда капиталов, что этот предполагаемый факт навсегда сделал невозможным свое повторение? Неужели разум­ный правовой принцип присвоения трудящимися продуктов своего труда, неужели этот принцип только для того и явился нормой взаимных отно­шений первобытных производителей, чтобы затем уничтожить себя на­всегда? Нет, мнение, по которому первоначально дело происходило не так, как теперь, *исторически неверно и экономически невозможно.* И прежде, с тех самых пор, как появилось разделение труда, землевла­дельцами и капиталистами были не те лица, которые расчистили почву и создали своим трудом капиталы. Землевладельцы и капиталисты ни­когда не были бы в состоянии одними только собственными силами рас­чистить почву и произвести капиталы»[[84]](#footnote-84).

С самых первых шагов культурного развития человечества дей­ствительность представляла, по мнению Родбертуса, далеко не те мир­ные картины, малеванию которых так охотно предаются многие эко­номисты. Всегда и везде, вслед за разделением труда, появляетсяэксплуатация человека человеком. «Одни повинуются и служат, дру­гие повелевают и наслаждаются; одни работают, другие присваивают себе расчищенную землю, капиталы и продукты труда». Такой порядок вещей так же стар, как и «право, без которого немыслим был бы» экономический прогресс человечества. Только в среде незнающих разделения труда дикарей наталкиваемся мы на другие отношения между людьми. В охотничьем племени все свободны; лук, стрелы, все необхо­димые для охоты снаряды, равно как и убитая дичь, принадлежат еще самому охотнику. На этой ступени развития человеческих обществ еще невозможно сколько-нибудь продолжительное подчинение человека че­ловеку. Связь родителей с детьми прекращается, как и в животных семьях, немедленно по достижении детьми физической зрелости. Побежденных неприятелей убивают, приносят в жертву или съедают. И весь этот порядок вещей обусловливается экономическою необходимостью. Когда производительность труда стоит на такой низкой ступени, что каждый трудящийся не может произвести более того, что необходима ему для поддержания его существования, тогда эксплуатация человека человеком экономически невозможна. Обращение побежденного врага в раба не приносит еще никакой выгоды победителю, поэтому последний должен или убить, или совершенно освободить своего неприятеля. Осво­бождение его было бы, однако, не в интересах победителя, так как борьба могла бы возгореться снова. Поэтому «охотничьи племена должны убивать своих побежденных неприятелей». Но вот общество подвигается несколько далее по пути своего культурного развития. По­являются земледелие и разделение труда, производительность его воз­растает, и каждый трудящийся получает возможность производить сверх необходимою для него самого еще известный излишек. Тогда по­бедителю уже невыгодно убивать своего врага. Он предпочитает обра­тить его в рабство, чтобы пользоваться излишком созданных его тру­дом продуктов. Успехи общества на поприще экономических усовершен­ствований влекут за собою прогресс в правовых отношениях, потому что порабощение всетаки должно быть признано смягчением нравов, в сравнении с убийством или антропофагией. «Развитие правовой идеи всегда шло рука об руку с экономической необходимостью».

Мы видим таким образом, что «рабство возможно только у зем­ледельческих народов». Но зато в среде этих народов оно находит себе самое обширное применение. По словам Родбертуса, история не может указать ни одного народа, у которого самые первые следы земледелия не были бы связаны с эксплуатацией слабых сильными, у которого «на долю одних не выпадал бы труд, на долю других — пользование его про­дуктами». Насилие является необходимым и потому неизбежным спут­ником экономического развития общества, одним из важнейших факто­ров его хозяйственного уклада. Экономический строй всех сколько-нибудь культурных народов есть продукт насилия, господства с одной стороны и подчинения — с другой. Древнейшие исторические памятники изображают дело именно таким образом, и даже в греческой философии заметно еще, по словам Родбертуса, влияние этого повсеместного явле­ния. Наш автор цитирует то место из «Политики» Аристотеля, в кото­ром последний говорит, что из «отношений мужчины к женщине и *госпо­дина к рабу* возникает первое хозяйство». У наших предков дело происходило совершенно подобным же образом. Оно не изменилось и в то время, «в котором можно уже исторически проследить зачатки современного национального богатства Германии». В доказательство Родбер­тус ссылается на знаменитые капитулярии Карла Великого de villis, то есть на те распоряжения последнего об устройстве и организации импе­раторских вилл или хуторов, которые открывают собою, по словам Маурера, «новую эпоху» в истории крупного землевладения в Гер­мании[[85]](#footnote-85).

Таким образом оказывается, что и «первоначально» почва, ка­питалы и продукты труда не принадлежали самим рабочим. По мнению нашего автора, гораздо более согласно с исторической истиной обратное положение, то есть, вернее было бы сказать, что первоначально не только почва, капиталы и продукты труда, но и самые работники составляли собственность других, не трудящихся лиц. «Первоначальный вид эксплуатации человека человеком настолько же суровее современного, на­сколько рабство тяжелее для работника, чем договорные отношения его к предпринимателю» в современном обществе.

Но предполагаемый школой Бастиа первоначальный вид отношений производителя к продуктам его труда, т. е. присвоение им этих про­дуктов невозможно и с экономической точки зрения. Каким образом могло произойти расчищение почвы, осушение ее, распашка, словом, все необходимые при переходе к земледелию работы? Разумеется, их не мог предпринять и исполнить изолированный работник. Последний едва может поддержать свою жизнь, влача жалкое существование дикаря-охотника. Его единичных усилий было бы недостаточно для расчистки и обработки почвы. Только основанное на разделении труда общество, «только социальный человек» может совершать чудеса экономического прогресса. Поэтому и обработка почвы и изготовление орудий труда могло быть предпринято лишь целыми группами людей, в среде которых уже появилось разделение труда. Но как возникли такие группы, — спра­шивает Родбертус, — как происходило распределение занятий, разделе­ние труда в их среде? Было ли оно следствием свободного договора, ко­торым определялись бы способы коллективного производства, участие в нем каждого из членов общества и, наконец, справедливое, по поня­тиям того времени, распределение? Утверждать это, — говорит Родбер­тус, — было бы еще ошибочнее, чем считать поземельную собственность и капиталы продуктом труда их обладателей. «Как образованию госу­дарств не мог предшествовать общественный договор, так и экономи­ческая организация народов не могла быть результатом свободного соглашения». Мы уже говорили выше, что весь культурный прогресс чело­вечества стоит в тесной связи с возрастанием производительности труда. Мы говорили также, что достигнуть сколько-нибудь высокой степени может лишь разделенный труд. И разделение труда должно, в отличие от случайных меновых сделок первобытных дикарей, найти себе место в самом процессе производства. Продукт должен составлять результат кооперации нескольких производителей, приготовляющих его по частям. Необходимым следствием такой организации производства является пра­вильный обмен продуктов между производителями, которые не могут уже удовлетворять своих потребностей продуктами своего индивидуаль­ного труда.

Но этото разделение труда — необходимая основа всего общественно-экономического процесса — «первоначально основывалось на прину­ждении и насилии». Впервые оно нашло себе место в той семье, в кото­рой женщины и дети находились, в сущности, в рабском состоянии, не го­воря уже о том, что рабы, в собственном смысле этого слова, являлись ее необходимою составною частью. Затем рабство, а с ним и насилие, раз­вивалось далее, легло в основу всего античного хозяйства и, пройдя не­сколько переходных ступеней, смягчилось в средневековое крепостни­чество, доставившее необходимый контингент для образования «класса современных рабочих. Во все эти эпохи продукты разделенного труда и кооперации производителей не могли принадлежать самим трудящимся, потому что принадлежали господину. С мыслью о том, что единственным основанием собственности должен служить труд, случилось, по мнению Родбертуса, то же самое, что произошло со всеми социальными идеями. «Как только додумывается до них человечество, сейчас же находятся люди, которые в благородном или корыстолюбивом рвении, стараются доказать, что эти идеи лежат в основе всей истории общества. А между тем эти идеи только еще идут к своему осуществлению в будущем»[[86]](#footnote-86).

Но Родбертус идет еще далее. Он утверждает, что средства произ­водства и не *должны были* принадлежать рабочему. Они «и не будут никогда принадлежать ему как собственность, — по крайней мере, до тех пор, пока разделение труда будет существовать, развиваться, расши­ряться и опрокидывать над обществом рог изобилия своих чудесных со­кровищ»[[87]](#footnote-87). Осуществление такого порядка имущественных отношений, в котором каждый рабочий являлся бы собственником орудий и непо­средственного продукта своего труда, встретило бы, по мнению нашего автора, непреодолимые технические препятствия. «Припомните, — го­ворит он, — знаменитый пример булавочного производства. Здесь между добыванием и обработкой металла, с одной стороны, и доставкой була­вок потребителю — с другой, — продукт проходит через руки целого ряда производителей. Каждый из них нуждается в особых орудиях, которые, в свою очередь, изготовляются особыми производителями. Если при­знать, что непосредственный продукт труда должен принадлежать рабо­чему, то каждая булавка окажется собственностью всех рабочих, кото­рые трудились над ее приготовлением. Каким же образом мог бы всту­пить в свои права каждый из этих собственников? Как пришлось бы делить между ними продукт их совокупных усилий? И что делал бы каждый рабочий, получивший в булавках свою долю общего продукта? Право собственности рабочих на орудия и непосредственные продукты их труда создало бы такую массу трудностей и замешательств, что оно было бы равносильно уничтожению разделения труда, а с ним и всего пышного здания современной цивилизации». «Нет, — повторяет Родбертус, — почва, капиталы и непосредственные продукты не должны при­надлежать рабочим, как не принадлежали они им с тех пор, как суще­ствует разделение труда. В следующем «Письме»[[88]](#footnote-88), в котором я буду говорить о собственности, я укажу на глубокое, провиденциальное зна­чение, на телеологию этого явления. Мне удастся, я надеюсь, доказать, что если общество захочет установить справедливые имущественные отношения, оно всетаки не должно будет отдавать землю, орудия и про­дукты труда в собственность отдельных работников... Экономическое развитие нации не может стремиться к замене нынешних землевладель­цев и капиталистов — собственниками из рабочих; оно вообще не может выразиться в какихлибо законах о разделении национального иму­щества». С другой стороны, наш автор убежден в том, что экономиче­ское развитие необходимо должно привести к устранению несправедли­вых сторон современных имущественных отношений; оно должно, по его мнению, возвратить труду то, что принадлежит ему по праву. «Если я назвал, — оговаривается он, — глубоко справедливым то обстоятельство, что почва, орудия и продукты труда не принадлежат рабочим, то этот справедливый факт сопровождается не менее крупною несправедли­востью. Эта последняя состоит в том, что средства и продукты производства составляют *частную собственность* других лиц. С тех пор как существует разделение труда, орудия и продукты его *никогда* не со­ставляли собственности рабочих, но *всегда* принадлежали другим част­ным лицам. Первая *отрицательная* сторона этого явления не только оста­нется необходимой до тех пор, пока счастье общества будет опираться на разделение труда, но именно на нейто и могут быть построены более справедливые отношения в будущем. Вторая, *положительная* сторона указанного явления должна быть устранена, потому что в ней именно заключается несправедливость современных имущественных отношений. Не чем другим, как принадлежностью орудий и продуктов труда частным лицам, обусловливается то обстоятельство, что доход рабочих никогда не бывает равным стоимости продуктов их труда».

### V.

Теперь мы имеем ясный и полный ответ на поставленный выше во­прос о происхождении ренты. Мы знаем, благодаря чему лица, не при­нимавшие никакого участия в производстве, получают свою, иногда львиную долю в распределении. Мы видели, что право на эту долю не имеет никакой причинной связи с теми или другими полезными заня­тиями, которым предаются иногда собственники. *Экономическая воз­можность* таких общественных отношений создается возрастанием производительности труда. Чтобы дать возможность существовать ли­цам нетрудящимся, рабочие должны производить более, чем нужно для поддержания их жизни и продолжения их рода. Но одного этого условия недостаточно. Нужны еще такие учреждения, которые вынуждали бы рабочих передавать оставшийся — за удовлетворением их насущнейших потребностей — излишек в руки нетрудящихся членов общества. Нужны такие правовые нормы, при которых рабочие должны были бы

Предоставить почтительно нам Погружаться в искусства, в науки, Предаваться мечтам и страстям.

И такие правовые учреждения не заменили явиться тотчас же, как люди ознакомились с выгодами разделения труда. Сущность их сохра­нилась и до настоящего времени, несмотря на всевозможные формальные их изменения. «Как первоначально положительное право опиралось на силу, — говорит Родбертус, — так и теперь передача упомянутого излишка основывается на постоянном принуждении». Первоначально это принуждение достигалось путем рабства. Работники, создававшие своим трудом средства, сами представляли собою движимую собствен­ность, «говорящие инструменты!», как называет их Варрон. Господин их отдавал им то, что необходимо было для поддержания их жизни; все же, что оставалось затем из произведенного их трудом продукта, составляло его неотъемлемую собственность. В настоящее время цивилизованные нации не знают, конечно, не только рабского труда, но и крепостной зависимости. Но это не изменяет, по мнению Родбертуса, сущности дела. Современные землевладельцы и капиталисты имеют в своем распоря­жении прекрасное средство для отстаивания своих экономических инте­ресов. Средство это очень простое и обыкновенное: оно носит громкое название свободного договора. Не имея ни земли, ни капитала, современ­ный пролетарий может трудиться только по найму у предпринимателя. Продукты производства составляют поэтому собственность предприни­мателя, между тем как рабочий получает условную плату. При опре­делении высоты этой платы и обнаруживаются все благодетельные свой­ства свободного договора. Побуждаемый голодом, рабочий «рад полу­чить хоть часть стоимости своего собственного продукта, чтобы поддер­жать свое существование, то есть, чтобы иметь возможность снова взяться за работу»[[89]](#footnote-89). Эти реальные отношения нашли свое выражение в учении о необходимой заработной плате, высота которой должна опре­деляться, по мнению экономистов, уровнем насущнейших потребностей рабочего. Такимто образом «место приказания рабовладельца засту­пает в настоящее время договор рабочего с предпринимателем». Но до­говор этот «свободен только с формальной точки зрения, потому что голод вполне заменяет бич рабовладельца. То, что называлось прежде *кормом* раба, называется ныне *заработной платой* свободного рабо­чего»[[90]](#footnote-90). Соответственно этому и экономическая наука, со своим уче­нием о «необходимой» заработной плате, как о последнем пределе за­конных требований рабочего, не перестает смотреть на пролетария, «как на раба, который нуждается в корме столько же, сколько машина в починке».

Но если доход землевладельцев и капиталистов так же, как и доход рабовладельца, представляет собою продукт труда работников, то нужно сознаться, что в современном обществе существует целая масса условий, затрудняющих понимание сущности дела. Чрезвычайно слож­ный характер современных экономических отношений скрывает эту сущность от глаз поверхностного наблюдателя. Доход фабриканта при­нимает вид какогото независимого от труда рабочих «дохода от иму­щества», как будто составляющие этот доход продукты стоят чего-либо кроме труда. Но представим себе рабовладельческое хозяйство и соответствующую ему организацию производства и распределения. В таком хозяйстве часть рабов обрабатывает поле и добывает сырой про­дукт. Другая часть их подвергает сырье дальнейшей обработке, пока, на­конец, продукт не сделается годным для потребления. Таким образом, те отрасли труда, которым соответствует нынешнее фабричное произ­водство, не отделились еще от земледелия и соединяются с ним в одном и том же рабовладельческом хозяйстве. Все оставшиеся за прокормле­нием рабов продукты этого хозяйства естественно принадлежат «госпо­дину» и составляют его доход. Рабовладелец не станет вывозить эти продукты на рынок, чтобы путем обмена получить необходимые для него предметы потребления. На той ступени экономического развития, о которой здесь идет речь, хозяйство считается хорошим лишь тогда, когда рабовладелец не нуждается в покупке на стороне, когда все нужные ему предметы производятся его рабами. Именно такой идеал хозяйства рисуют своим согражданам Ксенофонт и Аристотель. Легко понять, — говорит Родбертус, — что все продукты такого хозяйства будут обязаны своим существованием труду рабов. Доход господина будет равен разности между произведенными и потребленными его рабами продуктами. И рабовладелец без всякого смущения согласился бы с этим; он считал бы вполне естественным то обстоятельство, что продукты труда его рабов составляют его собственность. Экономическая сторона дела была бы ясна, как день.

Но когда, с дальнейшим развитием общественно-экономических отношении, натуральное хозяйство переходит в денежное; когда по­являются отдельные классы землевладельцев и предпринимателей; когда, вследствие этого, взятый у рабочих излишек их продукта подразделяется, как мы увидим ниже, на поземельную ренту и прибыль, — тогда дело оказывается гораздо более сложным и запутанным. Имущим клас­сам не хочется сознаться в том, что доход их обязан своим существо­ванием труду свободных рабочих, у которых, как у рабов, отнимается часть их продукта. Если естественным следствием рабства было право собственности господина на все произведенное трудом *рабов,* то не менее естественным кажется право собственности *свободных рабочих* на полную стоимость их продуктов. И когда личная свобода рабочих уживается рядом с эксплуатацией его в пользу землевладельцев и предпринимателей, то у последних невольно является опасение за прочность своих привилегий. «Они боятся, — говорит Родбертус, — чтобы история не сделала последнего вывода из своих посылок и не освободила рабочего и в экономическом отношении. Под влиянием этого опасения представи­тели высших классов охотно соглашаются с тем учением, по которому рента представляет собою продукт *не труда,* а особых «производитель­ных услуг» почвы и капитала. Они обнаруживают, таким образом, осо­бенную склонность к экономическим теориям Сэя. Разделение же ренты на поземельную ренту и прибыль, в связи с обменом продуктов на рынке при посредстве денег, затрудняет понимание дела даже для тех, кто на­шел бы в себе достаточно мужества и беспристрастия, чтобы любить истину, какова бы она ни была». В современном обществе взятый у рабочих излишек их продукта, в свою очередь, распределяется между различными слоями общества. Класс лиц, которые, говоря словами Ад. Смита, жнут там, где не сеяли, подразделяется на землевладельцев, предпринимателей и «капиталистов», то есть лиц, ссужающих свои деньги другим для промышленных предприятий и получающих за это известный процент. «Деньги родят деньги», и это явление, так ужасав­шее когдато Аристотеля и отцов церкви, сделалось теперь до такой степени обыкновенным, что легло в основу всех ходячих воззрений на природу и происхождение ренты. Всякое имущество имеет известную меновую стоимость, выражающуюся в той или другой сумме денег. По­верхностный наблюдатель объясняет себе происхождение дохода, при­носимого этим имуществом, тем обстоятельством, что на покупку его была затрачена известная сумма денег, которая должна давать процент. Что такими поверхностными наблюдателями оказывались по временам даже патентованные экономисты, читатель может видеть из следую­щего поразительного примера. «В политической экономии, — говорит один буржуазный «ученый», — рабочий является не чем другим, как по­стоянным капиталом, накопленным страной (читай — буржуазией), ко­торая дала средства для обучения и полного развития сил работника. По отношению к производству богатств рабочего нужно рассматривать как машину, на постройку которой был затрачен известный капитал, начинающий приносить проценты с того времени, как он становится полезным фактором в промышленности» (sic!). Именно этим и объясняет почтенный экономист то обстоятельство, что «труд рабочего при­носит менее выгод ему самому, чем предпринимателю»[[91]](#footnote-91). Но если в обыденной жизни такие воззрения являются естественным следствием слож­ности и запутанности современных экономических отношений, то в науке они не перестают быть самым грубым логическим промахом, самым непозволительным смешением причины со следствием. Не потому землевладелец и предприниматель получают ренту, что денежный капи­тал приносит теперь известный процент. Наоборот, деньги потому и «родят деньги», что исключительное обладание средствами производ­ства дает имущим классам возможность присваивать себе часть про­изведенного рабочими продукта. Часть эта удерживается у *свободных* рабочих и вывозится на рынок *для обмена.* Но могла ли произвести какие-нибудь существенные изменения в отношениях имущих и неиму­щих замена рабов свободными рабочими и натурального хозяйства — денежным? Весь доход рабовладельческого хозяйства был продуктом труда рабов. Каким же образом доход собственников перестал бы быть продуктом труда рабочих, благодаря лишь тому обстоятельству, что рабы получили свободу, а имущий класс подразделился на несколько различных слоев? Ведь изменились только правовое положение рабо­чих да распределение отнятого у рабочих продукта. Происхождение же этого продукта, «естественное отношение производителя к продукту его труда», как выражается Родбертус, осталось неизменным. Вся раз­ница лишь в том, что присвоение рабовладельцем продуктов рабского труда было непосредственным следствием рабства; современный же ра­бочий отдает предпринимателю продукты своего труда в силу «свобод­ного договора». И если стоимость заработной платы всегда составляет *только часть* стоимости произведенного рабочим продукта, то не ясно ли, — спрашивает Родбертус, — что другая часть этой стоимости соста­вляет доход собственников? А если это так, то частная собственность на землю и средства производства вполне заменяет собою то давление, которое оказывала когдато на трудящихся рабская и крепостная за­висимость. Она заставляет рабочих довольствоваться скудным заработ­ком и предоставлять в распоряжение собственника все то, что остается за удовлетворением их самых насущных потребностей. Только тыся­челетняя привычка, в связи с упомянутою сложностью современного хозяйства, могла затемнить, по мнению Родбертуса, ту простую истину, что доход собственников есть не что иное как продукт труда рабочих. «Простейшие и ближайшие истины всегда оказывались наименее понят­ными для людей. Это случалось особенно часто с истинами, заключав­шими в себе общественный, моральный элемент, указывавшими людям на несправедливость того, что составляло правовую норму обществен­ных отношений в течение целых тысячелетий»[[92]](#footnote-92).

К числу удивительнейших возражений против изложенного выше учения о ренте нужно, без сомнения, отнести следующее рассуждение Германия. Глупо было бы, — говорит этот остроумный человек, — со сто­роны рабочих менять известное количество, — положим, десять часов, — своего труда на плату, эквивалентную только 8 или 6 часам труда. «Однако, — отвечает Родбертус, — рабочих не особенно благодарят в тех случаях, когда они начинают находить такой отмен глупым. Тогда их всеми силами стараются убедить в противном, и если этой цели не до­стигают рассказы мисс Мартино, то помогает ultima ratio regis. Неза­висимо от взглядов рабочих на разумность такой сделки, они *должны* согласиться на нее, если не хотят умереть голодной смертью!» Когда могли они отказаться от предлагаемой им предпринимателем «глупой сделки»? Оборванными или совсем нагими были отпущены они на сво­боду, не имея ничего, кроме своей рабочей силы... обязанность прежнего владельца заботиться об их пропитании устранялась вместе с упраздне­нием их зависимости, между тем как потребности их оставались в преж­ней силе. Им нужно было чем-нибудь жить. Что же оставалось им делать? Им предстояла одна альтернатива: или разрушить существующий обще­ственный строй, или вернуться к прежним своим господам и получить в виде платы то, что получали они прежде в виде корма. Другими сло­вами, несмотря на новое *правовое* положение, они должны были рабо­тать при прежних *экономических* условиях. И рабочие были настолько благоразумны, что предпочли совершить *глупость,* в которой упрекает их Германн, и своим уважением к существующим правовым учреждениям обеспечить развитие цивилизации».

Этато «глупость» рабочих и обусловливает существование ренты, т. е. всякого дохода, получаемого известным лицом без труда с его стороны, единственно по праву собственника. В настоящее время такой доход получает различные названия, смотря по тому, достается ли он землевладельцам, предпринимателям или, наконец, обладателям денеж­ного капитала. Как подразделяется взятая у рабочих часть их продуктов между перечисленными категориями нетрудящихся, об этом мы будем говорить в следующих главах, где мы закончим изложение экономиче­ской теории Родбертуса. Мы увидим там, какие соображения заставили Родбертуса отрицать правильность теории поземельной ренты Рикардо, и постараемся обнаружить ошибки нашего автора по отношению к этому вопросу. Наконец, указавши все те пункты, в которых разо­шелся Родбертус с экономистами-классиками, мы сравним его теорию с учением Маркса. Теперь же мы закончим эту главу, обращая внимание читателя на то, что изложенная уже выше часть теории Родбертуса содержит в себе вполне выработанное учение о «прибавочной стоимости», этом фокусе всех «проклятых вопросов» XIX века. Именно это учение о «прибавочной стоимости» и заставило, как нам кажется, автора «Капитала» признать, что, несмотря на ошибочность теории поземель­ной ренты, «Sociale Briefe an von Kirchmann» ясно изображают сущ­ность капиталистического производства.

### VI.

На основании предыдущего изложения читателю известно уже, ка­ким образом объясняет Родбертус существование так называемой им «ренты вообще», т. е. всякого дохода, получаемого без труда, един­ственно по праву собственности. Так как всякий доход составляет продукт труда, то лица, не принимающие непосредственного участия в производстве, не могли бы поддерживать своего существования, если бы продукт труда рабочих не превышал количества предметов, необхо­димых для удовлетворения их насущнейших потребностей. Первым усло­вием существования ренты является, следовательно, возрастание произво­дительности труда. «Всякая рента, говорит наш автор, — поземельная рента и рента на капитал, становится возможной лишь тогда, когда про­дуктов производится больше, чем нужно их для удовлетворения насущ­нейших потребностей рабочих; другими словами, принцип объективного существования ренты есть достаточная производительность труда[[93]](#footnote-93). Но, однако, этого условия еще мало. Возрастание производительности труда создает лишь экономическую возможность существования ренты. Спрашивается: каким путем переходит в руки других лиц излишек про­дукта, остающийся за удовлетворением потребностей трудящихся? Это достигается путем давления, оказываемого на рабочих известными правовыми учреждениями. Одним из таких учреждений было рабство, «воз­никновение которого совпадает, по словам Родбертуса, с возникнове­нием земледелия и поземельной собственности». Рабочие сами предста­вляли собою предметы собственности наряду с землею и орудиями труда. Некоторая часть продуктов их труда шла на восстановление их сил и «поддержание их расы», как выражаются экономисты; другая часть употреблялась на возмещение затраченных в хозяйстве средств производства; наконец, все, что оставалось сверх этого, составляло чистый доход рабовладельца и принадлежало ему по всем законам, «божеским и человеческим». Такой порядок вещей справедливо осу­ждается буржуазными экономистами, так как он основан на эксплуатации слабого сильным. Но, упраздняя институт рабства, история не имела, к сожалению, в виду буржуазных экономистов с их высоко развитым нравственным чувством. В противном случае она устранила бы, конечно, не форму только, но и самую сущность эксплуатации человека человеком. Теперь же мы видим, что «голод с успехом заменяет бич рабовладельца». Другими словами, современная организация производ­ства новым путем достигает старой цели — передачи излишка, оставше­гося за удовлетворением насущнейших потребностей рабочих, в другие руки. В капиталистическом обществе все хозяйственные предприятия ведутся за счет собственников, которым и принадлежат продукты пред­приятий. Что же касается до свободных рабочих, то они, «не имея ни­чего, рады, если им удастся получить хоть часть своего собственного про­дукта» в виде заработной платы. В таком обществе «место приказания рабовладельца занимает договор рабочего с предпринимателем; но до­говор этот свободен только с формальной стороны, потому что рабочие вынуждены довольствоваться лишь частью своего продукта». Это видно, между прочим, из того, признанного всеми экономистами факта, что наем свободного работника обходится дешевле содержания невольника «Опыт всех веков и народов доказывает, — говорит Ад. Смит, — что труд свободного рабочего стоит предпринимателю в конце концов дешевле труда раба»[[94]](#footnote-94)*.* Родбертус выражает ту же мысль, называя заработную плату замаскированным кормом раба.

Мы видим таким образом, что, кроме возрастания производитель­ности труда, существует еще другое, необходимое и достаточное усло­вие существования ренты—именно частная собственность на землю и ка­питалы. «Принцип получения ренты, — говорит Родбертус, — есть част­ная собственность на землю и капитал»[[95]](#footnote-95). Посмотрим же теперь, какими законами регулируется дальнейшее распределение ренты между различ­ными слоями привилегированного класса.

Прежде всего нужно заметить, что как распределение националь­ного дохода, так и все движение общественно-экономической жизни принимает различные виды в различные исторические эпохи, в зависи­мости от изменений в самой организации производства. Там, где раз­деление общественного труда еще не велико, обработка сырых про­дуктов совершается в пределах тех же самых хозяйственных единиц, которые занимаются их добыванием. Это мы видим, например, в антич­ном обществе. В большом древнеримском или древнегреческом хозяй­стве часть рабов занималась добыванием сырых продуктов, другая под­вергала эти продукты дальнейшей обработке, пока они не становились годными для потребления.

Земледельческий труд не был еще отделен от ремесленного, а по­тому и средства производства безразлично принадлежали одному и тому же классу собственников. Чистый доход каждого античного хо­зяйства представлял собою однообразное целое, о подразделении кото­рого на поземельную ренту и прибыль на капитал не могло быть и речи, так как в обладании средствами производства не произошло еще необходимой для выработки этих понятий дифференциации. Все дви­жение общественно-экономической жизни совершалось еще в форме натурального хозяйства. Так как сырые продукты подвергались обра­ботке в пределах той же хозяйственной единицы, в которой они добы­вались, то все «посредственные и непосредственные хозяйственные блага», т. е. предметы потребления и средства производства, пригото­влялись «дома». Ни на одной из стадий своего возникновения эти «хозяйственные блага» не являлись еще в виде товаров, а потому и поня­тие о меновой стоимости продуктов отходило здесь, как говорит Род­бертус, на задний план. Вернее сказать, оно совсем еще не выработалось. Вследствие этого не существовало еще масштаба для оценки как всего имущества рабовладельца, так и чистого дохода его хозяй­ства. Чистый доход и средства производства оставались еще величи­нами несоизмеримыми: невозможно было определить отношение стои­мости чистого дохода к стоимости всего имущества, так как отсут­ствовало еще самое понятие о меновой стоимости. Взаимное отноше­ние различных частей дохода и имущества также не поддавалось, как мы сказали, определению. Рабовладелец не мог, да и не имел ни малей­шей надобности определять, какая часть его дохода приходится на землю, какая на «капитал». Самое понятие о капитале, в нынешнем смысле этого слова, не выработалось еще в античном обществе. «Капи­тал сам по себе, в логическом или национально-экономическом смысле этого слова, есть, по определению Родбертуса, продукт, предназначен­ный для дальнейшего производства, предварительно совершенная ра­бота». Но рассматриваемый с точки зрения современного предпринима­теля, т. е. по отношению к прибыли, которую он приносит, продукт этот, чтобы быть капиталом, должен явиться в виде издержек пред­приятия. В виде таких издержек является, например, современный исто­рический капитал, обнимающий собою стоимость материала, орудий труда и заработной платы. Но в античном обществе, где все операции добывающей и обрабатывающей промышленности совершались в преде­лах одного и того же хозяйства, «продукт, предназначенный для даль­нейшего производства», не является для рабовладельца в виде издер­жек. Материалы для различных отраслей производства не покупаются на рынке. Они производятся внутри того же самого хозяйства, и раб-ремесленник обрабатывает лишь то, что произведено его товарищем, рабом-земледельцем. Содержание рабов так же мало представляет собою капитал, долженствующий приносить собою прибыль, как корм для скота, составляющий продукт собственного хозяйства, представляется капиталом современному сельскому хозяину. Не будучи покупаемы на рынке, не являясь в виде издержек в нынешнем смысле этого слова, входившие в состав античного хозяйства средства производства не при­носили и прибыли в смысле известного количества процентов на еди­ницу затраченного капитала. Только деньги составляли исключение из этого общего правила. Определение уровня процентов на отданный в заем денежный капитал (римский sors) не представляло никаких за­труднений, так как здесь, по выражению Аристотеля, «равное рождается от равного», затраченный капитал и полученный доход являются в виде одноименных стоимостей. Но процент этот был ростовщическим про­центом. Величина его определялась нуждой должника, а не общим уров­нем прибыли промышленных предприятий, как это имеет место в на­стоящее время. Этим и объясняется то предубеждение против «про­цента», которое замечается у всех древних писателей[[96]](#footnote-96) и кажется современным экономистам нелепым предрассудком. Но предрассудок этот имел, как мы видим, свое разумное основание. Он коренился в общем укладе экономической жизни античного общества, положившем свой отпечаток на все экономические воззрения классических писате­лей. Именно в этом укладе экономической жизни и нужно, по словам Родбертуса, искать объяснения того обстоятельства, что древним была закрыта вся область государственного хозяйства, что в экономических сочинениях таких умов, как Аристотель и Ксенофонт, мы встречаем лишь правила домашней экономии, а не экономии целой нации[[97]](#footnote-97).

Мы видим таким образом, что в античном мире распределение «ренты вообще» допускало лишь количественные, но не качественные различия. Конечно, не все члены имущего класса получали доход оди­наковой величины, но между ними невозможно еще было различить землевладельцев от капиталистов. Только в истории германских наро­дов появляется это качественное различие в родах дохода. Оно обусловливается возникающей здесь дифференциацией труда и владения, за­рождающейся противоположностью между городом и деревней. Обра­ботка добытых в деревне сырых продуктов сосредоточивается теперь в городах, так как средневековые постановления прямо запрещают землевладельцам ремесленные предприятия. Естественным следствием этой противоположности между городом и деревней было дальнейшее подразделение обрабатывающей промышленности на множество отдель­ных отраслей. «Земледелие дает материал для самых разнообразных отраслей промышленности, — говорит Родбертус, — зерновой хлеб для выделки муки, дерево для приготовления мебели и орудий труда, кожу — для обуви, лен и шерсть — для платья и т. д., и т. д.». В античном хо­зяйстве все эти сырые продукты подвергались обработке на месте. С отделением же ремесленной деятельности от сельскохозяйственной обработка сырых продуктов необходимо должна была подразделяться на множество разнородных отраслей. Сапожник не мог заниматься выделкой мебели, столяр не мог взяться за приготовление платья. В свою очередь каждая из этих отраслей ремесленной деятельности подразделялась еще на более мелкие[[98]](#footnote-98). Все эти неизвестные в антич­ном мире подразделения нашли свое выражение в средневековой орга­низации цехов. Разделение труда, незначительное еще внутри мастер­ской, играло тем большую роль во взаимных отношениях различных корпораций, подавая повод к целому ряду недоразумений, так как не всегда и возможно было провести точную границу между сферами за­конной деятельности различных ремесленников.

При существовании частной собственности на землю и капитал, разделение общественного труда предполагает обмен его продуктов на рынке. Производитель каждого рода продуктов должен предва­рительно обратить их в деньги и уже с помощью денег приобретать необходимые для него предметы потребления. «Та хрематистика, ко­торую Аристотель считает достойной гражданина, тот способ хозяй­ства, который состоял в том, чтобы продуктами домашнего приготовления удовлетворять все важнейшие потребности, лишается своего нравствен­ного значения, потому что становится невозможным экономически»[[99]](#footnote-99). Натуральное хозяйство античного мира малопомалу уступает свое место современному денежному хозяйству. «На первый план выступает меновая стоимость продуктов». Так как каждый производитель лишь путем обмена получает необходимые для него предметы потребления то естественно, что он прежде всего интересуется меновой стоимостью своих продуктов. Ею определяется его покупательная сила. Богатство человека, величина и значение его имущества определяются теперь меновою, а не потребителъною стоимостью находящихся в его распоря­жении продуктов. Самое распределение национального дохода происхо­дит теперь иначе, чем оно происходило в античном обществе. Во-первых, продукты не делятся непосредственно между обладателями средств производства и рабочими. Они продаются предварительно на рынке, и только различные части их стоимости распределяются между, этими классами. Во-вторых, приходящаяся на долю собственников часть на­ционального дохода, «рента вообще», подразделяется теперь на не­сколько видов. Одна часть ее поступает в распоряжение сельских хо­зяев, другая распределяется между ремесленниками-предпринимателями и фабрикантами. Каждый из них называет доставшуюся ему часть ренты доходом с имущества. Сельский хозяин смотрит на нее, как на продукт, обязанный своим существованием почве и земледельческому капиталу, фабрикант объясняет свою прибыль «производительными услугами» при­надлежащих ему средств производства. Но мы знаем уже, что «всякая рента» есть такой же продукт труда рабочих, как их заработная плата. И если, считая свою ренту доходом с имущества, рабовладелец был до известной степени прав, поэтому что рабы также составляли часть его имущества, то в настоящее время, с освобождением рабочего, дело представляется в ином свете. «Рабочие, трудом которых создается этот доход, считаются свободными, а свобода предполагает право собствен­ности трудящегося на продукты его труда»[[100]](#footnote-100)*.* Только сложностью со­временного хозяйства и нежеланием имущих классов признать неприят­ные для них истины объясняется, по мнению Родбертуса, это перенесение на неодушевленные предметы творческих свойств живого человеческого труда.

Не будем, однако, уклоняться от вопроса о распределении ренты между различными слоями имущего класса. Мы сказали выше, что с отделением промышленных предприятий от земледельческих возни­кают качественные различия в распределении национального дохода, создаются неизвестные древним экономические категории. Но разделение чистого дохода страны между сельскими хозяевами и промышлен­никами не объясняет еще этих различий. Всюду, где преобладает фер­мерство, сельскими хозяевами являются не сами землевладельцы. До­ход же крупного фермера есть так же прибыль на капитал, как и до­ход фабриканта. Существенных различий нужно искать между доходом землевладельца, с одной стороны, и доходом предпринимателя — с дру­гой, хотя бы предпринимателем явился не фабрикант или ремесленник, а сельский хозяин-арендатор. Только установивши это основное раз­личие, мы можем перейти к дальнейшему исследованию законов распре­деления, к выяснению принципов этих различных категорий ренты, т. е. поземельной ренты и прибыли на капитал.

Для выяснения этих принципов Родбертус считает необходимым сделать два предположения. Для простоты анализа он принимает, что часть ренты, доставшаяся «обладателям фабричного продукта, не под­вергается дальнейшему подразделению между различными отраслями ремесленного и фабричного производства. Я делаю это, — говорит он, — единственно для простоты рассуждения, и такое предположение нисколь­ко не изменяет сущности явления, хотя в действительности оно происхо­дит, конечно, иначе». Кроме того, он принимает, что «меновая стои­мость продукта определяется количеством труда, затраченного на его производство». Другими словами, он исходит в своих рассуждениях из признанной и подробно разобранной им теории стоимости Рикардо. «В своем сочинении «Zur Erkenntnis unserer staatswirthschaftlichen Zustände» я показал, — прибавляет он, — что в действительности меновая стоимость продуктов несколько отклоняется от этой нормы, что она бывает то выше, то ниже ее, но она стремится, по крайней мере, к этому столько же естественному, сколько и справедливому уровню. При­том же мое предположение, — поскольку речь идет лишь об определе­нии общих законов распределения ренты, — нисколько не противоречит истине. Наконец, я мог бы с таким же удобством принять, что меновая стоимость несколько отклоняется в ту или другую сторону от выше­упомянутой нормы. Мне важно лишь признание того, что стоимость следует в своих изменениях одному и тому же постоянному закону». Какое значение имеют эти предположения для нашего автора, мы увидим впоследствии.

Доставшаяся фабричным предпринимателям часть «ренты вообще» рассматривается ими, как прибыль на капитал. Мы говорили уже выше, что развитие товарного производства выдвигает на первый план мено­вую стоимость продуктов. Вследствие этого является возможным опре­делить уровень прибыли каждого предприятия, т. е. отношение прибыли к общей сумме затраченного в производстве капитала. И прибыль и затраченные в предприятии средства производства одинаково являются теперь в виде стоимостей, допускающих всевозможные сравнения и измерения. Там, где движение капиталов не стесняется законодатель­ными мерами, устанавливается обыкновенно определенный уровень прибыли, равной для всех отраслей промышленности. Это достигается, как известно, путем конкуренции. Обычный в стране уровень прибыли на капитал принимается за норму и в сельскохозяйственных предприятиях. Это признается всеми экономистами и объясняется тем, что промышлен­ная деятельность вовлекает в свой круговорот гораздо более значитель­ную часть национального капитала, чем земледелие. Из чистого дохода сельскохозяйственных предприятий должна быть, прежде всего, вычтена часть, соответствующая обычной прибыли на капитал. В противном случае земледелие не представляло бы собою достаточно выгодной для капиталистов отрасли промышленности, и капиталы устремились бы в другого рода предприятия.

 Если прибыль на земледельческий капитал не поглотит всего чи­стого дохода сельскохозяйственных предприятий, то остаток будет представлять собою поземельную ренту и принадлежать землевладель­цам, как таковым. Всегда ли будет существовать такой остаток? Именно этот вопрос и ведет к разногласию между Родбертусом и Рикардо. По­следний отвечает на него отрицательно. По его мнению, такой остаток появляется лишь тогда, когда, с увеличением населения, общество видит себя вынужденным взяться за обработку менее плодородных земель, причем возвышается стоимость земледельческих продуктов. «Когда с прогрессом общества, — говорит он, — поступают в обработку земли вто­рой степени плодородия, то земли лучшего качества немедленно начи­нают приносить ренту, и величина этой ренты зависит от разницы в степени плодородия лучших и худших участков». Родбертус полагает, напротив, что, *«за вычетом прибыли на капитал из доставшейся обла­дателям сырого продукта ренты, всегда должна остаться некоторая часть в виде поземельной ренты, как бы ни была велика или мала стои­мость сырых продуктов»* (курсив Родбертуса)[[101]](#footnote-101). Он основывает свой взгляд на том предположении, что меновая стоимость как сырых, так и фабричных продуктов определяется количеством труда, необходимого на их производство.

Рассмотрим ближе учение обоих экономистов. По мнению Рикардо, первые поселенцы всякой страны занимают, обыкновенно, самые пло­дородные участки земли. Пока население остается редким и малочислен­ным, этих участков первостепенного качества существует более чем достаточно для пропитания жителей. Каждый желающий заняться зе­мледелием и обладающий необходимым для этого капиталом может найти еще незанятый участок земли первостепенного качества. Вслед­ствие этого никто не согласится платить ренту за право пользования землею, отошедшею в частную собственность. «По общим законам спроса и предложения, — говорит Рикардо, — никто не будет платить за право пользования этою землею, так же точно, как никто не платит за право пользования водою или воздухом, или каким-нибудь другим есте­ственным благом, существующим в неограниченном количестве». Весь чистый доход земледельческих предприятий остается, следовательно, в руках предпринимателей, и землевладельцы получают доход лишь по­стольку, поскольку они являются в то же время и сельскими хозяевами. Но с возрастанием народонаселения дело принимает другой оборот. Все участки лучшего качества оказываются занятыми а между тем спрос на хлеб всетаки превышает его предложение. Хлебные цены растут и достигают, наконец, такого высокого уровня, что даже обработка участков второстепенного качества начинает приносить обычный уро­вень прибыли на капитал. Но в таком случае доход с первостепенных участков будет уже превышать эту норму. За вычетом из него обычной прибыли, получится еще некоторый остаток, который и будет представлять собой ренту. Эта часть доходов с участков лучшего качества поступит в распоряжение землевладельцев, отдавших их в наем. Уро­вень арендной платы определится, таким образом, самым ходом обще­ственно-экономического развития. Но достигнутое таким путем равно­весие будет весьма неустойчиво. Дальнейшее возрастание народонасе­ления вынудит общество взяться за обработку земель третьестепенного качества. Тогда доход с участков второстепенного качества, в свою оче­редь, превысит обычный уровень прибыли, и они также начнут прино­сить своим владельцам ренту. И чем ниже будет плодородие поступаю­щих в обработку земель, тем менее будет их доходность сравнительно с доходностью лучших участков, тем более будет возрастать приносимая этими последними рента. Сущность рассуждения не изменится, если мы предположим, что с возрастанием народонаселения предприниматели не берутся за обработку земель худшего качества, а увеличивают за­трату труда и капитала при возделывании лучших участков. Это уве­личение затрат не будет сопровождаться, по мнению Рикардо, пропор­циональным ему возрастанием чистого дохода. С развитием общества производительность земледельческого труда постоянно уменьшается. Таким образом, при удвоении затрат на обработку лучших участков приносимый ими доход возрастает не на 100%, а лишь на 90, 85 или 80%. Но во всяком случае последняя, наименее производительная затрата капитала должна принести обычную прибыль, потому что иначе капиталисты не решились бы на такую затрату. Возможность получе­ния обычной прибыли обеспечивается общим возвышением хлебных цен, так как «меновая стоимость всех предметов потребления опреде­ляется количеством труда, необходимого на их производство в тех предприятиях, которые не имеют исключительных преимуществ». К числу таких предприятий относится, разумеется, и обработка земель лучшего качества, равно как и наименее производительные затраты труда на лучших участках. Но в таком случае доход, приносимый пред­шествовавшими, более производительными затратами труда и капитала, будет уже превышать обычный уровень прибыли. Полученный за выче­том этой прибыли остаток отойдет к землевладельцам и будет соста­влять их ренту.

Такова теория поземельной ренты Рикардо, казавшаяся Родбертусу ошибочной во всех отношениях. Как известно уже читателю, наш автор не разделял того убеждения, что с развитием общества произво­дительность труда постоянно уменьшается. Со свойственной ему основательностью он разобрал со всех сторон это положение английской школы и показал его ошибочность. Относящиеся сюда аргументы Род­бертуса имеют огромную важность, и несколько ниже мы представим их подробное изложение. Но, несмотря на всю свою основательность, аргу­менты эти не могли поколебать теории Рикардо, так как центр тяже­сти его учения лежит вне вопроса о производительности земледельче­ского труда. Это сознавал и сам Родбертус. «Теория поземельной ренты Рикардо, — говорит он в третьем письме к Кирхману, — также хорошо согласима в основных своих положениях с постоянным уменьшением производительности земледелия»[[102]](#footnote-102). Сущность теории Рикардо заклю­чается в том положении, что наименее производительные затраты зе­мледельческого капитала, равно как и наименее плодородные участки земли не приносят ренты, а дают лишь обычную прибыль. На этот пункт и направил наш автор свои главные возражения. Он упрекал Рикардо в непоследовательности, утверждая, что теория ренты английского эко­номиста противоречит его учению о меновой стоимости, составляющему главную заслугу его в истории экономической науки. Если все предметы потребления стоят труда и только труда, — рассуждал Родбертус, — если меновая стоимость продуктов, по учению самого Рикардо, определяется количеством труда, необходимого на их производство, то общая сто­имость национального дохода распределится между предпринимателями пропорционально количеству труда, затраченного на производство их продуктов. Предположив, что высота заработной платы одинакова во всех отраслях производства, т. е. что в каждой из них рабочий полу­чает одинаковую *часть* стоимости произведенного им продукта, мы дол­жны будем признать, что и «рента вообще» распределится между пред­принимателями пропорционально стоимости вывезенных ими на рынок продуктов. Допустим, что стоимость земледельческих продуктов рав­няется стоимости продуктов фабричных, т. е. что на производство тех и других затрачено одинаковое количество труда. Тогда и чистый доход или рента фабричных предпринимателей будет равняться чистому доходу сельских хозяев. Мы знаем уже, что рента промышленников называется прибылью на капитал, высота которой служит нормой и для земледель­ческих предприятий. Но сельские хозяева всегда нуждаются в меньшем количестве капитала, чем промышленники. Это объясняется тем обстоя­тельством, что, подвергая обработке сырые продукты, промышленники должны увеличить общую сумму издержек своего предприятия покуп­кой более или менее дорогого материала. Земледелие же не нуждается в таком материале, который был бы продуктом предшествующих сту­пеней производства. «Земледелие начинает собою производство, и ма­териалом для обработки в нем служит сама почва», которая не входит в сферу предпринимательских издержек[[103]](#footnote-103). Вследствие этого отношение чистого дохода к общей сумме капитала будет в земледельческих предприятиях больше, чем в фабричных. В самом деле, мы предположили, что чистый доход, приходящийся надолю сельских хозяев, равняется чистому доходу промышленников. Но в земледелии этот доход распре­деляется на меньший капитал, чем в промышленности. Поэтому если прибыль на промышленный капитал будет достигать десяти процентов, то доход от сельскохозяйственных предприятий будет несколько выше; он будет равняться, положим, пятнадцати или двадцати процентам. За вычетом из этого дохода обычной прибыли на капитал, мы получим некоторый остаток, который и будет представлять собой поземельную ренту. Повторяем, существование такого остатка будет, по мнению Родбертуса, не случайным, а постоянным явлением, если только меновая стоимость земледельческих продуктов определяется количеством труда, необходимого на их производство.

Во избежание всяких недоразумений по этому важному вопросу, мы просим у читателя позволения повторить то же рассуждение в не­сколько более конкретной форме. Два предпринимателя — фермер и фа­брикант — вывозят на рынок продукты, стоившие одинакового количе­ства труда. Меновая стоимость продуктов фермера будет поэтому равняться меновой стоимости продуктов фабриканта. Если наши предпри­ниматели заплатили одинаковую сумму своим рабочим, то и чистый доход их будет одинаков. Но, согласно мнению Родбертуса, мы должны предположить, что издержки фабриканта были больше издержек фер­мера. Допустим, что первый затратил вдвое больший капитал, чем вто­рой. Ясно, что фермер получит вдвое большую прибыль на свой капи­тал, чем фабрикант. Но конкуренция не допускает двух различных уровней прибыли. Мы знаем уже, что прибыль промышленных предпри­ятий служит нормой для предприятий сельскохозяйственных. Поэтому наш фермер должен будет довольствоваться лишь половиной принесен­ного его фермой дохода, другую же половину он передает землевла­дельцу в виде поземельной ренты.

Это рассуждение составляет, по словам Родбертуса, «основной пункт и краеугольный камень» его теории поземельной ренты. Он на­стойчиво возвращается к нему как в напечатанных своих сочинениях, так и в письмах, из которых многие, по собственному его замечанию, составляют целые брошюры. В 1870 году он предложил в гильдебрандов­ских «Jahrbüchern» «следующую задачу» сторонникам Рикардо. Пред­положим, говорит он, уединенный от всего мира круглый остров, на ко­тором существует частная собственность на землю и капиталы. Вся обрабатывающая промышленность сосредоточена в городе, расположен­ном в самом центре острова; лежащая вне городских стен почва служит для добывания сырых продуктов. Размеры острова так невелики, что каждое из расположенных одно возле другого имений простирается от городских стен до самого берега. Принадлежащая к этим имениям земля отличается повсюду одинаковыми качествами. «В этой гипотезе, — при­бавляет наш автор, — исключены все те моменты, которые ставят от­дельных землевладельцев в исключительно благоприятные условия по отношению к сбыту или стоимости производства продуктов. Здесь не существует различия ни в качестве почвы, ни в расстоянии от места сбыта... Здесь нет ни одного из тех условий, которые, по мнению Ри­кардо, вызывают появление ренты. Но я утверждаю, что *рента всетаки будет существовать,* потому *что* в распоряжении землевладельцев, сверх прибыли на их капиталы, во всяком случае останется еще некоторая часть чистого дохода. Откуда возьмется эта часть дохода? Ответ на этот вопрос заключает в себе, по моему мнению, принцип поземельной ренты, потому что постановка вопроса не позволяет смешивать слу­чайные явления с существенными, поземельную ренту — с различными колебаниями этой ренты в том или другом частном случае»[[104]](#footnote-104).

Развивая далее свою аргументацию против теории Рикардо, Род­бертус обращает внимание на другую, по его мнению, слабую сторону ее. Поземельная рента обязана своим существованием, по учению Ри­кардо, тому излишку дохода с лучших участков земли, который остается за вычетом прибыли на капитал. Но прибыль на капитал не представляет собою постоянной величины: уровень ее повышается и понижается несколько раз в течение года. Как отражаются на позе­мельной ренте эти колебания? — спрашивает Родбертус. При понижении общего уровня прибыли даже самые плохие участки должны приносить ренту; при возвышении этого уровня многие участки, приносившие прежде ренту, перестают приносить ее. Но ни в том, ни в другом случае не изменяются ни свойства участков, ни расстояние их от рынка. Все эти пертурбации произойдут единственно вследствие колебаний уровня прибыли. Таким образом, поземельная рента Рикардо, — которая есть не более как *дифференциальная* рента, — представляет собою нечто в высшей степени шаткое, заключает наш автор[[105]](#footnote-105).

### VII.

При изложении учения Родбертуса о поземельной ренте, мы обра­щали уже внимание читателя на то обстоятельство, что землевладе­лец может и не заниматься лично сельским хозяйством. Он может сдать свою землю в наем и довольствоваться арендной платой, не принимая таким образом ни малейшего участия в производстве нацио­нального продукта, но весьма интересуясь ходом его распределения. То же самое может иметь место и по отношению к капиталу. Очень часто собственник передает свой капитал в производительное поль­зование другого лица, получая за это известную часть чистого дохода предприятия. Таким путем происходит дальнейшее подразделение взятой у рабочих части стоимости их продукта; рядом с «капиталистом» является «предприниматель», рядом с землевладельцем — аренда­тор. Вместе с этим и в науку вводятся соответствующие понятия: доход капиталиста называется процентом, доход предпринимателя — при­былью предприятия; наконец, доход землевладельца называется аренд­ной платой ипри свободном соперничестве арендаторов имеет, по крайней мере, тенденцию совпасть с тем, что называется в науке позе­мельной рентой. Интересы лиц всех поименованных «званий и состояний», солидарные между собой, пока дело касается самого существо­вания «ренты вообще», немедленно приходят в столкновение, как только речь заходит об ееподразделении. Предприниматель стремится к тому, чтобы как можно меньше платить за право пользования капи­талом; напротив, капиталист старается увеличить свой доход на счет предпринимателя. Между землевладельцами и арендаторами также происходит вечная борьба по вопросу о величине арендной платы. Не удивительно поэтому, что правомерность каждого из этих видов до­хода не раз подвергалась сомнению и служила поводом самой ожесточенной полемики между заинтересованными сторонами. Споры эти характерны, как мерило постепенного роста и выяснения важнейших экономических понятий. Мы не говорим о тех громах, которые раздавались против процента со стороны античных писателей и отцов церкви. Их взгляды коренились в иных, совершенно непохожих на наши общественных отношениях. Но достаточно напомнить знаменитый спор Бастиа с Прудоном, в котором последний никак не мог провести рез­кой границы между процентом с одной стороны и прибавочной стои­мостью — с другой. Что касается поземельной ренты, то в настоящее время в Англии ведется довольно сильная агитация в пользу так назы­ваемой «национализации почвы», т. е. перехода земли в собственность го­сударства. Необходимость этой меры вызывается, по мнению ее сторонников, тем обстоятельством, что именно поземельная рента, в нынешнем ее виде, нарушает гармонию интересов всех классов обще­ства.

Наш автор не только не разделял таких псевдорадикалъных взглядов, но посвятил даже особую главу «правовому обоснованию процента и арендной платы за землю». Он был убежден, что пока землевладельцы и капиталисты имеют дело с предпринимателями, до тех пор они имеют право требовать вознаграждения за производительное пользование их имуществом. «Несправедливость, которую многие усма­тривают в существовании арендной платы за землю и процента, заклю­чается не в подразделении ренты вообще, а в самом ее возникновении... Вот почему, когда я стараюсь найти правовое обоснование процента и арендной платы, я имею в виду лишь взаимные отношения собственников и предпринимателей, а не отношения этих двух классов к работни­кам, — говорит Родбертус. — Несправедливость эксплуатации этих по­следних так же несомненна с точки зрения естественного права, как неоспорима правомерность раздела ренты между собственниками и предпринимателями, раз допускаем мы существование этой ренты»[[106]](#footnote-106). Именно в современном обществе, где возник особый класс предприни­мателей, «работающих» с помощью занятого капитала, исчезает ро­стовщический характер процента, вызывавший такое негодование древних писателей. Ростовщик пользуется нуждой своих ближних, между тем как современный капиталист требует лишь части дохода, получен­ного предпринимателем с помощью занятого у него капитала. Предпри­ниматель занимает не по нужде, а с целью обогащения, и только очень близорукие защитники «справедливости» могут видеть в нем жертву эксплуатации.

В том же смысле решает наш автор и вопрос о «национализации почвы». Он думает, что «как с правовой, так и с хозяйственной точки зрения частная собственность на капитал не лучше обоснована, чем частная собственность на землю. Капиталы в такой же малой степени, как и земля, представляют собою продукт труда собственников... В на­стоящее время оба рода имущества являются необходимыми пока ре­гуляторами общественного труда»[[107]](#footnote-107).

Оставим, однако, вопрос о правомерности различных видов «ренты» и перейдем к изложению экономических законов, на основании которых происходит распределение национального дохода между различными классами общества. Припомним сказанное нами о доходе «творцов общественного богатства», о заработной плате работников. По призна­нию «всех серьезных экономистов», как говорит Луйо Брентано, плата за труд рабочего определяется уровнем насущнейших его потребностей. Потребности рабочего класса составляют, конечно, результат множе­ства самых разнообразных исторических условий, но в каждой данной стране и в каждое данное время они представляют собою постоянную величину. Для их удовлетворения необходимо известное, определенное количество предметов потребления. Какою бы страстью к «сбережению» ни отличались предприниматели, они не могут спустить заработную плату ниже этого уровня, потому что такое «ненормальное» ее пониже­ние привело бы к увеличению смертности среди рабочих. Предложение «рук» на рынке уменьшилось бы до такой степени, что предпринима­тели лишились бы возможности употребить в «дело» все свои капиталы и деньги перестали бы «родить деньги». Предпринимателям приходится поэтому мириться с необходимым расходом и отводить душу в пропо­веди сбережения, воздержания, самообуздания и прочих похвальных качеств. В распоряжение предпринимателей поступит таким образом лишь та часть национального дохода, которая останется за вычетом из него заработной платы. С увеличением общей суммы национального дохода часть эта будет увеличиваться, с уменьшением его — сокра­щаться. Отсюда следует, что *«высота ренты находится в обратном отношении к высоте заработной платы:* чем ниже заработная плата, тем выше рента и наоборот»! Но чем определяется высота заработной платы, рассматриваемой как *часть* продукта? Мы сказали уже, что в каждой данной стране и в каждое данное время для удовлетворения потребно­стей рабочих нужно определенное количество предметов потребления. Если производство этих продуктов поглощает, положим, половину на­ционального труда, то другая половина его пойдет на удовлетворение потребностей других классов. Но если, благодаря успехам техники, на производство необходимых для рабочих продуктов потребуется не по­ловина, а только четвертая часть национального труда, то остальные три четверти его останутся в распоряжении собственников. Заработная плата, как *часть* продукта, *уменьшится* вдвое, рента возрастет на пять­десят процентов. Мы видим, таким образом, что рента находится в прямом, заработная плата в обратном отношении к производительности национального труда. С возрастанием ее, заработная плата составляет все меньшую и меньшую *часть* национального дохода, и в этом заклю­чается, по мнению Родбертуса, вся суть социального вопроса.

Посмотрим теперь, как подразделяется «рента» между различными слоями не рабочего класса. По предположению Родбертуса, стоимость ка­ждого продукта определяется количеством труда, необходимого на его производство. Но это количество зависит в свою очередь от степени производительности труда: чем производительнее труд, тем большее количество продуктов является в результате данной единицы его про­должительности; другими словами, чем производительнее труд, тем меньшее количество его требуется для производства каждого данного продукта. Следовательно, стоимость продуктов каждой отрасли произ­водства находится в обратном отношении к производительности труда в этой отрасли. Предположим теперь, что в данной стране стоимость земледельческих продуктов равна стоимости продуктов фабричных, т. е., что на производство и тех и других затрачено одинаковое количе­ство труда. Если высота заработной платы одинакова в обеих отраслях производства, то рента, т. е. оставшаяся за вычетом заработной платы часть национального дохода, распределится поровну между обеими отраслями. Мы знаем уже, что «рента на капитал» называется его при­былью, уровень которой определяется отношением чистого дохода к общей сумме издержек предприятия. Читатель помнит также, что при­быль стремится к одному уровню во всех отраслях производства, и что высота прибыли в фабричных предприятиях имеет решающее значение в земледелии. По изложенным выше причинам, земледельческие пред­приятия, за вычетом прибыли на капитал, приносят еще и поземельную ренту. Очевидно, что высота этой ренты стоит в обратном отношении к высоте прибыли: поземельная рента представляет собою остаток чистого дохода земледельческих предприятий, который возрастает с уменьшением вычитаемого, т. е. прибыли на капитал. Но от чего зависит высота прибыли? Представляя собою отношение чистого дохода к издержкам предприятия, высота прибыли возрастает с уменьшением и падает с увеличением суммы этих издержек. Известно, что стоимость сырых продуктов входит составною частью в общую сумму издержек фабричных предприятий, так как продукты эти служат материалом для труда фабричных рабочих. С возрастанием стоимости сырых продуктов, растут издержки предприятия и, следовательно, понижается уровень прибыли. А так как поземельная рента стоит в обратном отношении к высоте прибыли, то мы можем сказать, что поземельная рента увеличи­вается с возрастанием стоимости сырых продуктов и уменьшается с по­нижением этой стоимости, или, другими словами, что высота поземель­ной ренты прямо пропорциональна стоимости сырых продуктов. Но стоимость всякого продукта находится в обратном отношении к произ­водительности труда. Отсюда следует, что *высота поземельной ренты обратно пропорциональна производительности земледельческого труда:* поземельная рента падает с увеличением плодородия почвы или с улуч­шением сельскохозяйственной техники и возрастает с упадком плодо­родия и ухудшением техники.

«Если при данной стоимости национального продукта вам дана также высота ренты вообще, — говорит Родбертус, — то поземельная рента и прибыль стоят в обратном отношении друг к другу и к произ­водительности труда в соответствующих им отраслях производства. Чем ниже прибыль на капитал, тем выше поземельная рента, и наобо­рот: чем выше производительность земледельческого труда, тем ниже поземельная рента и тем выше прибыль на капитал: чем выше произ­водительность фабричного труда, тем ниже прибыль на капитал и выше поземельная рента, и наоборот»[[108]](#footnote-108).

Предыдущим анализом исчерпываются все те условия, которыми определяется высота заработной платы и прибыли. Что же касается до поземельной ренты, то, помимо вышеуказанных, существует еще один фактор, влияющий на ее относительную высоту. Рассмотрение этого фактора важно в том отношении, что он не остался без влияния на возрастание ренты в европейских странах, принимаемое многими эко­номистами за следствие уменьшения производительности земледельческого труда. Природа этого фактора может быть выяснена следующим, весьма простым рассуждением.

На основании изложенных сейчас положений, мы без труда опре­делим относительную величину заработной платы, прибыли на капитал и поземельной ренты, если нам известны насущнейшие потребности ра­бочего класса, производительность труда в различных отраслях пред­приятий, площадь обрабатываемых земель и, наконец, стоимость на­ционального дохода. Спрашивается: какое влияние на распределение этого дохода окажет увеличение трудящегося населения страны, не со­провождаемое, однако, никакими изменениями в производительности на­ционального труда? Первым следствием предположенного явления было бы, разумеется; увеличение количества производимых в стране продук­тов. Но так как производительность труда не изменилась, то каждый продукт стоил бы теперь такого же труда, как и прежде. Вследствие этого и заработная плата осталась бы на прежнем уровне, потому что понижение ее обусловливается лишь возрастанием производительности труда. Количество же продуктов, составляющих сумму заработной платы всех рабочих страны, увеличится благодаря возрастанию самого числа рабочих. Далее, высота «ренты вообще» останется неизменной, потому что влияющие на нее факторы — производительность труда и заработная плата — сохранили свою прежнюю величину. Но составляя, как и прежде, положим, половину всего национального продукта, «рента вообще» будет иметь теперь большую стоимость, потому что увеличилась стоимость самого национального продукта. Эта большая стоимость «ренты вообще» разделится в прежней пропорции на позе­мельную ренту и прибыль на капитал. Мы знаем уже, что разделение это зависит от степени производительности труда в соответствующих отраслях производства, оставшейся в рассматриваемом случае без вся­кого изменения. Землевладельцы и предприниматели будут получать такие же, как и прежде, части «ренты вообще», но стоимость этих частей увеличится благодаря увеличению стоимости самой ренты. Какое влияние окажет это обстоятельство на высоту поземельной ренты и прибыли? Для расширения национального производства необходима, разумеется, большая сумма капитала. Поэтому большая стоимость доставшейся предпринимателям «ренты» распределится на большую сумму затраченного в производстве капитала, и *уровень* прибыли их пред­приятий останется неизменным. Не то будет с поземельной рентой. Возрастание трудящегося населения и расширение национального про­изводства не сопровождаются увеличением территории, поэтому большая стоимость доставшейся землевладельцам части «ренты вообще» распределится не на прежнее число моргенов, гектаров или десятин земли. Вследствие этого повысится и *уровень* поземельной ренты. Мы видим таким образом, что поземельная рента имеет стремление к по­вышению даже в тех случаях, когда заработная плата и прибыль на капитал остаются на прежнем уровне. Она — и только она — повышается вследствие возрастания трудящегося населения, которое в большей или меньшей степени имеет место во всех прогрессирующих странах.

Сказанное относится также к стоимости самой земли. Она опреде­ляется, как известно, капитализацией поземельной ренты на основании обычного в данное время процента. Если капитал в 1.000 талеров при­носит 50 талеров, т. е. 5% дохода, то и, наоборот, капитализация из 5% дохода в 50 талеров даст 1.000 талеров капитала. Подобным же образом очень легко определить, какой величины капитала представляет собою участок земли, приносящий 100 талеров ежегодного дохода, если обычный уровень процента равняется пяти. Это не значит, конечно, что поземельную ренту можно рассматривать как процент, приносимый затраченным на покупку земли капиталом. Не величиной этого капитала определяется высота поземельной ренты, а наоборот — высота последней определяет стоимость земли и, следовательно, величину того капитала, который может быть выручен от продажи данного участка. Притом вы­сота поземельной ренты есть, как мы уже знаем, не единственный фак­тор, влияющий на стоимость земли. Она зависит также от уровня про­цента. Если он повысится с пяти на десять, то при прежней высоте по­земельной ренты земля потеряет ровно половину своей стоимости. При понижении обычного уровня процента стоимость земли будет, наоборот, возрастать, хотя бы высота поземельной ренты осталась без изменения. Но при данном уровне процента стоимость земли зависит, говоря во­обще, лишь от высоты поземельной ренты и отражает на себе все ее колебания. Поэтому стоимость земли растет даже в тех случаях, когда, при прочих равных условиях, увеличивается лишь трудящееся население страны или, как выражается Родбертус, количество ее производитель­ных сил. Все это может казаться пока весьма сухим и незаниматель­ным, но несомненно приобретет весьма большую поучительность, когда мы взглянем, с точки зрения этих абстрактных положений, „на общий ход экономического развития Европыˮ. Мы должны, однако, сделать раньше небольшое отступление.

Известно, что меновая стоимость драгоценных металлов опреде­ляется, как и стоимость всякого другого товара, количеством труда, необходимого для их добывания. Но производительность труда не остается неизменной и в этой отрасли предприятий. Она возрастает с откры­тием более богатых рудников или россыпей и уменьшается с их истощением. Вместе с этим изменяется, конечно, и меновая стоимость дра­гоценных металлов, а следовательно, и самих денег. Нам нужно выяс­нить теперь, какое влияние оказывают изменения в стоимости денег на относительную высоту различных видов дохода.

«В прежнее время, — говорит Родбертус, — экономисты были того мнения, что открытие американских рудников в XVI столетии, при­чинившее падение меновой стоимости денег, повело к понижению обыч­ного уровня процента, а следовательно, и прибыли. Но уже Юм не со­глашался с этим мнением; да и на самом деле ясно, что при понижении меновой стоимости драгоценных металлов денежная стоимость капи­тала должна возрасти в том же самом отношении, в каком возрастает денежная стоимость продукта предприятия; поэтому отношение между прибылью и капиталом должно остаться неизменным»[[109]](#footnote-109)*.* Что же касается поземельной ренты, то высота ее находится, по мнению Родбертуса, в тесной связи со стоимостью драгоценных металлов. Понижение этой последней ведет к возрастанию денежной стоимости всех продуктов. Между прочим, возвышается, конечно, денежная стоимость и той части национального продукта, которая представляет собой поземельную ренту. Но эта повысившаяся денежная стоимость поземельной ренты распределяется на прежнюю площадь обрабатываемой земли. «Денежная рента растет, таким образом, в том же отношении, в каком понижается стоимость денег, а потому и в результате капитализации этой ренты получится большая сумма; другими словами, стоимость земли возрастет вместе с рентой».

### VIII.

При внимательном анализе в экономической истории каждой про­грессирующей страны можно открыть, по мнению Родбертуса, влияние всех или почти всех указанных факторов. Сделать это будет, конечно, совсем не легко, так как они действуют не в одном и том же на­правлении. Переплетаясь и комбинируясь между собою самым различным образом, то дополняя, то нейтрализуя друг друга, факторы эти дают чрезвычайно сложный результат, который может быть приписан дей­ствию совсем других причин, влиянию совершенно иных законов.

Именно такая ошибка имела, по словам нашего автора, место при из­учении экономических отношений западноевропейских стран. Заме­чаемое в этих странах возрастание поземельной ренты и хлебных цен приписывалось уменьшению производительности земледельческого труда, между тем как это явление допускает совершенно иное и гораздо более правильное объяснение. Родбертус убежден, что производитель­ность труда увеличилась в Европе во всех отраслях производства. Вследствие этого заработная плата стала представлять собой меньшую, «рента вообще» — большую, чем прежде, часть национального продукта; точнее сказать, заработная плата, как часть продукта, не *понизилась,* а *понижается,* так как увеличение производительности труда предста­вляет собою не только совершившийся факт, но и постоянно совер­шающийся процесс. Возрастание это не в одинаковой степени коснулось различных отраслей национального производства. Фабричный труд сделал в этом отношении гораздо большие успехи, чем земледельче­ский. Поэтому и стоимость земледельческих продуктов понизилась в меньшей степени, чем стоимость продуктов фабричных. Если пуд хлеба и аршин сукна имели некогда одинаковую стоимость, то теперь за пуд хлеба можно приобрести уже не один, а полтора или два аршина сукна. Это, повторяем, относительное, а не абсолютное увеличение стоимости земледельческих продуктов должно было повести к повы­шению поземельной ренты, так как, при данной стоимости националь­ного продукта и при данном уровне «ренты вообще», высота поземель­ной ренты обратно пропорциональна производительности земледельческого труда. Кроме того, трудящееся население Европы, «количество ее производительных сил», постоянно возрастало, а вместе с тем уве­личивалось и общее количество продуктов ее производства. Мы знаем уже, как влияет на поземельную ренту такое явление: она возвышается пропорционально возрастанию трудящегося населения. Но и это не все. Открытие американских рудников в огромной степени увеличило количество обращающихся в Европе драгоценных металлов и умень­шило стоимость денег. Этот упадок стоимости денег должен был, как сказано выше, повести к повышению денежной ренты землевладельцев, а следовательно, и продажных цен на землю. Мы видим таким образом, что к повышению поземельной ренты было достаточно поводов помимо всякого уменьшения производительности земледельческого труда. «Взя­тые вместе, указанные обстоятельства так хорошо объясняют чрезвычай­ное возрастание поземельной ренты и стоимости земли, — говорит Род­бертус, — что для разгадки этого замечаемого во всей Европе явления вовсе не нужно прибегать к предположению упадка производительности земледельческого труда, — упадка, отнюдь не имевшего места в нашей части света».

Перейдем к другим категориям дохода. Если бы производитель­ность национального труда в одинаковой степени возрастала во всех отраслях производства, то увеличение «ренты вообще», рассматривае­мой как *часть* продукта, повело бы к равномерному повышению прибыли на капитал и поземельной ренты. Но мы знаем уже, что земледель­ческий труд отстал в этом отношении от фабричного, и что поземельная рента возвысилась на счет прибыли. «Несмотря на возвышение «ренты вообще», возросла только поземельная рента, уровень же прибыли, напротив, понизился», — говорит наш автор. Такая плохая награда за капиталистические добродетели может, конечно, казаться самой вопию­щей несправедливостью всякому «беспристрастному наблюдателю». Мы заметим, однако, ему в утешение, что история другим путем возна­градила гг. капиталистов и предпринимателей за эти потери. Во-первых, понижение уровня прибыли не означает еще уменьшения общей ее суммы. Прибыль в 20% с капитала в 100.000 равняется 20.000 руб. Предположим, что прибыль понижается с течением времени с 20 на 15%, но в то же время удваивается общая сумма капитала; 15% при­были с капитала в 200.000 дает 30.000 руб. дохода. Таким образом, несмотря на понижение *уровня* прибыли, общая сумма ее увеличится на одну треть. «Рента на капитал увеличивается, растет, но не возвы­шается», — говорит наш автор[[110]](#footnote-110). Мы знаем уже, что национальный ка­питал увеличился во всех европейских странах. Конечно, если бы с ростом национального капитала увеличивалось также число капита­листов и предпринимателей, то каждый из них в отдельности не извлек бы никакой пользы из этого обстоятельства, большая сумма прибыли распределялась бы между большим числом капиталистов, и доход ка­ждого из них не имел бы поводов к увеличению. Но в современном обществе дело происходит как раз наоборот. Капиталы все более кон­центрируются в немногих руках, крупные предприятия все более вы­тесняют средние и мелкие. Число капиталистов и предпринимателей уменьшается вместе с ростом национального капитала, а потому средний доход их возрастает. Теряя от понижения *уровня* прибыли, они выигрывают от увеличения ее *суммы.* Кроме того, нужно иметь в виду, что если бы общая сумма прибыли не стремилась к возрастанию, то и тогда понижение ее уровня не означало бы уменьшения материального благо­состояния этого слоя имущего класса. Увеличение производительности национального труда ведет к понижению стоимости всех продуктов. Поэтому, представляя собою меньшую часть *стоимости* национального продукта, прибыль может представлять собою в то же время большее, чем прежде, количество предметов потребления. Для этого нужно только, чтобы уровень прибыли понизился в меньшей степени, чем воз­высилась средняя производительность национального труда. И не­сомненно, что именно такое благоприятное отношение существует в действительности между понижением уровня прибыли и возвышением производительности труда: успехи промышленной техники выражаются во всяком случае в целых числах (единицах, десятках и даже сотнях и тысячах), между тем как понижение уровня прибыли изменяется дро­бями. Уже в силу одной этой причины никакое повышение поземельной ренты на счет прибыли не может грозить капиталистам понижением их standard of life.

Далеко не так успокоительно выглядит отношение между «рентой вообще» и заработной платой. Мы сказали уже, что заработная плата,— этот единственный доход «творцов общественного богатства», — пони­зилась вследствие увеличения производительности национального труда. Это понижение ее маскировалось, правда, изменением стоимости самых денег. Стоимость драгоценных металлов понизилась в большей сте­пени, чем стоимость земледельческих продуктов. В свою очередь, стоимость фабричных продуктов понизилась более, чем стоимость дра­гоценных металлов. Вследствие этого в обмен на сырые продукты дается теперь большее количество денег, чем прежде, несмотря на увеличение производительности земледельческого труда. Денежная стоимость фа­бричных продуктов должна была, напротив, понизиться. Конечно, лишь весьма небольшая часть сырых продуктов может служить для непо­средственного потребления; большинство их нуждается в фабричной обработке. Стоимость большей части продуктов слагается поэтому из двух частей: земледельческий труд и труд фабричный. Но чем более преобладает в нем та или другая часть, тем болеезависит его стоимость от степени производительности труда в соответствующей отрасли производства. Пища рабочих есть продукт, главным образом, земле­дельческого труда. Она составляет, кроме того, главную статью в бюд­жете рабочего. Поэтому можно сказать, что стоимость заработной платы — как данного количества предметов потребления — определяется преимущественно производительностью земледельческого труда или, что то же, стоимостью сырых продуктов. Мы знаем уже, что денежная стоимость сырых продуктов возросла, несмотря на возрастание произ­водительности земледельческого труда. Только благодаря этому воз­росла и денежная стоимость заработной платы, хотя эта последняя не только составляет теперь меньшую *часть* национального дохода, но уменьшилась даже, как *сумма* поступающих в распоряжение рабочего продуктов. «Я утверждаю, — говорит Родбертус, — что, за исключением некоторой части нашей прислуги, все наши работники получают теперь меньше хлеба, мяса, платья, жилого помещения, короче, всех необходи­мых для жизни предметов, чем получали они 50 лет тому назад. Если вы причислите к рабочим также и детей, то я берусь доказать, что жилые помещения берлинского рабочего класса содержат относительно меньше квадратных футов, чем стойла наших баранов»[[111]](#footnote-111).

Как это ни странно, но людям пришлось завидовать баранам лишь благодаря успехам цивилизации. Основываясь на исследованиях Дюша­тлье и Роджерса, Родбертус утверждает, что количество составляющих заработную плату предметов потребления, реальная заработная плата, в противоположность денежной, меньше в настоящее время, чем оно было 500 лет тому назад. В варварском XIII столетии рабочий лучше питался, лучше одевался, занимал лучшие жилые помещения, чем в нашем веке пара и электричества! «Обыкновенно это оспаривается, — говорит Родбертус, — потому что нас ослепляет ситец, в который на­ряжаются теперь наши работницы, а еще чаще получаемое ими коли­чество зильбергрошей, которые сами по себе не отличаются, однако, питательностью». Дюшатлье доказывает, «что реальная плата понижалась во Франции с 1202 по 1830 год. То же подтверждает Роджерс относительно Англии; из его исследований оказывается кроме того, что и рабочее время тогда было короче. С 1830 года реальная плата понизилась еще более. Это было бы легко доказать и по отношению к Германии»[[112]](#footnote-112).

В 1873 году наш автор послал в редакцию «Berliner Revue» опыт о распределении национального дохода в Англии, названный им «Die Baxterische und die Colquhounische Einkommenspyramide (Aus einer Einleitung in die sociale Frage)». Вот что пишет он, между прочим, Р. Майеру о результатах своего исследования: «Это поразительная, страшная статистическая картина, основанная на официальнейших данных. Вы не можете себе представить, какая печальная разница произошла в распределении (удвоившегося) населения и (возросшего в шесть раз) национального дохода в промежуток времени от 1812 года (исследование Colquhouna) по 1868 год (к которому относятся иссле­дования Baxterа). Доход все более концентрируется в денежном мешке на вершине общественной пирамиды, весь прирост населения погло­щается ее основанием, он ведет лишь к увеличению рабочего муравейника; наконец, соответствующие средним классам middle incomes по­стоянно уменьшаются. Эти статистические данные превзошли все мои ожидания.

Я никогда не думал, чтобы могли существовать такие тяже­лые пункты обвинения против господствующей системе... Общество напоминает собою суставчатое животное, осу с перетянутой талией. Довольно! Это — зрелище, «достойное богов»[[113]](#footnote-113).

Последуем и мы примеру Родбертуса.

Вспомним, что не всем же живется плохо в этой юдоли скорби и бедствий, что полезны же кому-нибудь завоевания современной науки и чудеса промышленной техники. Мы видели уже, что европейская исто­рия была очень внимательна к землевладельцам и предпринимателям. Перейдем теперь к «капиталистам» и арендаторам.

«Рента на капитал» подразделяется, как мы знаем, на две части: процент капиталиста и прибыль предпринимателя. Величина обеих ча­стей зависит прежде всего от величины целого, т. е. самой «ренты на ка­питал». С ее возвышением капиталисты получают возможность требо­вать больший процент за пользование их капиталом, предпринимателям же дается возможность удовлетворить этому требованию без ущерба для их собственных интересов. Поэтому все сказанное выше об относительной высоте «ренты на капитал» одинаково относится к доходу как предпринимателей, так и капиталистов. Но при даннойвысоте «ренты на капитал» очевидно, что более высокий процент обусловливает более низкий уровень предпринимательской прибыли и наоборот. Высота про­цента определяется, по мнению Родбертуса, отношением спроса на ка­питал со стороны предпринимателей к предложению его со стороны капиталистов. Адам Смит принимает, что «разумный» процент соста­вляет половину прибыли, полученной с помощью отданного взаймы капитала. В настоящее же время отношение между процентом и пред­принимательской прибылью изменилось, по мнению нашего автора, в пользу капиталистов. Это произошло благодаря распространению акци­онерных компаний. Каждая компания представляет собою ассоциацию лиц, соединивших свои капиталы для той или другой производительной цели, не принимающих непосредственного участия в ведении предпри­ятия. Последнее поручается директорам, управляющим и т. д., заступающим место предпринимателей и получающим определенное жалованье. Остающаяся, за вычетом этого жалованья, часть предпринимательской прибыли достается — в виде дивиденда — акционерам, между тем как в еди­ноличных предприятиях часть эта поступает в распоряжение предприни­мателей. Понятно, что такой способ помещения капиталов гораздо вы­годнее для их обладателей; поэтому значительная часть европейских ка­питалов приливает в акционерные компании, и отношение между их предложением и спросом изменяется к невыгоде предпринимателей. По­следние принуждены платить более высокий процент и довольствоваться меньшей прибылью. «Уровень процента возвысился у нас именно со времени распространения акционерных компаний, — говорит Родбертус, — хотя отсюда не следует, конечно, что влияние последних не может быть ослаблено или совершенно парализовано действием других факто­ров»[[114]](#footnote-114). Акционерные компании вообще играют очень важную роль в истории капитализма. Они представляют собою такую форму ассоциа­ции капиталов, благодаря которой даже самые незначительные сбереже­ния частных лиц, остававшиеся прежде вне всякого производительного употребления, идут теперь в дело и оживляют промышленную жизнь страны. Спекуляционная горячка много способствовала упадку акцио­нерных компаний в глазах общества. «Но чем индивидуальная предпри­нимательская деятельность какого-нибудь Круппа или Диргардта по­чтеннее деятельности акционерных компаний? — спрашивает Родбертус в одном из писем к Р. Майеру. — С какой стати предпочитать нам брю­нетов блондинам или обратно? Да и что вам сделали мои дорогие, до­рогие акционерные компании? — продолжает он в шутливом тоне. — Эта форма производства, которая соединяет в один большой поток множе­ство мелких капиталов, должна исполнить свою миссию. Она должна дополнить дело рук Божиих, прорыв перешейки там, где Создатель считал несвоевременным или забыл это сделать, соединить страны, разделенные морями, пробуравить Альпы и т. д. Египетские пирамиды и финикийские каменные постройки останутся да­леко позади в сравнении с тем, что делают акционерные компании»[[115]](#footnote-115). Но этим не исчерпывается еще их историческая роль. Частью благотвор­ное, частью вредное влияние их распространяется на все стороны со­циальной жизни. «В политическом отношении государству грозит опасность сделаться простым орудием в руках больших акционерных компа­ний; с точки зрения экономической они представляют нам удивитель­ное зрелище капитала, который сам прокладывает дорогу ненавистному ему государству рабочих и чиновников». Развитие акционерных компа­ний ведет за собою упрочение такой формы производства, при которой все заведование предприятием переходит в руки нанятых лиц, облада­тели же капиталов превращаются в простых рантьеров. И «если деятель­ному и энергичному роду майордомов удалось некогда свергнуть с пре­стола обленившуюся меровингскую династию, то почему живая и энер­гичная организация рабочих не сможет со временем устранить обще­ственную форму, превращающую собственников в простых рантьеров? А между тем капитал уже не может уклониться с этого пути! Digitus Dei est hic! Достигши полного цвета и развития, капитал превращается в своего собственного могильщика. Так продолжает Хронос пожирать своих собственных детей!»[[116]](#footnote-116).

Нам остается сказать несколько слов об отношении землевладель­цев к арендаторам, чтобы совершенно покончить с учением Родбертуса о распределении национального дохода. Собственно говоря, арендатор есть предприниматель, ведущий хозяйство на чужой земле и иногда с помощью чужого капитала. Поэтому сказанным выше об относитель­ной высоте «ренты на капитал» и поземельной ренты, с одной стороны, и о взаимном отношении процента и предпринимательской прибыли — с другой, исчерпывалось бы все, относящееся к доходу арендатора, если бы понятие о поземельной ренте всегда покрывалось понятием об арендной плате на землю.

Но эти два понятия совпадают лишь в тех странах, где образовался многочисленный класс свободных и зажиточных фермеров. Классическим примером такой страны может служить Англия, в которой сама сила вещей приводит к тому, что арендаторы довольствуются прибылью на земледельческий капитал, отдавая землевладельцам поземельную ренту во всем ее объеме. Та же сила вещей, — иначе сказать, конкуренция, — держит прибыль на одинаковом уровне во всех отраслях национального производства; поэтому и землевладельцы вынуждены довольствоваться поземельной рентой, предоставляя прибыль на капитал в распоряжение фермеров. В других же государствах Европы такое равновесие нарушается часто в пользу одной из сторон. Там, где класс фермеров на­ходится еще в зачаточном состоянии, как это мы видим, по словам Род­бертуса, в Германии, арендаторы сверх прибыли на свой капитал «удержи­вают в своих руках значительную часть поземельной ренты». И, наобо­рот, неблагоприятно сложившиеся обстоятельства, промышленная отста­лость страны, отсутствие выгодных помещений для капиталов, наконец, недостаточный спрос на труд могут вынудить фермеров не только отда­вать собственникам сверх поземельной ренты еще значительную часть прибыли на капитал, но из всего дохода фермы довольствоваться лишь самой жалкой заработной платой. Едва ли нужно прибавлять, что в та­ком положении находится Ирландия[[117]](#footnote-117).

### IX.

Изложенное выше учение Родбертуса о распределении националь­ного дохода основывается, как мы уже говорили неоднократно, на том предположении, что производительность труда возрастает во всех от­раслях национального производства. Успехи промышленной техники слишком очевидны для того, чтобы возможны были какие-нибудь сомне­ния относительно возрастания производительности фабричного труда. Что же касается земледелия, то здесь мнения экономистов расходятся: многие писатели до сих пор держатся взглядов Мальтуса и Рикардо, утверждавших, что производительность его уменьшается в каждом развивающемся обществе. Нужно заметить, что этот спорный пункт представляет собой узел всех «проклятых вопросов» нашего времени. Если Мальтус и Рикардо заблуждались, то улучшение экономического положения беднейших классов населения цивилизованных обществ является лишь делом времени и доброй воли самих бедняков. Если же названные экономисты правы, то классы эти должны «оставить всякую надежду», человечество осуждено на постепенное обеднение, против ко­торого бессильны все успехи техники, все улучшения общественных отношений. Рано или поздно земля откажется удовлетворять в должной мере потребности возрастающего населения, и оно будет поставлено в состояние хронического голодания, если химикам не удастся открыть способа искусственного приготовления белковины. «К счастью, — гово­рит наш автор, — убеждение Мальтуса и Рикардо совершенно ошибочно. Оно не выдерживает критики ни с сельскохозяйственной, ни с истори­ческой, ни с статистической точек зрения»[[118]](#footnote-118).

Статистика, на которую ссылаются последователи Рикардо и ко­торая «во всяком случае имеет важное значение при решении этого во­проса», содержит тысячи неоспоримейших данных, по меньшей мере не согласующихся с мнением Рикардо, между тем как немногие данные, говорящие, повидимому, в его пользу, или совсем недостоверны, или до­пускают совершенно иное толкование. Аргументы Родбертуса имеют особенно важное значение ввиду того, что он сам был отличным сель­ским хозяином, знавшим свое дело и теоретически и практически. Кому же, как не сельским хозяевам, решать вопрос о том,уменьшается или уве­личивается производительность земледельческого труда, меньшую, равную или большую прибыль приносят последовательные затраты земледель­ческого капитала? Мы видели уже, что наш автор самым решительным образом восстал против мнения Рикардо. «Я хотел бы спросить после­дователей Рикардо: *с* *каких же пор* началось это уменьшение производительности земледелия? — говорит он, приступая к его опроверже­нию. — Я спрашиваю: явилась ли убывающая производительность этого рода труда вместе с самим земледелием? Но в таком случае, какой бы богач был в состоянии кутить себе достаточное количество хлеба? Ведь история земледелия измеряется уже тысячелетиями. Или, может быть, производительность земледельческого труда возрастала в течение первых двух-трех тысяч лет его существования, а затем вдруг стала уменьшаться? Могут ответить, конечно, что этот поворотный пункт наступил тогда, когда все наиболее плодородные участки поступили уже в обработку и возрастание народонаселения вынудило обратиться к менее благодарной почве. Но я спрашиваю: какой же район имеется в виду при подобном ответе? Не видим ли мы, что и до сих пор польский, русский и амери­канский хлеб оказывает давление на английский, а следовательно, и на все другие хлебные рынки? В Украине и придунайских странах земле­дельческая химия открыла почву, с плодородием которой не может со­перничать ни один участок в Ломбардии, Кенте и Бельгии; а между тем эта почва до сих пор остается необработанной. Дайте лишь упрочиться в этих странах свободному правовому порядку, — и их производство окажет новое давлений на хлебную торговлю Европы. Но хотя такого рода воздействия постоянно имеют — и долго еще будут иметь — место, у нас повсюду обрабатывается гораздо менее плодородная почва. От­сюда следует, что, несмотря на обработку этой худшей почвы, у нас не наступило еще время уменьшения производительности земледельче­ского труда».

Уже эти общие соображения значительно подрывают вероятность вышеприведенного мнения Мальтуса и Рикардо. Но Родбертус наме­ренно предоставляет своим противникам наиболее выгодную позицию. Он ограничивает свое исследование лишь западноевропейскими стра­нами и рассматривает притом историю земледелия в этих странах лишь за последнее столетие. Он устраняет также вопрос о воздействии на европейские рынки хлебной производительности других стран света. Он спрашивает лишь: «Правда ли, что в западных странах Европы в течение последнего столетия производительность земледельческого труда уменьшилась, стоимость его продуктов возросла, в обработку поступали все менее плодородные земли и последующие затраты капитала на данном участке приносили меньший доход?» Далее, «правда ли что в условиях западноевропейского земледелия лежат причины, благо­даря которым производительность его должна уменьшаться в будущем?» Родбертус думает, что он имеет право ответить на эти вопросы отрица­тельно. Против учения Мальтуса и Рикардо он выставляет, с своей сто­роны, следующие три положения:

1) В Западной Европе — этой обработаннейшей части света — до cа­мого последнего времени так же часто совершался переход к более пло­дородным, как и к менее плодородным участкам. То же должно иметь место и в будущем.

2) Сказанное относится и к последовательным затратам земледель­ческого капитала. Последующие затраты не всегда были и будут менее производительны, чем предшествующие.

3) Наконец, худшие участки могут приносить поземельную ренту и помимо возрастания стоимости земледельческих продуктов.

Приступая к доказательству первого из этих положений, Родбер­тус замечает, что Рикардо составил себе довольно странное понятие об истории *землевладения.* По мнению английского экономиста, в част­ную собственность переходят первоначально лишь самые плодородные участки, менее же благодарная почва остается совершенно свободной, и занятие ее предоставляется доброй воле граждан. Но «гораздо вероятнее, напротив, что вся обитаемая оседлым народом территория состоит в собственности — частной или общинной, — так что даже самые бесплод­ные участки не подлежат свободному занятию. С незапамятных времен вся земля составляет предмет собственности, лежащие у городских во­рот огороды так же точно, как и болота, которых не касалась еще нога человека»[[119]](#footnote-119). Необработанная почва лежит рядом с обработанной в раз­личных хозяйственных единицах, и количество ее оказывает решитель­ное влияние на существующую в стране систему сельского хозяйства. Необработанная почва служит выгоном или пастбищем для скота, а известно, как тесно связано скотоводство с земледелием в собственном смысле этого слова. Она входит таким образом необходимою состав­ною частью в каждую хозяйственную единицу; при этом необработан­ные участки далеко не всегда бывают наименее плодородными. Очень часто, по причинам как хозяйственного, так и чисто физического свой­ства, обработка положительно не может начаться с наиболее плодород­ных участков. Так, например, высота уровня воды в данной местности имеет иногда решающее влияние на судьбу различных участков. «Известно, — говорит Родбертус, — что уровень воды во всех наших больших реках и озерах понизился за последнее столетие на несколько футов. И это явление вовсе не ново, хотя только за последнее время оказалось возможным выразить его в числах. Хроника XII столетия доказывает, что в то время море еще покрывало многие местности, которые представляют собою ныне плодороднейшие участки. То же повторяется во всей Запад­ной Европе». Конечно, участки, отвоеванные таким образом у моря, сами по себе имеют ничтожное значение. Но понижение уровня воды ведет к осушению почвы во всем бассейне данной реки, а это в свою очередь увеличивает ее плодородие. «Сырость есть величайший враг по­лезной растительности». Поэтому «каждый фут, на который пони­жается уровень воды в наших больших реках, оказывает благодетель­нейшее влияние на целые тысячи моргенов, увеличивает их плодородие или даже впервые делает их годными для земледелия».

Осушенная таким образом почва оказывается часто в высшей степени плодородной благодаря изобилию находящихся в ней раститель­ных остатков. Многие плодороднейшие земли северной Германии явля­ются, по словам Родбертуса, таким «подарком природы», полученным помимо какой бы то ни было затраты капитала. Наш автор приводит в пример свое собственное имение, в котором «в течение последних 50 лет (писано в конце 50х годов) площадь обрабатываемой земли увеличилась более чем на тысячу плодороднейших моргенов», единственно благо­даря естественному уменьшению сырости почвы. «Законы, на которых основывается это явление, имеют общее значение», поэтому и самое явление не ограничивается пределами одной Германии. Точно такой пример представляет нам Англия. С другой стороны, несомненно, что это понижение уровня воды не остановилось еще и в настоящее время. Бла­годаря ему и до сих пор еще частью осушается страдавшая прежде от сырости почва, частью же «дарятся нам новые, более плодородные участки». В Европе и до сих пор еще находятся сотни тысяч моргенов, обработка которых станет возможной лишь в будущем, и не потому, что нынешние цены на хлеб делают ее невыгодной, как это думают последователи Рикардо, а потому, что ей препятствуют чисто физические условия. Только «незаметный, но всесильный ход развития в природе» устранит эти препятствия и даст — «и притом совершенно даром» — воз­можность воспользоваться производительными свойствами этих участ­ков.

Но это не все. Существует много хозяйственных условий, препятствующих обработке наиболее плодородной почвы. «Взглянувши на лю­бую деревню, нетрудно убедиться, — говорит Родбертус, — что в обра­ботку поступают прежде всего ближайшие к ней участки. Но всегда ли располагались первые поселения в плодороднейшей части принадлежа­щей им земли?» На этот вопрос нельзя ответить иначе как отрица­тельно. Места для поселений выбирались на основании множества со­ображений, часто не имеющих ничего общего с сельским хозяйством. Близость к деревне наиболее плодородных участков является делом случая. Но раз деревня располагалась далеко от них, то обработка их становилась почти невозможной, и они играли лишь второстепенную роль выгонов и пастбищ. Тюнен показал, что доходность земель умень­шается в зависимости расстояния их от хозяйственного центра. На это могут возразить, пожалуй, что если обработка наиболее плодородных участков оказывалась невыгодной для данного хозяйственного центра, то ничто не мешало возникновению новых центров, расположенных именно среди этих плодородных земель. Но, вопервых, известно, что поземельная собственность в Западной Европе сравнительно недавно освободилась от оков феодального права, мешавшего свободному пере­ходу ее из одних рук в другие. Поэтому часто владелец не мог передать малополезных для него участков в другие руки, между тем как у него не было достаточно капитала для заведения новых хуторов в отдален­ных частях имения. Кредитные же учреждения и до сих пор далеко не всегда приходят на помощь сельским хозяевам. Кроме того, при господ­стве трехпольной системы, участки эти оказывались необходимыми в качестве пастбищ и выгонов для скота; и пока общее развитие эконо­мических отношений не привело к плодопеременному хозяйству, участки эти *должны* были оставаться необработанными.

«Таким образом, естественные и хозяйственные условия мешали и до сих пор мешают во всех странах Европы возделыванию участков, отличающихся гораздо бόльшим плодородием, чем земли, находящиеся ныне в обработке. В нашем отечестве, например, — прибавляет Родбер­тус, — нельзя еще и предвидеть, когда исчезнут все вышеуказанные пре­пятствия и сила человека победит природу, а разум исправит историю». Но предположим, что наступило, наконец, такое время, когда не остается уже необработанных плодородных участков. Тогда всякое до­бавочное количество земледельческих продуктов может быть получено лишь путем затраты нового капитала на обработанной уже почве. Мы знаем уже, что — в противность Мальтусу и Рикардо — наш автор убе­жден, что эти новые затраты будут столь же производительны, как и предшествующие. «Я думаю, — говорит он, — что в общем плодородие почвы увеличивается под влиянием земледелия, так что участки четвер­того класса сравниваются с участками третьего класса, эти последние возвышаются по своему плодородию на степень участков второго класса и т. д., и т. д.».

Мы видели уже выше, что плодородие почвы возрастает часто под влиянием чисто физических условий. «Еще чаще оно увеличивается вследствие новых затрат капитала». Так, например, дренаж оказы­вает часто такое благодетельное влияние на плодородие почвы, что, по­мимо всякого возвышения цен земледельческих продуктов, приноси­мый ею доход далеко превышает затраченный на ее осушение капитал. Осушение почвы путем дренажа могло бы явиться, по словам Родбер­туса, «главным рычагом сельскохозяйственного прогресса в низменных странах европейского континента, следовательно, по всей почти Герма­нии». Но для приложения этого рычага недостает в настоящее время главной точки опоры — карты, которая указывала бы высоту уровня воды в различных местностях данной страны. Таким образом, это улуч­шение и связанное с ним возрастание плодородия почвы являются еще делом более или менее далекого будущего. «Но я должен, — прибавляет Родбертус, — обратить внимание читателей еще на одно обстоятельство, которое гораздо медленнее, но зато в несравненно более обширных раз­мерах превращает худшие участки в лучшие. Оно заключается просто в продолжительной обработке данного участка, конечно, по разумной системе, но без всяких экстраординарных затрат капитала». Первым условием правильного ведения сельского хозяйства является, как из­вестно, поддержание надлежащего соотношения между количеством ве­ществ, *взятых* из почвы в виде хлеба, и количеством веществ, *возвращенных* ей в виде удобрения. Каждая сельскохозяйственная система достигает этого равновесия посвоему, и несомненно, что любая система, будучи приложена разумным образом, может не только поддержать плодородие почвы на данном уровне, но и увеличить его, — «другими сло­вами, из худших участков сделать лучшие». Такое возрастание плодородия почвы облегчает переход к более интенсивному хозяйству, зна­чительно увеличивающему площадь засеваемых хлебом земель в каждое чанное время. Если при трехпольной системе под посев хлеба идет только третья часть принадлежащей имению земли, то плодоперемен­ная система допускает засевание двух третей, т. е. вдвое большего количества земли. Таким образом, при переходе к более интенсивному хо­зяйству, площадь обрабатываемых земель возрастает, хотя число принадлежащих каждому хозяину моргенов и остается неизменным. «Этот процесс перехода от экстенсивной к интенсивной культуре еще очень далек от своего окончания даже в Западной Европе. В этой обработан­нейшей половине обработаннейшей части света только небольшая часть земель возделывается по плодопеременной системе. Уже этого одного факта достаточно, чтобы опровергнуть мнение Рикардо».

Родбертус не думает, разумеется, что плодородие почвы может возрастать до бесконечности. «Очень возможно, — говорит он, — что пло­дородие лучших наших земель может быть только удвоено; но гораздо вероятнее, что все худшие земли могут дойти до такой же степени плодородия, на которой стоят теперь самые лучшие участки. В течение столетий, которые пройдут до тех пор, мы можем не бояться грозных пророчеств Рикардо. А когда этот пункт будет достигнут, откроется новый исход. Ведь речь идет о добывании питательных веществ вообще, а не о добывании того или другого *вида* этих веществ. И та же самая почва, будучи засеяна каким-нибудь новым питательным растением, мо­жет дать гораздо большее количество пищи, чем она давала прежде. С другой стороны, столь же трудно доказать способность человече­ского рода к бесконечному размножению, как и способность земледелия к бесконечному усовершенствованию.

Если бы Рикардо имел в виду возможность обработки различных участков по различным системам, если бы он принял в соображение, что экстенсивная культура требует меньших затрат, чем интенсивная, то он не сказал бы, что обработка худших участков возможна лишь при возвышении хлебных цен. Доход, приносимый менее плодородными участками, может не покрывать издержек, требуемых *плодоперемен­ной* системой, но обработка тех же участков по *трехпольной* системе может, по мнению Родбертуса, приносить не только обычную прибыль на капитал, но даже и поземельную ренту. Плохой участок будет, ко­нечно, родить меньше хлеба, чем хороший. Но так как обработка первого по трехпольной системе требует менее труда, чем обработка второго по плодопеременной, то издержки производства могут быть одинаковыми в обоих случаях. Лучший участок родит, положим, 40 бушелей хлеба, худший — только 20; но если на обработку лучшего участка нужно 80 дней труда, между тем как обработка плохого по более дешевой системе требует лишь 20 дней труда, то каждый бушель хлеба будет стоить двух дней труда, независимо от того, с какого участка он получен.

Чтобы воспользоваться законом относительной выгодности различ­ных сельскохоэяйственных систем, нужно, конечно, много знаний, не всегда имеющихся даже у западноевропейских хозяев. Несомненно также, что земледелие до сих пор еще не пользовалось услугами есте­ствознания в той же мере, в какой пользуется ими фабричное производ­ство. Кроме того, существует много других препятствий, мешающих про­грессу земледелия и рациональной обработке участков различного пло­дородия. «Но все эти препятствия устраняются с развитием общества и не могут поэтому иметь тех последствий, которые выводятся из них системою Рикардо».

### X.

Учение о постоянном уменьшении производительности земледель­ческого труда основывалось, как известно, на том будто бы несомнен­ном факте, что хлебные цены повышаются всегда с возрастанием на­родонаселения. Сторонники этого учения указывали также на то об­стоятельство, что в каждое данное время хлебные цены выше в густо­населенных, чем в малонаселенных странах. Именно эти аргументы имел в виду Родбертус, утверждая, что «немногие статистические дан­ные, говорящие, по мнимому, в пользу теории Рикардо, или совсем не­достоверны, или допускают совершенно иное истолкование». Наш автор прежде всего не соглашается с тем, что хлебные цены всегда повыша­ются с ростом народонаселения. Он ссылается на таблицу *фон Гюлиха,* показывающую состояние хлебных цен на лондонском рынке за огром­ный период времени от 1202 по 1826 год. Из этой таблицы видно, что в XIII и XIV столетиях цены на пшеницу стояли значительно выше, чем в XV и в первой половине XIV века. С 1202 года замечается постоянное понижение цен на пшеницу, продолжающееся до 1560 года включи­тельно. Во второй половине XVI века начинает оказывать свое влияние прилив мексиканского серебра, и цены на пшеницу испытывают огром­ное повышение, которое продолжается до начала XVIII столетия. Но с 1701 года цена ее снова понижается и стоит сравнительно низко до 1770 года, с которого начинается новое повышение. В 1809 году повы­шение прекращается, и цены падают вплоть до 1826 года. «Таким обра­зом, замечает Родбертус, — мы не видим *«постоянного повышения»* цены пшеницы на рынке Лондона, этого всегда растущего всемирного города. Мы видам, напротив, целый ряд колебаний, вполне соответствую­щих колебаниям континентальных цен. И в Англии и на континенте цены стоят гораздо выше в семнадцатом, чем в восемнадцатом веке; в конце восемнадцатого века они снова повышаются до первого десятиле­тия девятнадцатого века включительно». Затем статистика указывает на новое понижение. Из исследований Дитерици видно, что цена пше­ницы на берлинском рынке была значительно выше в период времени от 1791 по 1815, чем с 1816 по 1840 год. Таблица фон Гюлиха также по­казывает, что с 1809 года происходит общее понижение цены пшеницы. Только в тридцатых годах, вследствие целого ряда неурожаев в Англии, хлебные цены снова возвышаются, при чем возвышение это продол­жается в Германии и в сороковых годах благодаря отмене английских хлебных законов. Само собою понятно, что свобода хлебной торговли оказала обратное этому влияние на английский рынок.

Если мы сопоставим это движение хлебных цен с движением наро­донаселения в различных странах, то станет ясно, что первое не имеет никакой связи с последним. Возрастание народонаселения не только не всегда сопровождается вздорожанием хлеба, но, напротив, часто слу­чается, что хлебные цены более всего падают именно в то время, когда население растет всего быстрее. Правда, сколько-нибудь точной стати­стики европейского населения за предшествующие столетия не суще­ствует. Но и общие исторические соображения заставляют признать, что в XIII и XIV столетиях европейское население увеличилось в весьма сильной прогрессии. Это подтверждается соответствующим названной эпохе развитием и процветанием западноевропейских, а в том числе и английских городов. Однако мы видели уже, что лондонские цены на хлеб именно в течение этого периода испытывают весьма значитель­ное понижение. С другой стороны, хлебные цены значительно растут в течение всего XVII века, когда — «по общему признанию историков»— народонаселение Англии не только не увеличивалось, но даже уменьша­лось. Наоборот, население ее увеличивается в XVIII столетии, между тем как цены на хлеб падают до 1770 года включительно, при чем пони­жение их достигает более чем 30%. Дальнейшее сравнение хлебных цен с движением народонаселения показывает, что и цены эти росли всего сильнее именно в то время, когда население возрастало всего медленнее, и падали в периоды наиболее быстрого его увеличения. Так, например, с 1817 по 1843 год население Пруссии возросло на 50%. По теории Рикардо, такое увеличение народонаселения должно было бы вызвать значительное вздорожание хлеба. История показывает, однако, совер­шенно противное. В тот самый период, когда население Пруссии воз­росло на 50%, хлебные цены на ее рынке понизились до 30 %. А между тем за все это время Пруссия не только не ввозила иностранного хлеба, но продолжала увеличивать свой вывоз.

При всех этих сопоставлениях хлебных цен с движением народонаселения нужно, кроме того, иметь в виду, что стоимость драгоцен­ных металлов в свою очередь подвергалась колебаниям. Рикардо при­знавал, что открытие американских рудников причинило внезапное па­дение стоимости драгоценных металлов в XVI веке; но он полагал, что влияние этого открытия давно уже прекратилось. Родбертус оспари­вает мнение Рикардо, указывая на то обстоятельство, что в течение XVIII столетия добывание драгоценных металлов в Мексике увеличилось почти в пять раз. Такое возрастание притока драгоценных металлов должно было, по его мнению, вызвать возвышение денежной стоимости всех продуктов, в том числе и хлеба — совершенно так же, как умень­шение добывания драгоценных металлов, обнаружившееся с 1809 года, должно было понизить хлебные цены. «Именно в виду таких колеба­ний в стоимости самих денег, — прибавляет Родбертус, — было бы весьма рискованно делать заключения о производительности земледельческого труда, основываясь лишь на денежной стоимости хлеба».

### XI.

Мы видим теперь, какое значение имеют историко-статистические данные, подтверждающие будто бы учение об уменьшении производи­тельности земледельческого труда в развивающихся обществах. Данные эти ни в каком случае не доказывают положения, в защиту которого их приводят. Но есть один несомненный факт, объяснимый, повидимому, лишь с точки зрения учения Мальтуса — Рикардо. Сущность его заклю­чается в том, что в каждое данное время в богатых и густонаселенных странах хлебные цены стоят выше, чем в странах бедных ималонаселен­ных. Родбертус не отрицает этого явления, но находит для него иное объяснение. Если бы справедливо было учение Мальтуса и Рикардо, рас­суждает он, то в каждом развивающемся обществе сельское население должно было бы возрастать относительно быстрее городского. Так как, по учению английских экономистов, производство добавочного количе­ства хлеба требует все большего труда, то естественно было бы ожидать, что все большая и большая часть прироста населения будет обра­щаться к земледелию. В действительности же мы видим совершенно об­ратное явление. В прогрессирующих обществах городское население уве­личивается обыкновенно быстрее сельского. Это может быть объяснено лишь тем, что, вопреки мнению Мальтуса и Рикардо, производитель­ность земледельческого труда возрастает и потому относительно боль­шая часть населения прогрессирующих стран получает возможность взяться за ремесленный и фабричный труд. И если, несмотря на возра­стание производительности земледельческого труда, хлебные цены всетаки возвышаются в таких странах, то это явление может быть объяснено множеством других причин, не имеющих прямого отношения к земледелию. Так, например, несомненно, что до некоторой степени оно обусловливается упомянутым уже более быстрым увеличением город­ского населения сравнительно с сельским. Для пропитания городского населения хлеб доставляется из деревень, и эта доставка значительно возвышает его стоимость. По исследованиям Тюнена, оказывается, что если бы в деревне, отстоящей от города на 50 миль, шеффель ржи не стоил ничего, то при доставке его на лошадях и по обыкновенным не­мецким дорогам он стоил бы в городе не менее 1½ талера. Улучшение пу­тей сообщения уменьшает, конечно, влияние этого фактора, не уничто­жая, однако, его совершенно. Но зато, чем дешевле обходится доставка хлеба с экономическим прогрессом страны, тем сильнее сказывается, по мнению Родбертуса, влияние на хлебные цены нового фактора, именно денежного хозяйства. Известно, что с заменой натурального хо­зяйства денежным «натуральная» заработная плата уступает место де­нежной. Не только рабочие, но даже прислуга, вместо так называемого «хозяйского содержания», получают соответственно повышенную де­нежную плату и сами уже заботятся об удовлетворении своих потреб­ностей. Рабочие являются таким образом самостоятельными покупате­лями на рынке и в громадной степени увеличивают спрос на предметы первой потребности. Конечно, предложение этих предметов также возра­стает, потому что все, составлявшее прежде натуральную плату рабо­чего, превращается теперь в товар и вывозится на рынок. Но, по мнению Родбертуса, это возрастание предложения «ни в каком случае не может уравновесить увеличения спроса», а потому цены названных предметов и не могут остаться на том же уровне, на каком стояли они в эпоху натурального хозяйства. «Исходя из многих тысяч отдельных лично­стей, направляясь на необходимейшие для жизни предметы и напра­вляясь именно в то время, когда потребность в них дает очень сильно себя чувствовать, спрос превышает увеличившееся предложение. Это влияние спроса, раздробившегося между многими тысячами лиц, заметно отчасти и на существующих в розничной продаже ценах. В особен­ности же оно заметно при неурожаях. Именно благодаря этому влия­нию, даже при одинаковом отношении наличного количества хлеба к числу потребителей, цена его стоит гораздо выше в тех странах, где на­туральная плата уступила место денежной».

Наш автор сознается, однако, что вышеприведенные факторы не выясняют спорного вопроса во всей его полноте. Так, например, Англия населена вдвое гуще, чем Германия. «Я утверждаю, — говорит Родбертус, — что производство данного количества хлеба требует, по крайней мере, на 50% менее труда в Англии, чем в Германии, а между тем, даже после отмены хлебных законов, английские цены на хлеб на 50% выше немецких. Такая значительная разница не может быть объяснена выше­указанными причинами». Но сам же Рикардо дает новое оружие в руки своего противника. Родбертус повторяет мысль Рикардо о влиянии меж­дународной торговли на количество денег в различных странах и утвер­ждает, что хлебные цены должны быть выше в богатых странах, вслед­ствие присутствия в них большего количества денег. Богатство страны обусловливается производительностью национального труда, — говорит он. — Большая же производительность национального труда дает стране значительные преимущества на всемирном рынке. Она ставится в поло­жение производителя, работающего при исключительно благоприятных условиях, и получает за свои продукты цены, значительно превышаю­щие издержки их производства. «Всемирный рынок заменяет, таким об­разом, для нее богатые рудники, из которых она с малым трудом, — необходимым для производства вывозимых ею продуктов, — получает большое количество золота и серебра, платимого ей за ее товары». Бла­годаря этому и на внутреннем рынке ее является большое количество драгоценных металлов, так что стоимость их понижается или, другими словами, возрастают цены всех других товаров. Но это возрастание де­нежных цен товаров будет заметно лишь по отношению к некоторым из них. Здесь повторится явление, которого мы касались уже выше, го­воря о влиянии американских рудников на европейские цены. Как по­мнит читатель, мы пришли к заключению, что если бы производитель­ность европейского труда осталась неизменной, то денежные цены всех товаров возвысились бы, благодаря уменьшению стоимости драгоцен­ных металлов. Но так как рядом с уменьшением их стоимости шло воз­растание производительности труда во всех его отраслях, то дело полу­чило гораздо более запутанный характер.

Возвысились денежные цены лишь тех товаров, производство ко­торых удешевилось в меньшей степени, чем добывание драгоценных ме­таллов. Такими товарами были сырые земледельческие продукты. Что же касается других продуктов европейских стран, то увеличение произво­дительности соответствующих им отраслей труда уравновесило или даже превысило влияние усилившегося притока драгоценных металлов, и цены их не возросли или даже упали. Так как большая производитель­ность труда «заменяет для передовой страны богатые рудники», то про­изводство главных предметов вывоза из страны может быть рассматри­ваемо как добывание драгоценных металлов при исключительно благо­приятных условиях. Более сильный, сравнительно с бедными странами, приток драгоценных металлов возвысит в передовой стране цены сырых продуктов, но влияние его не будет достаточно сильно, чтобы вызвать вздорожание продуктов фабричных. Несмотря на общее возвышение цен, продукты эти будут дешевле в богатых странах, чем в бедных, по­тому что увеличение производительности труда уравновесит и переве­сит влияние усилившегося притока драгоценных металлов.

Само собою понятно, что международная торговля повлияет в об­ратном смысле на бедные, мало развитые страны. На внутренних рын­ках этих стран цены всех продуктов будут стремиться к понижению вследствие уменьшения количества обращающихся в них драгоценных металлов. Но это общее понижение цен будет в особенности заметно на сырых продуктах, потому что малая производительность фабричного труда в этих странах будет стремиться возвысить цены фабричных про­дуктов и тем уравновесить влияние возвысившейся стоимости драгоцен­ных металлов.

«Я знаю, — говорит Родбертус, — что последователи Рикардо гово­рят о возвышении хлебных цен в *густонаселенных* странах, между тем как я объясняю это явление по отношению к *богатым* странам. Но более населенные страны являются обыкновенно и более богатыми. Увеличе­ние производительности национального труда есть результат умствен­ного развития. Творческая же сила человеческого ума растет, поводи­мому, лишь благодаря соединению и сближению умов, подобно тому как производительная сила индивидуумов увеличивается благодаря раз­делению труда. По мнению Рикардо, густота населения возвышает цены съестных припасов вследствие уменьшения производительности земле­дельческого труда. На самом же деле именно большое богатство густо­населенных стран причиняет возвышение цен тех продуктов, производ­ство которых удешевляется в меньшей степени, чем производство про­дуктов, составляющих главную статью их вывоза».

### XII.

Если производительность земледельческого труда не только не уменьшается, но даже возрастает во всех прогрессирующих странах, — хотя и в меньшей степени, чем производительность труда фабричного, — то экономический пессимизм Мальтуса и Рикардо лишается всякого осно­вания. Увеличение народонаселения является, в таком случае, не бедствием, которого должны страшиться цивилизованные народы, а источ­ником общественного богатства и благосостояния. Правда, до сих пор было не так, но причина этого печального явления коренится не в произ­водстве, а в распределении национального продукта. В этом, по мне­нию Родбертуса, коренной «недостаток» современной общественной организации, в устранении этого «недостатка» состоит вся суть соци­ального вопроса. Мы знаем уже, что с самых первых шагов в области самостоятельных экономических исследований Родбертус задался целью «увеличить долю участия рабочего класса в национальном доходе», и что все научные исследования его были лишь «необходимой теоретиче­ской основой» для достижения этой цели. Посмотрим же, какие «прак­тические предложения» для решения этого вопроса имел в виду автор «Социальных писем к Кирхману».

Современная общественная организация казалась ему переходною ступенью от античного строя, где не только средства производства, но и сами производители были объектами частной собственности, к тому будущему обществу, в котором предметы потребления будут подлежать частному присвоению, в размере участия каждого индивидуума в нацио­нальном производстве. Понятно, что «практические предложения» на­шего автора должны были сообразоваться с этим общим ходом истори­ческого развития, с этой сменой «всемирно-исторических периодов». Вот почему он так недоверчиво относился к «эйзнахцам», не имевшим, разумеется, в виду никакого «будущего периода». «Эйзенах глу­боко комичен!» — восклицает он в одном из писем к Р. Майеру. Так же мало удовлетворили его всевозможные попытки примирить интересы труда и капитала на почве «свободного договора», путем пресловутого «участия рабочих в прибыли предприятий» или чего-либо подобного. «Стремиться решить социальный вопрос на почве свободного договора — такое же нелепое намерение, как если бы госпожа История (Frau Historia) вздумала лечить бедствие рабства, оставаясь на почве раб­ства»[[120]](#footnote-120), — пишет он тому же Р. Майеру. Даже лассалевский проект орга­низации производительных рабочих товариществ вызывал его недове­рие, именно ввиду философско-исторических соображений. «Ничто не убедит меня в том, что производительные ассоциации лежат на пути будущего национально-экономического развития... Они не могут явиться даже переходной ступенью к более широкой цели. Они вернули бы нас к корпоративной собственности, которая в тысячу раз хуже современ­ной частной собственности. Переход от частной к государственной соб­ственности не может совершиться через посредство собственности кор­поративной; напротив, именно частная собственность есть переходная ступень от корпоративной к государственной собственности»[[121]](#footnote-121). На основании всех этих соображений Родбертус должен был искать такого пути для решения социального вопроса, который, с одной стороны, по­степенно вел бы общество к «будущему всемирно-историческому пе­риоду», но в то же время не подал бы повода к слишком резкому раз­рыву с настоящим. Как «социально-консервативный» мыслитель, наш автор стремился, разумеется, к мирному решению социального вопроса, потому что вопрос этот «не может быть решен на улице, посредством стачек, баррикад или даже петроля». Задача людей, стремящихся к ре­шению социального вопроса, заключается, по мнению Родбертуса, в том, «чтобы найти и осуществить такие «экономические учреждения», кото­рые могли бы, путем мирного развития, постепенно перевести общество из современного, основанного на частной собственности и уже отжив­шего государственного порядка в высший порядок, в котором собствен­ность являлась бы лишь в виде дохода, пропорционального труду». Эта, как он сам сознавался, неудобопроизносимая формулировка дополня­лась еще одним, весьма существенным требованием.

Искомые «экономические учреждения» должны были «вести к ука­занной цели и связать настоящее с будущим путем системы наемного труда, не сокращая доходов собственников, но в то же время обеспе­чивая рабочим увеличение участия их в национальном доходе»[[122]](#footnote-122).

Само собою разумеется, что такие замысловатые учреждения не могли бы быть осуществлены иначе, как посредством государственного вмешательства. В вопросе о государственном вмешательстве Родбертус совершенно сходился с Лассалем и не менее его ненавидел «Nichts-als-Freihändler»ов. «Физиократическая система, от которой мы и теперь так страдаем, должна уступить место антропократии. Народное хозяй­ство также должно войти в сферу государственного управления», — писал он в статье, носящей вполне понятное название «Physiokratie und Anthropokratie», к которому, по неизвестной причине, был прибавлен какой-то таинственный знак. Издатель *«писем и статей»* Родбертуса, Р. Майер, называет этот знак «масонским» и предполагал, что, укра­шая им статью, Родбертус хотел пригласить «свободных каменщиков» к постройке здания «будущего». Эта частность имеет, разумеется, зна­чение лишь в качестве биографической подробности. Для нас важно лишь содержание статьи, в которой автор старается выяснить разницу между животным организмом, с одной стороны, и социальным — с дру­гой. Между тем как «животные организмы свободны только по отноше­нию к внешнему миру», социальный организм свободен еще и в том смысле, что составляющие его «атомы» могут по произволу изменять свои взаимные отношения, а следовательно и всю организацию об­щества.

... Der Mensch

Vermag das Unmögliche;

Er unterscheidet,

Wählet und richtet, —

говорит он словами Гете. Государство должно совершать все признан­ные необходимыми изменения и исполнять таким образом волю «со­циальных атомов». Но между тем как Лассаль полагал, что государ­ство лишь тогда явится на помощь рабочему классу, когда он будет представлять собою сильную политическую партию, Родбертус считал политическую программу Лассаля по меньшей мере бесполезным при­датком к социальным требованиям рабочих. Он думал, что политическая агитация только нарушит общественное спокойствие, необходимое для решения социального вопроса. Кроме того, он опасался, что в наше время, когда «чуть не сам Лойола спекулирует на социальный вопрос», политика даст возможность приобрести влияние над рабочим людом, интересующимся социальным вопросом только «для политики», как вы­ражался он, играя словами. Еще более отрицательно относился он к «католическим» и «протестантским социалистам». «Я убежден, — пи­сал он Р. Майеру, — что пока одни будут примешивать к социальному вопросу свои религиозные, а другие — политические симпатии, вопрос этот решен не будет». Не рассчитывая на политическую самодеятель­ность рабочего класса, он всего ожидал от великодушия и гения ка­когонибудь государственного человека. Откуда возьмется такой чело­век, — он и сам не знал хорошенько. Некоторое время он думал, что та­ким благодетельным гением явится князь фон Бисмарк, которым он так восхищался в период франко-прусской войны. Находчивые друзья на­шего автора советовали даже ему просить у «железного канцлера» аудиенции для изложения своих «практических предложений», но Родбертус был слишком умен для того, чтобы решиться на такую детскую выходку. Он отвечает, что в четверть часа невозможно решить социаль­ный вопрос, а по окончании аудиенции Бисмарк, наверное, забудет и о социальном вопросе и о сделанных ему «предложениях». Он уже на­чал склоняться к тому убеждению, что «Бисмарк так же ничтожен во внутренней, как велик во внешней политике» (письмо к Р. Майеру 5 февраля 1873 г.). Это не помешало ему однако надеяться на появление нового Мессии, а в ожидании этого писать проекты и передавать их на обсуждение политико-экономических конгрессов. Будучи убежден, что в настоящее время «даже самые абстрактные вопросы экономии пони­маются рабочими лучше, чем многими профессорами», он не переставал осаждать своими «практическими предложениями» профессоров, при­надлежавших, по энергическому его выражению, к «эйзенахскому бо­лоту», и упорно отклонялся от всякой более благодарной практической деятельности. Только незадолго до смерти он начал останавливаться на мысли «выступить в качестве социалистического депутата» в рейхстаге, но и эту миссию он понимал довольно своеобразно. «В 1848 г. я много способствовал открытию для демократии доступа в салоны (salonfähig zu machen), быть может, удастся мне это и с социализмом». Неизвестно, чем кончилась бы эта попытка, открыл ли бы Родбертус доступ в са­лоны социализму или социализм вывел бы его из «салонов» в рабочие собрания; тяжелая болезнь помешала осуществлению этого нового плана нашего автора. Больной, слабый и раздражительный, переезжал он из курорта в курорт и только урывками мог обращаться к своей лю­бимой теме — социальному вопросу вообще и средствам его решения в частности.

Посмотрим же, в чем состояли «практические предложения» Род­бертуса. Мы знаем уже, как формулировал он свою задачу; взглянем теперь на ее решение. Все практические планы Родбертуса сводятся к законодательному регулированию заработной платы. Но под этим регулированием он понимал нечто гораздо более сложное, чем определе­ние ее уровня на почве нынешнего денежного хозяйства. Предложенная им реформа затрагивала почти все сферы современной экономической жизни общества и требовала, поэтому, целого ряда предварительных работ и законодательных постановлений. Нужно заметить, что Род­бертус выступил с изложением своих планов как раз в то время, когда между немецкими рабочими велась очень сильная агитация в пользу так называемого нормального рабочего дня, т. е. в пользу огра­ничения числа рабочих часов. Он воспользовался вызванным этой агитацией возбуждением общественного мнения, как удобным моментом для пропаганды своих воззрений. Простому ограничению числа рабочих часов он не придавал ровно никакого значения. Он находил, что неспра­ведливо устанавливать ту или другую норму рабочего дня или заработной платы, не обращая внимания на различие в прилежании и ловкости рабочих. Чтобы удовлетворить требованиям справедливости, нужно было бы, по его мнению, не только ограничить число рабочих часов, но и установить норму того, что может быть сделано в каждой от­расли производства «средним рабочим при обыкновенном прилежании и обыкновенной ловкости». Рабочий, сделавший больше, чем требова­лось бы этой законной нормой, получал бы большую заработную плату, и наоборот — сделавший меньше, получил бы плату лишь за непол­ный рабочий день. «Но этого мало, — прибавляет наш автор. — Предложен­ная мера ведет, собственно говоря, к установлению поштучной платы. Пока рабочая сила будет представлять собою товар и цена ее будет определяться конкуренцией, поштучная плата останется самым действительным средством эксплуатации работника». Поэтому «государ­ство должно установить уровень заработной платы в каждой отрасли производства, подвергая его периодическим изменениям, сообразно возрастанию производительности национального труда».

Раз ступивши на путь законодательного определения заработной платы, государство должно идти далее и постараться найти новый *«масштаб стоимости».* Это новое предложение Родбертуса тесно свя­зано с учением его о меновой стоимости товаров, которого не поза­были еще наши читатели. Если меновая стоимость продукта опреде­ляется количеством труда, необходимого на его производство, то, опре­деляя среднюю производительность национального труда в каждой его отрасли, мы определяем тем самым и стоимость продуктов. Зная, что «средний рабочий, при обыкновенном прилежании и обыкновенной ловкости», может сделать *х* продуктов данного рода в течение своего рабочего дня, мы скажем, что стоимость этих продуктов равна стои­мости у продуктов другого рода, явившихся в результате рабочего дня в другой отрасли производства. Если число *х* вдвое больше числа *у,* то стоимость каждого отдельного продукта первого рода будет вдвое меньше стоимости каждого отдельного продукта второго рода и т. д. Мы потому говорим о «днях», а не о часах труда, что, по проекту Род­бертуса, продолжительность рабочего дня может быть и неодинакова в различных отраслях производства. Известно, что интенсивность, а потому утомительность различных родов труда далеко не одинакова. Необходимо, поэтому, поставить продолжительность труда в соответствие с его интенсивностью и сделать рабочий день короче в более утомительных отраслях производства. Для удобства пришлось бы разделить рабочий день на несколько, например, на десять частей, которые Родбертус называет часами, хотя, как мы видим, десятая часть рабочего дня не всегда равнялась бы часу солнечного времени. Так как Родбертус на­ходит необходимым оставить на время средства производства в частной собственности, то из общей суммы национального продукта, стоимость которого выражалась бы в днях и часах труда, рабочие получали бы только некоторую часть, положим, одну треть. Но эта часть остава­лась бы постоянною, несмотря на возрастание производительности на­ционального труда. Поэтому, если бы производительность националь­ного труда удвоилась или утроилась, то в распоряжение рабочих по­ступало бы в два или в три раза большее количество предметов потре­бления. «Железный закон» заработной платы был бы устранен, и ра­бочие получили бы возможность пользоваться успехами общественной культуры и усовершенствованием промышленной техники. Далее, определивши таким образом постоянный уровень заработной платы, госу­дарство должно было бы выпустить в обращение особые билеты, на ко­торых обозначались бы различные количества рабочих дней и которые служили бы для расплаты предпринимателей с рабочими. На первый раз государство выдало бы предпринимателям в кредит необходимое для них количество билетов. С своей стороны, предприниматели возвратили бы ему этот долг, так сказать, натурой, именно продуктами своего произ­водства. Государство должно было бы выстроить особые магазины для склада полученных таким образом продуктов и выдавать их в соответ­ствующем количестве предъявителям новых денег.

«Конечно, — замечает Родбертус, — я очертил эти важнейшие меро­приятия лишь самым беглым образом. Человек, не привыкший рас­суждать об экономических явлениях, едва ли даже и поймет меня. Но и по отношению к специалистам я остаюсь еще в долгу. Я должен еще *обосновать* все сказанное мною. Чтобы удовлетворить научным требо­ваниям, я должен был бы написать целую книгу. Здесь же мне нужно было только определить общую точку зрения, бросить беглый взгляд на те трудности, которые, подобно цепям огромных гор, выделяются на горизонте социального вопроса»[[123]](#footnote-123).

Тем не менее наш автор убежден, что даже в этой незаконченной форме проект его дает возможность судить о выгодах, связанных с его осуществлением. Первою из них был бы дешевый кредит для пред­принимателей, который дал бы им новое орудие для борьбы на всемирном рынке. Уж это одно до такой степени облегчило бы обращение новых «рабочих денег», что Родбертус задается даже вопросом, не окажутся ли излишними государственные магазины. «Можно ожи­дать, — говорит он, — что рабочие деньги сами по себе, помимо государ­ственных магазинов, будут преимущественно употребляться при рас­платах предпринимателей с рабочими. Государству оставалось бы, в таком случае, лишь основать конторы для размена металлических де­нег на рабочие. Какой курс должны были бы иметь при этом рабочие деньги, легко было бы определить, потому что те же самые продукты, которые обменивались бы на рабочие деньги, продавались бы в то же время и за деньга металлические»[[124]](#footnote-124). Кроме того законодательное определение заработной платы, как *постоянной части* национального продукта, избавило бы общество от потрясений, причиняемых торго­выми кризисами: мы знаем уже, что, по теории Родбертуса, кризисы причиняются именно постоянным понижением заработной платы, как части продукта, и проистекающим отсюда уменьшением покупатель­ной силы рабочих. Устраняя причину, он был в праве ожидать и устра­нения ее следствия. Наконец, еще одно немаловажное преимущество, а вместе с тем и условие прочного осуществления предлагаемого плана заключается в возможности заменить мало-помалу металлические деньги «рабочими». Бумажные деньги существуют и теперь, но обраще­ние их основывается, как известно, на, наличности известного металлического фонда, поддерживающего курс их на надлежа­щей высоте. Введение же в обращение «рабочих денег» сделало бы, по мнению Родбертуса, этот металлический фонд совершенно излишним. «В обществе, в котором стоимость продуктов определялась бы количеством труда, затраченного на их производство, можно было бы создать новые деньги, — гласит пятая «теорема» его сочинения «Zur Erkenntnis unserer Staatswirthschaftlichen Zustände». «Деньги эти, с одной стороны, были бы вполне удовлетворительны, как мерило цен и средство обращения, с другой стороны — они не представляли бы со­бою вещественного предмета потребления и не основывались бы, как нынешние бумажные деньги, на наличном металлическом фонде» (S. 135). Это требует некоторого пояснения.

Наш автор думает, что деньги должны испытать на себе влияние того всеобщего закона, по которому «всякое учреждение, в своем исто­рическом развитии, постепенно приобретает в руках людей значение, совершенно отличное от первоначального. Социальные отношения осно­вываются на естественной необходимости и законах природы и лишь мало-помалу, путем постепенного развития, переходят в область че­ловеческой свободы, где новый бог истории, человек, берет их усовер­шенствование в свои руки»[[125]](#footnote-125)*.*

Функция денег выросла естественным путем из разделения труда и обмена его продуктов. Первоначально роль денег играли предметы, наиболее употребительные в среде лиц, ведущих меновую торговлю: меха, скот и т. д. Мало-помалу, когда с развитием земледелия уси­лилось рабство, роль денег стали играть драгоценные металлы. В рабо­владельческом обществе участниками обмена являлись, главным обра­зом, лица высших сословий, насущные потребности которых удовле­творялись рабским трудом. Вследствие этого на рынке приобрели осо­бенное значение предметы роскоши, свидетельствующие о могуществе и богатстве их обладателей. Как красивые и редкие металлы, золото и серебро не замедлили, разумеется, попасть в число этих предметов. Делимость же драгоценных металлов и способность их противостоять разрушительному действию времени и атмосферных влияний — сделали их еще более пригодными для роли денег. Являясь товаром, и притом товаром, на который всегда существовал сильный спрос, т. е. вступая в обмен чаще других продуктов, драгоценные металлы служили *мери­лом стоимости* этих продуктов. Два, три или несколько продуктов, вы­менивавшихся на одинаковое количество золота и серебра, имели, оче­видно, равную стоимость. Кроме того, представляя собою продукт труда, драгоценные металлы могли попасть в руки лишь тех лиц, кото­рые принимали посредственное или непосредственное участие в про­изводстве. В самом деле, помимо воровства, грабежа и т. п. случаев, нас в настоящее время не интересующих, обладатель драгоценных ме­таллов мог приобрести их лишь двумя путями: или получивши их в об­мен за произведенный им продукт, или добывши их из недр земли. В обоих случаях он, посредственно или непосредственно, личным тру­дом или трудом зависимых от него лиц, принимал участие в производ­стве, а потому имеет право на получение части поступивших на рынок продуктов. Наконец, ввиду сильного спроса на драгоценные металлы, обладатель их всегда мог надеяться получить в обмен на них любой из предметов потребления, если только он имел достаточное количество этих металлов. Если же, ввиду случайного характера первобытной тор­говли, обладатель драгоценных металлов и лишился бы возможности об­менять их на другие продукты, то они сами по себе, собственною потре­бительною стоимостью, представляли достаточное вознаграждение за отчужденный им продукт. В рабовладельческом обществе на рынке фигурируют, главным образом, предметы роскоши, в числе которых драгоценные металлы занимают одно из первых мест. Таким образом драгоценные металлы удовлетворяли всем требованиям, которые можно было предъявить им, как деньгам. Они служили мерилом стоимостей; обеспечивали уверенность в том, что выражаемая ими стоимость дей­ствительно произведена и доставлена на рынок, наконец, сами по себе служили достаточным вознаграждением за проданный продукт. Но, спрашивается, предъявляем ли мы деньгам все эти требования и в на­стоящее время? И не могут ли деньги удовлетворять необходимым теперь требованиям, не будучи товаром? Родбертус отвечает отрица­тельно на первый вопрос, утвердительно на второй.

Драгоценные металлы служат теперь деньгами не потому, что они сами по себе представляют достаточное вознаграждение за отчуждае­мые продукты, а потому, что каждый уверен в возможности приобрести за деньги необходимые для него продукты. Это доказывается существо­ванием бумажных денег; которые всеми принимаются так же охотно, как и металлические, несмотря на то, что потребительная их стои­мость равняется нулю. На это могут возразить, конечно, что бумажные деньги принимаются лишь ввиду возможности в любое время обме­нять их на металлические. Но именно тот факт, что, имея такую возможность, обладатели бумажных денег всетаки не меняют их на ме­таллические, — доказывает, по мнению Родбертуса, что в настоящее время деньги принимаются уже не как предмет потребления, а как полномочие на получение предметов потребления.

Таким образом, в истории денег нужно различать два периода. В каждом из них деньги являются товаром. Но между тем как в пер­вом периоде товар этот принимается, как предмет потребления, участ­ники обмена не интересуются уже потребительною стоимостью товара-денег — во втором. По словам Родбертуса, существует даже демар­кационная линия, разделяющая эти два периода в истории денег, именно то время, когда деньги начинают чеканить, а не принимают, как прежде, по весу. Наш автор уверен, что теперь приближается уже третий период в истории денег, в котором деньги — товар уступят место «простым билетам». Но иэтот период деньги перейдут уже не сами со­бой, как перешли они во второй период, а путем сознательного вмеша­тельства общества в обмен продуктов.

В настоящее время товарное свойство денег важно лишь по­стольку, поскольку оно устраняет от участия в обмене лиц, не доста­вивших на рынок той или другой стоимости. Как продукт труда, зо­лото может быть приобретено только в обмен за другие продукты или путем непосредственного добывания его из недр земли. В обоих слу­чаях обладатель его является лицом, принимавшим участие в нацио­нальном производстве, а потому имеющим право на известную часть национального продукта. Таким образом, гарантируется надлежащий ход распределения. Но если бы этой цели можно было достигнуть дру­гим путем, то металлические деньги сделались бы, по мнению Родбер­туса, излишней роскошью.

«По идее своей деньги суть свидетельства, дающие право на полу­чение известной меновой стоимости. И в этом смысле можно сказать, что нет надобности писать эти свидетельства на золоте, и общество могло бы сберечь те тысячи миллионов, которые оно затрачивает те­перь на материал для этих свидетельств»[[126]](#footnote-126). Конечно, деньги служат теперь, кроме того, и «мерилом стоимости», но если меновая стоимость продуктов всегда будет определяться количеством труда, затрачен­ного на их производство, то и эта функция денег может исполняться «простыми билетами».

Мы знаем уже, что, по проекту Родбертуса, государство должно взять на себя определение средней производительности труда в каждой от­расли производства, т. е., другими словами, количества труда, необхо­димого на производство каждого данного продукта. Определяя это ко­личество, государство тем самым определяло бы и стоимость продук­тов, так что не было бы уже никакой надобности измерять ее день­гами. Еще при жизни Родбертуса шверинский архитектор Петерс соста­вил таблицы, указывавшие среднюю производительность плотничьего труда. Наш автор смотрел на работы Петерса, как на первый шаг к осуществлению его «практических предложений», и придавал им огром­ную важность. По егомнению, государство тотчас же могло, бы присту­пить к осуществлению его планов, как только были бы составлены по­добные таблицы во всех других отраслях производства. Тогда «мерилом стоимостей» сделалось бы само рабочее время, и «простые би­леты» с обозначением дней и часов труда сделали бы излишними ме­таллические деньги. Чтобы обеспечить правильный ход распределения, нужно было бы только принять меры, благодаря которым «рабочие деньги» не попадали бы в руки лиц, не принимавших посредственного или непосредственного участия в производстве. Этой цели государство достигло бы, выдавая новые деньги только предпринимателям, доста­вившим соответствующее количество продуктов в общественные магази­ны. Тогда гарантированная в «рабочих деньгах» стоимость равнялась бы стоимости национального продукта, и в процессе общественного обмена веществ не произошло бы никаких потрясений. Наш автор не закры­вал глаз перед трудностями, стоящими на пути к осуществлению его «предложений». «Конечно, — говорил он, — решение социального во­проса будет стоить много дороже, чем напечатание полицейского рас­поряжения, именно потому, что мы имеем дело с социальным вопро­сом». Но если государство тратит многие миллионы на самые непроиз­водительные предприятия, то «почему не затратить ему многих мил­лионов на совершение акта социальной справедливости, открываю­щего новую эру во всемирной истории»? Затраты эти были бы весьма полезны даже с точки зрения материальных интересов общества. При современной организации производства и обмена общество не может воспользоваться находящимися в его распоряжении производительными силами во всей их полноте. «Если бы не было этого печального услож­нения, то современные производительные силы могли бы, пожалуй, удвоить национальное производство»[[127]](#footnote-127)*.* Низкий уровень заработной платы, со всеми проистекающими из него последствиями, разрушает материальное благосостояние современных цивилизованных народов. *«Дешевый* труд страшно *дорого* стоит обществу!» — восклицает Род­бертус.

Изложенные планы нашего автора относятся, как мы уже знаем, к переходному времени, за которым открывается блестящая перспек­тива «нового всемирно-исторического периода». В этом периоде «об­щественный организм» достигнет, наконец, высшего типа своего разви­тия и так же будет относиться к современному обществу, как позво­ночное животное относится к суставчатому.

Переход всех средств производства в распоряжение государства «даст общественному организму позвоночный столб», которому будет соответствовать высшая, централизованная организация всего обще­ственного тела и единство во всех действиях, внутренних и внешних. К сожалению, по понятиям Родбертуса, история не только «не делает скачков», но держится еще правила: «тише едешь, — дальше будешь». Осуществление его «практических предложений» требует, по его сло­вам, более столетия, а для перехода «суставчатого социального орга­низма» в «позвоночный» нужен чуть не геологический период времени. В переписке с Лассалем Родбертус запрашивает для этого перехода целых 500 лет!

### XIII.

Мы закончили изложение экономической теории Родбертуса.

Мы познакомили теперь читателя с общими взглядами нашего автора на задачи и метод экономической науки, с учением его о паупе­ризме и торговых кризисах, с его теорией распределения националь­ного дохода и, наконец, с практическими его планами. Мы старались в то же время оттенить его отношение к писателям, предшествовавшим ему в истории политической экономии, показать, в чем расходился и в чем соглашался с ними Родбертус. Нам остается теперь бросить общий взгляд на теорию нашего автора с точки зрения новейших политико-экономических учений. Уместнее всего будет начать этот критический обзор с оценки общих историко-экономических воззрений Родбертуса, игравших такую важную роль во всем его миросозерцании.

Мы говорили уже в первой статье, что литературная деятельность Родбертуса началась в то время, когда экономическая наука пришла в критический период своего развития, когда, «достигнувши в учениях Рикардо до последних своих выводов, она нашла, по словам Маркса, в Сисмонди выразителя ее отчаяния в самой себе». После того как обновленная Европа сбросила, наконец, последние цепи феодализма, оказалось, что в пресловутом золотом «веке разума» было, как в евангельской притче, много званых, но мало избранных. Повторилась старая, но до сих пор вечно новая история: эксплуатация переменила только формы, а борьба приняла еще более острый характер. Тогда за поправку и пересмотр «вечных истин» буржуазных экономистов взя­лись люди самых различных направлений. Одни стремились отстоять те формы общественных отношений, при которых так растет «нацио­нальное» богатство, так увеличивается производительность труда. Дру­гие взглянули на дело с точки зрения интересов пролетариата и нахо­дили, что более справедливое распределение национального дохода нисколько не препятствовало бы экономическому прогрессу общества. Наконец, третьи старались уверить себя и других, что они стоят выше всяких классовых интересов и предрассудков и стремятся лишь к из­учению законов общественного развития и к осуществлению необходи­мых и достаточных в данное время реформ. Родбертус несомненно принадлежит к этой последней категории. Убежденный в своем беспри­страстии, он ни в каком случае не согласился бы признать себя ученым представителем какого-нибудь отдельного класса общества. Чтобы по­нять характер его беспристрастия, нужно, впрочем, определить, что означает это слово в применении его к общественным отношениям. *Беспристрастие* не тождественно, конечно, с *бесстрастием,* с индиффе­рентным отношением ко всем общественным классам явлений. Поня­тие о беспристрастии не исключает сочувствия и самой горячей симпа­тии, оно требует только, чтобы симпатия эта более справедливым образом распределялась между всеми сторонами, заинтересованными в решении того или другого исторического спора. Но как найти эту точку равновесия? Мы не говорим о том непосредственном отношении к общественным явлениям, которое обусловливается самим положе­нием данного лица или класса. Для целого класса все важные обще­ственные вопросы сводятся к одному роковому вопросу: «быть или не быть», все задачи сводятся к одной задаче: отстоять или создать усло­вия, необходимые для его существования или его дальнейшего развития. Ни один народ, ни один общественный класс не может признать спра­ведливым то, что противоречит самым насущным его интересам. Ка­ждый класс, каждый народ считает наиболее справедливыми те отноше­ния, которые наиболее способствуют его развитию и благосостоянию. Потомуто мы и видим, что «истинное по одну сторону Пиренеев счи­тается ложным по другую». Но отдельные личности могут, конечно, отделаться от исключительно классовой точки зрения и руководство­ваться в своей деятельности лишь общими понятиями своими о законах исторического развития. Они могут возвыситься до беспристрастного от­ношения к общественным явлениям. К чему же, однако, приведет их та­кое беспристрастие? История до такой степени неблагодарна или, если угодно, «пристрастна», что как только данный общественный слой свер­шает все, что дано было ему свершить, она немедленно становится к нему в совершенно отрицательное отношение.

Так отвернулась она когдато от католического духовенства, так покинула она веселое и воинственное феодальное дворянство. Ненуж­ный более для целей истории и покинутый ею класс общества играетроль пятого колеса или даже тормоза, препятствующею движению общественной колесницы. Условия его существования исключают усло­вия общественного развития, интересы его противоречат интересам всего остального общества. Как должен относиться к такому классу беспристрастный человек, руководящийся в своей деятельности лишь общими соображениями о законах исторического развития? При самом аристидовском беспристрастии, он не может не видеть, что сочувство­вать общественному развитию и в то же время отстаивать интересы этого класса значит желать движения вперед и неподвижности, про­гресса и реакции. Отсюда следует, что беспристрастное и отрицатель­ное отношение к известным явлениям не только не исключают друг друга, но в известные исторические моменты положительно немыслимы одно без другого. Иначе, желая согласить несогласимое, человек будет препятствовать обществу сделать тот исторический шаг, значение ко­торого он сам хорошо оценил и понял. Примеры такого рода непосле­довательности было бы затруднительно привести лишь потому, что они многочисленны; Родбертус является, между прочим, одним из таких примеров. При всем своем стремлении к беспристрастию, он никогда не мог возвыситься до того возвышенного бесстрастия, которое заставляет окончательно разорвать с отжившими и осужденными историей тради­циями. Он был и до конца жизни остался землевладельцем не только по положению, но отчасти и по симпатиям. Этим объясняется его стре­мление воспользоваться рабочим движением, между прочим, и в интересах землевладельцев, до сих пор еще не окончивших своей истори­ческой распри с капиталистами; этим объясняется убеждение его в том, что «при современном положении дел землевладельцы и рабочие являются естественными союзниками»[[128]](#footnote-128).

Отсюда же проистекают все противоречия его «практических предложений», его настойчивое желание придумать такую хитроумную комбинацию общественных реформ, которая дала бы возможность уве­личить заработную плату, не уменьшая доходов предпринимателей. «Для меня ясно, как день, — говорит он в одном ив писем к Вагнеру, — что мой милый «Ягецов» только до тех пор останется во владении моих наследников, пока потомки Блейхредера будут беспрепятственно продолжать накопление капитала». В этих немногих словах заклю­чается разгадка стремления сесть между двумя стульями, которое за­мечается во всех практических планах Родбертуса.

Но пока работа мысли нашего автора ограничивалась чисто-тео­ретической сферой, он имел достаточно беспристрастия для того, чтобы видеть в улучшении положения рабочего класса важнейшую за­дачу экономической науки. Он очень хорошо понимал, что если «веч­ные истины» буржуазной экономии были удачной гиперболой в борьбе «третьего сословия» против феодального дворянства, то они ни в ка­ком случае не могут служить критерием для оценки дальнейших стре­млений человечества. Общество представлялось ему не законченным совершенно зданием, а развивающимся организмом, который перехо­дит с возрастом из низшего типа в высший. При этих переходах все об­щественные отношения людей подвергаются самым коренным измене­ниям. В античном обществе сам человек является, в виде раба, объектом частной собственности. Мало-помалу рабство и крепостная зави­симость уступают место свободному труду, и в «германском государ­ственном порядке» уже только средства производства составляют предмет частной собственности. Родбертус «слышал уже и приближение новой эры», новой формы общественных отношений, в которой част­ному присвоению будут подлежать лишь предметы непосредственного потребления.

Чем же обусловливается это постоянное изменение общественной организации? Родбертус не дает удовлетворительного ответа на этот вопрос. В некоторых случаях он совершенно недвусмысленно заявляет, что «правовая идея издавна шла рука об руку с экономической необ­ходимостью», и в сочинениях его рассыпано множество неопровержи­мых доказательств этого положения. Если бы он внимательнее про­следил влияние «экономической необходимости»; если бы для каждой из указанных им ступеней общественного развития он постарался найти связь между этой «необходимостью» и политическими учреждениями, то он поставил бы философию истории на совершенно реальную почву. К сожалению, он не всегда держался высказанной им светлой мысли. Общественный строй античного и «германского» периодов кажется ему результатом простого насилия; в решении рабочего вопроса он видит только «акт общественной справедливости». Мы видели уже в предыдущих статьях, что именно насилием, и только насилием, объясняет он возникновение рабства и частной собственности на землю и капиталы. «Как прежде правовая идея опиралась на силу, так и теперь она осно­вывается на постоянном принуждении», — вот все, что говорит он в объяснение современного общественно-экономического строя. Оставаясь на этой точке зрения, Родбертус не вышел еще из области той философии истории, которая в начале XIX столетия пыталась, в лице Огюстена Тьерри, объяснить весь ход английской истории тем обстоятель­ством, что «il y a une conquête làdessous, tout cela date d'une conquête».

Уже в сочинениях Тьерри можно заметить всю непоследователь­ность и несостоятельность такого взгляда. Сохраняя еще некоторое по­добие вероятности, пока речь идет о «статике» данного общественного строя, теория насилия оказывается абсолютно неспособной выяснить ход его развития, открыть причины, видоизменяющие соотношение обще­ственных сил. Не говоря уже об «Histoire du tiersétat», представляю­щей собою блестящее опровержение теории насилия, даже в статьях своих об «английских революциях» Тьерри вынужден апеллировать к экономическому прогрессу «третьего сословия», обусловившему посте­пенное его возвышение. Еще более таких противоречий у Родбертуса, как писателя, несравненно более Тьерри обращавшего внимание на экономическую историю народов. «На той ступени развития производи­тельности труда, на которой знают лишь ручную мельницу, необходимо должно существовать рабство», — говорит он в одной статье, написан­ной им еще в 1837 году. Точно также статья его о римском колонате указывает на экономические причины тех правовых изменений, кото­рыми ознаменовался переход от рабства к крепостничеству. Его сочи­нение «Zur Erklärung der Kreditnoth» изобилует примечаниями, которые самым остроумным образом раскрывают связь между правовыми учре­ждениями античного общества и экономическим его строем.

Наконец, приведенное выше мнение его об исторической роли акционерных обществ ясно доказывает, что соотношение сил различ­ных классов современного общества находится в теснейшей связи с экономическим его строем. Конечно, в борьбе общественных классов за свое существование сила всегда являлась высшей инстанцией, к ко­торой апеллировали спорящие стороны; в этом смысле сила имела огром­ное прогрессивное значение, так как она служила «повивальной бабкой старому обществу, беременному новым». Но сказав, что в настоящее время данный класс общества сильнее всех других, мы не объясняем ровно ничего, потому что остается открытым вопрос как о происхо­ждении силы этого класса, так и о способах пользования ею. Средне­вековые варвары так же мало церемонились с побежденными народами, как и греки или римляне; однако завоевание Пелопоннеса дорическим племенем дало совершенно другие результаты, чем завоевание Англии норманнами или Галлии — франками. Эмансипация городских коммун была результатом победы средневековых горожан над их феодальными господами, точно так же, как великая французская революция была победой буржуазии над аристократией; тем не менее, общественный строй городских коммун не имел ничего общего с послереволюционной Францией. Впрочем, непоследовательность Родбертуса объясняется тем обстоятельством, что многие фазисы развития социальных отношений остались для него закрытою книгою. Установленная им схема обще­ственно-исторического развития — рабство, наемный труд, «новая эра»— страдает значительной неполнотою. Он совершенно игнорирует сель­ские общины, история которых показывает, что начало рабства далеко не совпадает с началом оседлости и земледелия.

Нужно удивляться, каким образом, будучи замечательным знато­ком римской истории, Родбертус упустил из виду, что в первые века республики рабство существовало лишь в очень незначительных раз­мерах. Полноправные граждане, а иногда даже знаменитые полководцы и диктаторы собственными руками обрабатывали принадлежащие им участки земли, и рабский труд служил подспорьем, а не основой древне­римского земледелия. Только мало-помалу, с развитием неравенства в поземельных отношениях, с концентрацией поземельной собственности в немногих руках, рабский труд вытесняет из деревень свободное насе­ление. Та же постепенность в образовании крупного, основанного на рабском труде землевладения замечается и в Греции. Наконец, разра­ботка истории общинного землевладения в различных странах и этно­графические исследования показали, какую огромную роль играли пер­вобытные сельские общины в развитии правовых и социальных отно­шений всех цивилизованных народов.

Все эти исследования оставались как бы совершенно неизвестными Родбертусу. Возражая против теории поземельной ренты Рикардо, он допускает, правда, что первоначально земля могла принадлежать не только частным собственникам, но и сельским общинам. Однако он немедленно делает крупную ошибку, утверждая, что общинное земле­владение так же точно исключало свободное занятие необработанных земель, как и частное. Когда население возрастало до такой степени, что незанятых земель оставалось очень немного, со стороны общинни­ков было весьма естественно приберегать их для подрастающего поко­ления. Но «первоначально» общины вовсе не так ревниво оберегали не­прикосновенность своих владений. Они принимали в свою среду новых членов, при чем, разумеется, и речи не могло быть о «поземельной ренте». Новые члены получали даже пособие от общины и пользовались некоторыми льготами; по истечении же льготного времени они обязывались лишь принимать участие во всех расходах общины наравне со старыми членами. В книге Беляева «Крестьяне на Руси» можно насчитать немало таких примеров. «А как отыдет льготный год, и мне всякая подать платить со крестьяны вместе», — говорит новый член общины в одной из договорных грамот XVI века. Кроме общинных и частных земель существовало, — вопреки мнению Родбертуса, — много земли, ровно никому не принадлежащей, — «дикой», как называлась она в древней России, — которую свободно мог занимать каждый желаю­щий[[129]](#footnote-129). То же мы видим и в Германии, где, по словам Маурера, «пер­воначально, пока существовало право свободного занятия, свободный человек мог селиться повсюду, где находил никому не принадлежащую землю»; потом для таких «поселений нужно было согласие общин или короля... но это новое право не скоро получило всеобщее признание, и своевольные занятия земель долго не прекращались». Таким образом селились не только германцы, да и славяне в Баварии и других местах»[[130]](#footnote-130). Вообще, история крестьянского землевладения у всех народов может служить опровержением того положения Родбертуса, что и первона­чально, с тех самых пор, как существует разделение труда, земля при­надлежала не тем, которые занимались ее обработкой; те же, которым она принадлежала, никогда не были бы в состоянии обработать ее соб­ственными силами. По исследованиям Маурера, оказывается, что вели­чина участков, находящихся в пользовании членов общины, определя­лась именно их «собственными рабочими силами»; это видно изсамого названия различных мер земли, Tagwerk, terra jurnalis, Mannskraft, Mannwerk и т. д.[[131]](#footnote-131).

Русским читателям известно то же самое из истории русской об­щины. Наконец, история средневековых ремесленных корпораций по­казывает, что было время, когда и «капиталы» принадлежали самим трудящимся. Правда, доход средневекового мастера создавался только отчасти его собственным трудом: на него работали ученики и подма­стерья. Но эти состояния были переходными, и каждый порядочный подмастерье становился со временем мастером, т. е. вполне самостоя­тельным производителем. «Почти до середины XIV столетия звание подмастерья было только ступенью в жизни ремесленника, а не постоян­ным его призванием... Цехи не представляли еще в то время замкнутых организаций, число мастеров не было ограничено ни непосредственно, ни посредственно, наконец, мастера были большею частью сами работ­никами, потому что если для самостоятельного ведения дела и тогда нужен был известный капитал, то капитал этот, по тогдашнему состоя­нию промышленности, был еще очень незначителен[[132]](#footnote-132). Мы видим отсюда, что в споре своем с Бастиа и Тьером Родбертус становился на очень скользкую почву, так как на вопрос его: «когда и где принадлежали работнику земля и орудия труда?» — они могли бы сослаться на сельские общины и ремесленные корпорации.

Неверная историческая точка зрения нашего автора лишена в то же время практического значения. Сущность современного социального во­проса ни в каком случае не может быть сведена к юридическому спору о том, когда и кому принадлежали средства производства.

Этого спора не разрешил бы и сам Соломон, по той простой при­чине, что он никогда не мог бы иметь и миллионной доли необходимых для этого решения данных. Современные цивилизованные народы могут довольствоваться убеждением, что их экономические бедствия представляют собою необходимое следствие капиталистической организации производства и обмена. Им пришлось бы испытать те же бедствия даже в том случае, если бы никогда и нигде не совершалось ни одного наси­лия и «завоевания»; если бы труд служил «первоначально» единствен­ным основанием собственности, а продукты всегда оценивались бы лишь по количеству труда, затраченного на их производство: словом, если бы в сфере товарного производства и обращения всегда господствовали, по выражению Маркса, «свобода, равенство, справедливость и Бэнтам». Рано или поздно вся эта идиллия привела бы к появлению на рынке самой рабочей силы, а влияние «Бэнтама», т. е. сознание собственной выгоды, привело бы туда же и покупщиков этого нового товара, пред­принимателей. Тогда началась бы эра прибавочной стоимости и желез­ного закона заработной платы, всемирного рынка и торговых кризи­сов, — и человечеству пришлось бы сознаться, что только конец венчает дело. На известной стадии товарного производства и обращения «осно­ванный на них закон присвоения или закон частной собственности пре­вращается в прямую противоположность, путем свойственной ему внутренней, неотвратимой диалектики... Разделение между собственно­стью и трудом является неизбежным следствием того закона, который исходит, повидимому, из полного их совпадения»[[133]](#footnote-133). Именно в эту сторому, в сторону «неотразимой внутренней диалектики» товарного про­изводства, и должны быть направлены исследования теоретиков и уси­лия практических деятелей.

Если бы Родбертус обратил более внимания на этот фактор воз­никновения общественного неравенства, то решение социального во­проса представилось бы ему не только «актом общественной справедли­вости», но и неизбежным результатом все той же «внутренней диалек­тики» товарного производства. Впрочем, он не совсем, как кажется, уяснил себе динамические законы капиталистического способа произ­водства. Потомуто и «будущий период» является у него скорее драго­ценным подарком человечеству со стороны прихотливой истории, чем логическим выводом из посылок, коренящихся в современной жизни цивилизованных обществ. Потомуто и рабочие представляются ему, с одной стороны, угнетенной и обездоленной частью общества, неспособ­ной к разумной самодеятельности; с другой стороны, они кажутся ему какимито варварами, более грозными, чем «орды Алариха».

Что касается до соображений Родбертуса о характере «будущего всемирно-исторического периода», то о них нельзя, разумеется, гово­рить с такой же уверенностью, как о вопросах прошедшего и настоя­щего времени. Несомненно, однако же, что относящиеся сюда представления нашего автора являются часто не совсем удачной абстракцией от современного общественного строя. Так, например, его «государство рабочих и чиновников» основывается на том же профессиональном раз­делении труда, которое исключает всякую возможность всестороннего развития современного среднего человека.

Не говоря уже о различии функций двух больших классов будущего общества, — рабочих и «чиновников», сами работники физического труда остаются у него на всю жизнь ткачами, кузнецами, плотниками, рудокопами, земледельцами и т. д., и т. д. По крайней мере, Родбертус нигде не говорит о необходимости устранения современной профессио­нальной односторонности. Он как бы не слышал бесчисленных жалоб на то, что современное разделение общественного труда превращает всю производительную деятельность работника в ряд однообразных, оту­пляющих механических движений. Он как бы не видит того обстоятельства, что развитие технического разделения труда все более и более упрощает различные роды производительной деятельности и тем создает возможность перехода от одного к другому. Он целиком пере­носит на «будущее общество» понятие о современном разделении труда, не отдавая себе отчета в конечной его тенденции. Таким же перенесением в «будущий всемирно-исторический период» современных эко­номических понятий является и учение его о распределении продуктов по количеству труда, затраченного на их производство. Понятие о таком распределении заимствовано из современного товарного обращения, в котором стоимость продуктов определяется воплощенным в них трудом. Но едва ли можно признать рациональным такое превращение законов товарного обмена в норму для распределения продуктов в будущем. Сам Родбертус заметил совершенно справедливо, что правовая идея издавна шла рука об руку с экономической необходимостью. Мы думаем, что в будущем между ними будет полное согласие; а если это так, то рано или поздно общество должно будет остановиться на таком способе распре­деления продуктов, который окажется наиболее благоприятным для всестороннего развития производителей. Такой способ распределения будет вполне соответствовать «экономической необходимости», потому что развитие производителей равносильно увеличению производитель­ных сил общества и бесконечному возрастанию власти человека над природой.

### XIV.

Переходя теперь к экономической теории Родбертуса в тесном смысле этого слова, мы прежде всего обратим внимание читателя на учение нашего автора о меновой стоимости. Мы видели уже, как твердо держался он того «великого положения», что «все предметы потребления стоят труда и только труда». Стоя на этой точке зрения, Родбертус разрушал, как карточные домики, аргументы, экономистов, стремив­шихся доказать, что «рента вообще» обязана своим существованием не труду работников, а производительным «услугам» почвы и капитала. С этой стороны, навсегда останется неоспоримой заслуга его, как писателя, много способствовавшего распространению здравых экономиче­ских понятий. Но признание труда единственным источником мате­риального богатства общества не предохранило Родбертуса, как и мно­гих других экономистов, от некоторой неясности в понятии о меновой стоимости.

Так, например, он говорит в одном из писем к Вагнеру, что «по­требительная стоимость представляет собою сущность понятия о стои­мости», и что «из понятия о потребительной стоимости мы выводим так называемую меновую стоимость». *«Существует только один под стои­мости,*»говорит он далее, — *«стоимость потребительная*»*.* Противопоста­влять ему меновую стоимость, как другой род стоимости, значит делать логическую ошибку. Но эта единая потребительная стоимость является или в виде индивидуальной или в виде *социальной* потребительной стоимости. Первая определяется потребностями индивидуума, без всякого отношения к общественной организации; вторая потре­бительная стоимость — по отношению к общественному организму, состоящему из многих индивидуальных организмов... Она стано­вится меновою стоимостью лишь путем исторического развития и, следовательно, переходящим образом». В настоящее время «социальная потребительная стоимость необходимо должна принять вид меновой стоимости, но на следующей ступени общественного развития весь этот маскарад прекращается, продукты не будут уже обмениваться на рынке, социальная потребительная стоимость выступит во всей ее чистоте»[[134]](#footnote-134).

Как видит читатель, Родбертус развивает в этом письме одну из любимейших своих идей, необходимость «строгого отделения логиче­ских категорий от исторических». Имеет ли это противопоставление такой глубокий смысл, какой усматривал в нем наш автор, это мы уви­дим ниже, перейдя к учению его о капитале. Теперь же мы заметим, что ради «отделения» различных родов категорий Родбертус отказался от точного *определения* понятий о меновой и потребительной стоимости. Сказать, что не было и не будет *меновой* стоимости там, где не было и не будет *обмена* продуктов, — значит высказать очень верную мысль, которая представляет собою, однако, не более как тавтологию. Заклю­чать же отсюда, что «существует только один род стоимости», — зна­чит погрешать против того самого «великого положения Смита и Ри­кардо», которое легло в основание всей теории Родбертуса. И Смит и Рикардо говорили о труде именно как об источнике меновой стоимости продуктов. Им и в голову не приходило, что можно признавать спра­ведливость их «великого положения» и в то же время отождествлять меновую стоимость продуктов с их «социальною потребительною стои­мостью». Они сказали бы, что, конечно, производство должно иметь в виду удовлетворение известной общественной потребности, так как вне этого условия продукты не могут стать товарами; но не все удовлетво­ряющие общественным потребностям продукты имеют одинаковую ме­новую стоимость. Меновая стоимость алмаза несравненно больше ме­новой стоимости хлеба, несмотря на то, что хлеб удовлетворяет одну из самых насущнейших «социальных потребностей», а алмазы служат почти единственно для украшения. Говоря о потребительной стоимости продукта, мы имеем в виду ту услугу, которую оказывает этот продукт целому обществу или отдельному человеку; между тем как меновая его стоимость определяется, по прекрасному выражению Маркса, тою услу­гою, которая была оказана самому продукту в процессе его производ­ства. Никому не придет мысль определять меновую стоимость машины тем количеством труда, которое она *сберегает* в производстве; а ведь это количество труда и представляет собою «социальную потребитель­ную стоимость машины». Если бы меновая стоимость машин определялась их социальною потребительною стоимостью, то какой смысл имело бы их употребление? Капиталист должен был бы платить за них именно то количество труда, которое они сберегают в производстве, и примене­ние их было бы делом каприза, а не экономической выгоды. «Социальная потребительная стоимость» не только не «является теперь в виде ме­новой стоимости», но представляет собою совершенно отличное от нее понятие.

«Историческое развитие» совсем не ведет к превращению одного рода стоимости в другой, а только к превращению продуктов в товары. Из этого хода «исторического развития» можно сделать лишь тот вы­вод, что продукты не всегда бывают товарами и что не всякое производство продуктов есть производство меновых стоимостей. Если бы Род­бертус ограничился этим выводом, то он не стал бы заботиться о спосо­бах определения меновой стоимости в «будущем всемирно-историче­ском периоде», характерную особенность которого составляет, по его учению, отсутствие товарного производства. Тогда рассуждения его о «будущем периоде» не противоречили бы его понятию о меновой стои­мости, как «исторической категории». Нo, не выяснивши себе разницы между продуктом и товаром, Родбертус попадает в целый ряд самых удивительных противоречий. С одной стороны, он упрекает Рикардо и Маркса в том, что они «приняли тяготение меновой стоимости к известной норме за достижение этой нормы», т. е. что они ошибочно ду­мают, будто меновая стоимость продуктов уже в настоящее время определяется воплощенным в них трудом.

Он говорит, что эта «естественная норма» может быть достигнута меновою стоимостью только в «будущем периоде». С другой стороны, он утверждает, что в этом периоде прекратится маскарад, благодаря ко­торому социальная «потребительная стоимость превращается в меновую», так что последняя исчезнет, как преходящая «историческая катетория», а первая «выступит во всей ее чистоте». Выходит, что воплощенным в продуктах трудом будет определяться их «социальная потре­бительная стоимость», и что Рикардо и Маркс ошибались, считая вопло­щенный в продуктах труд «естественной нормой» их *современной* «со­циальной потребительной стоимости». Но ни Рикардо, ни Маркс ни­когда, разумеется, и не думали утверждать чеголибо подобного. «Оши­бались» не они, а Родбертус, которому пришла охота оспаривать у Прудона сомнительную честь измышления особого рода стоимости, так называемой «valeur constituée». Но Прудон был последователен, по крайней мере, в том отношении, что, даря человечеству свое мнимое изобретение, он рекомендовал ему в то же время навсегда удержать то­варное производство и обращение. Зачем понадобилась «valeur constituée» Родбертусу, который никогда не думал переносить в свой «будущий период» современного производства товаров, — понять реши­тельно невозможно. Для чего определять меновую стоимость товаров там, где продукты не принимают товарной формы? Как видно по всему, под меновою стоимостью продуктов будущего «всемирно-исторического периода» Родбертус понимает просто издержки их производства. Но в таком случае упрек, делаемый им Рикардо и Марксу, окончательно утра­чивает всякое значение. Они оказываются виновными в непонимании того, что только в «будущем периоде» меновая стоимость продуктов, т. е. издержки их производства, будут равняться воплощенному в них труду, т. е. издержкам их производства. Такие упреки едва ли могут повредить ученой репутации Рикардо и Маркса.

Как это ни странно, но путаницей Родбертус обязан именно сво­ему излюбленному приему противопоставления «логических категорий» историческим. Как создавались в его уме понятия о «логических катего­риях в экономической науке», наглядно показывает учение его о капи­тале. «Капитал сам по себе, капитал в логическом или национально-хозяйственном смысле этого слова, есть продукт, предназначенный для дальнейшего производства... предварительно совершенный труд. По от­ношению же к прибыли, которую он должен приносить, или с точки зрения современного предпринимателя, он должен явиться в виде издержек предприятия, чтобы быть капиталом. Таким образом, современный исто­рический капитал обнимает собою стоимость материала, орудий труда и заработной платы»[[135]](#footnote-135). Содержание понятия об историческом капитале различно в различные исторические эпохи. В античном обществе сами рабочие являются составною частью капитала, в «будущем периоде» все средства производства перейдут в распоряжение общества так, что исторический капитал сольется с «капиталом в логическом смысле этого слова»: он явится в виде продукта, предназначенного для дальнейшего производства, а не в виде «издержек частного предпринимателя». Из этого определения «капитала, в логическом смысле этого слова», видно, во-первых, что до сих пор он существовал только в головах эконо­мистов, и что понятие о нем получит реальное значение лишь в более или менее отдаленном будущем, вследствие отождествления Ормузда с Ариманом, исторического капитала с логическим. Из него следует далее, что до понятия о «логическом капитале» экономисты достигают, лишая понятие «об историческом капитале» некоторой части его содержания. Какой именно? Это зависит от того, к какому направлению принадле­жит экономист, производящий эту «логическую» операцию. Родбертус, например, думает, что понятие о заработной плате, как части «логиче­ского капитала», противоречило бы «современному правовому положе­нию работника». Поэтому он относит ее к категории дохода и понимает под «капиталом в логическом смысле этого слова» лишь материал и ору­дия труда. Другие экономисты и на рабочего смотрят, как на «машину, на постройку которой был затрачен известный капитал, начинающий приносить проценты с тех пор, как машина становится полезным работ­ником в производстве» (Флорез Эстрада). Эти «ученые» рассматривают веши, как они существуют de facto, и не заботятся о разладе наших юридических понятий с печальной действительностью. Они сказали бы, что понятие о логическом капитале уже в настоящее время совершенно совпало с понятием об историческом капитале, так что «будущий пе­риод» может уже не заботиться о заключении мира между Ормуздом и Ариманом. Разногласия эти могли бы подать повод к самым ожесточен­ным и продолжительным спорам, которые нисколько не уяснили бы, однако, наших понятий о капитале в каком угодно смысле этого слова. Они остались бы бесплодными по той простой причине, что сами споря­щие стороны, несмотря на кажущуюся тонкость их определений, не знали бы хорошенько, о каком значении «капитала» идет речь, рас­сматривают ли они его с технической или общественно-экономической точки зрения.

В самом деле, по смыслу предлагаемого Родбертусом определения, кремневый топор и кожа убитого дикарем зверя являются таким же «капиталом в логическом смысле этого слова», как и хлопчатая бумага и паровые машины современного фабриканта. Кремневый топор есть та­кой же «продукт, предназначенный для дальнейшего производства», как и паровая машина. С точки зрения процесса производства опреде­ление это справедливо: орудия и материалы труда всегда играют одина­ковую роль в этом процессе. Но общественные отношения, среди кото­рых совершается этот процесс производства, далеко не одинаковы на различных ступенях общественного развития. Возьмем, для примера, отношение «продукта, предназначенного для дальнейшего производ­ства», к самому производителю. Современный пролетарий порабощается машиной, между тем как дикарь, которого европеец презрительно назы­вает фетишистом, не мог бы и вообразить себя в зависимости от своего собственного орудия труда. Дикарь *эксплуатирует* средства производ­ства, современный же рабочий, напротив, *эксплуатируется* ими. Теперь уже не «капитал» существует для удовлетворения потребности трудя­щихся, а трудящийся существует ради удовлетворения потребностей ка­питала — создания так назыв. прибавочной стоимости. «Капитал» был *вещью* для дикаря; он является в виде *общественного отношения* для со­временного работника. Определяем ли мы хоть сколько-нибудь это от­ношение, говоря, что «капитал есть предварительно совершенный труд»? Нисколько: наше определение касается только роли «капитала» в про­цессе производства, внутри фабрики или мастерской. Чтобы пополнить его, мы должны были бы прибавить, что этот «продукт предварительного труда» господствует над трудом настоящего времени, что «мерт­вый схватывает живого», как говорят французы. Но и этого мало. Нам нужно было бы сказать еще, что целью этого господства является про­изводство прибавочной стоимости, которая под различным соусом по­дается различным представителям господствующего класса. В этом смысле и употребляли слово «капитал» экономисты классики. Только они переносили современные им понятия на все фазисы общественного развития и полагали, что средства производства всегда играли одина­ковую роль, что «продукт, предназначенный для дальнейшего произ­водства», всегда приносил прибыль своему обладателю. Они не делали различия между средствами производства и капиталом по той же при­чине, по которой большинство их не могло себе представить продукт иначе, как в виде товара. Как меновая стоимость казалась им непремен­ным свойством всякого продукта, так и «продукт, предназначенный для дальнейшего производства», всегда обладал, по их, мнению, способ­ностью приносить прибавочную стоимость, т. е. процент и прибыль. Родбертус, лучше их знавший экономическую историю европейских обществ, понимал, что обычное представление о капитале справедливо только по отношению к буржуазному ее периоду. Он старался избежать неудобств принятой экономистами терминологии, установляя различие между историческими и логическими категориями, между капиталом в логическом и капиталом в историческом смысле этого слова. Первым термином он обозначал средства производства, вне всякой связи их с общественными отношениями людей, вторым — он хотел вы­разить именно эти общественные отношения. Но для него самого не было еще ясно, когда и при каких условиях «капитал в исто­рическом смысле этого слова» может выражать собою обще­ственные отношения производства. Критерием для определения различных видов исторического капитала он взял чисто юридиче­ский признак: большую или меньшую широту сферы частной собствен­ности. Характеристическим признаком античного исторического капитала является у него то обстоятельство, что сами трудящиеся пред­ставляют собою объект собственности. С этой точки зрения исчезает всякое различие между античным историческим капиталом и капиталом американских рабовладельческих штатов. Однако сам Родбертус не со­гласился бы уподобить римского землевладельца американскому планта­тору, хозяйство которого было обставлено совершенно иными условиями. Попытка Родбертуса установить различие между историческими и логическими категориями есть не более, как неудавшаяся попытка по­нять и формулировать ту особенность товарного способа производства, благодаря которой «общественные отношения людей являются в виде общественного отношения вещей». Если бы для него была ясна эта осо­бенность, то он не стал бы обозначать одним и тем же термином «ка­питал» два совершенно различных понятия; о «продукте, предназначен­ном для дальнейшего производства» — с одной стороны, и об обществен­ных отношениях производства, выразителем которых является этот «продукт», — с другой. Он понял бы далее, что эта двойственность хара­ктеризует только буржуазную эпоху общественного развития, и не стал бы искать ее в античном обществе, где товарное производство су­ществовало только в зачаточном состоянии. Тогда в его терминологии не было бы тех странностей, которые мы видим в ней теперь; она не допускала бы отождествления совершенно несходных понятий и не до­пускала бы для античного и современного общества двух «капиталов»: «логического», к которому относится «продукт, предназначенный для дальнейшего производства», и «исторического», который заключает в себе тот же «продукт» с «прибавкой», в первом случае, рабов, во вто­ром — «стоимости заработной платы». Тогда «капитал в логическом смысле этого слова» был бы назван им просто средствами производства; капиталом же эти средства производства явились бы для него лишь в из­вестную эпоху общественно-экономического развития, когда посред­ством их эксплуатируется труд работника с целью производства при­бавочной стоимости, и когда рабочая сила сама является товаром, про­даваемым в розницу различным предпринимателям.

### XV.

От стоимости и капитала перейдем теперь к другим частям теории Родбертуса, к учению его о кризисах и пауперизме, о поземельной ренте и о способах устранения «недостатков современной общественной организации». Читатель помнит, что все ее недостатки Родбертус сво­дит к одному «коренному недостатку»: постоянному уменьшению за­работной платы, как части продукта. Этим обусловливается как обедне­ние рабочего класса, так и периодически возвращающиеся торговые кризисы. «Причина кризисов заключается единственно в несоответствии покупательной и производительной силы, — говорит он. — Покупательная сила есть не что иное, как участие в пользовании результатами произ­водительной силы или в национальном доходе. Она отстает от произво­дительной силы, потому что не регулировано пользование результатами этой последней»[[136]](#footnote-136)*.* Регулируйте пользование этими результатами, и пау­перизм исчезнет вместе с торговыми кризисами. Уже этого предпола­гаемого Родбертусом результата достаточно, чтобы обратить на его учение о кризисах самое серьезное внимание.

Учение это указывает, по нашему мнению, только на некоторые из элементов, обусловливающих возникновение и интенсивность торговых кризисов, но не рассматривает этого явления в исторической связи его с экономическим развитием общества. Торговые кризисы предста­вляют собою явление гораздо более новое, чем понижение уровня зара­ботной платы, как части продукта. По словам самого Родбертуса, за­работная плата падает уже в течение пяти столетий, между тем как тор­говые кризисы являются характеристическим признаком общественного хозяйства только в XIX веке. Ясно, что одним понижением уровня за­работной платы их объяснить невозможно. Притом же хотя кризисы и понижение уровня заработной платы и находятся в тесной связи друг с другом, но связь их не может быть названа причинною: низкий уровень заработной платы так же точно предполагает существование кризисов, как существование кризисов предполагает низкий уровень заработной платы. Оба эти явления представляют собою следствия глубже лежащей причины. Понижение рабочей платы до уровня насущнейших потреб­ностей рабочего обусловливается тем обстоятельством, что с развитием капиталистического способа производства часть рабочего класса по­степенно обращается в «относительно излишнее население», которое своею конкуренцией понижает заработок всех рабочих стран. Ход ка­питалистического накопления имеет, как показал Маркс, ту особен­ность, что отношение между постоянным и переменным капиталами все более и более изменяется в пользу первого. «Если первоначально это отношение равнялось 1:1, то постепенно оно становится равным 2 : 1, 3 : 1, 4 : 1 и т. д., так что при дальнейшем росте капитала уже не поло­вина его идет на покупку рабочей силы, а только 1/3*,* 1/4, 1/5 и т. д. А так как спрос на труд зависит не от общей суммы капитала, а от пе­ременной его части, то он прогрессивно уменьшается с возрастанием общих размеров капитала. Капиталистическое накопление создает, и притом в прямом отношении к своему объему иэнергии, относительно, т. е. для средних потребностей капитала, ненужное, а потому и из­лишнее рабочее население»[[137]](#footnote-137). Но, ненужное для средних потребностей капитала, «относительно излишнее рабочее население» составляет в то же время необходимое условие существования крупной промышлен­ности. Не говоря уже о том, что оно понижает уровень заработной платы и тем «приковывает рабочих к капиталу», не говоря уже об этой «услуге» относительно излишнего населения, оно становится необходи­мым всякий раз, когда кризисы сменяются оживлением промышленной деятельности. Чтобы вознаградить себя за временные потери, предприни­матели должны расширить размеры производства, а для этого нужно иметь под рукой незанятых рабочих. «Излишнее население» служит ре­зервной армией, пускаемой в дело в разгар промышленной горячки. Но оживление сменяется застоем, горячка ведет к кризису, и действующая армия рабочих снова доводится до минимума, остальные же остаются свободными и голодают в ожидании «лучшего будущего». Правильная смена периодов оживления, промышленной горячки, кризисов и застоя, «этот своеобразный жизненный ход современной промышленности, не встречающийся ни в одном из предшествующих фазисов развития чело­вечества, был невозможен также и в детском периоде капиталистиче­ского способа производства. Взаимное отношение составных частей капитала изменялось лишь малоп-омалу. Его накоплению соответство­вало, в общем, относительное возрастание спроса на труд... Внезапное расширение производства предполагает внезапное его сокращение; последнее снова вызывает первое, но первое немыслимо без существования свободного контингента работников, без возрастания числа их, помимо абсолютного увеличения народонаселения»[[138]](#footnote-138).

Таким образом, кризисы немыслимы без существования «отно­сительно излишнего населения» по той простой причине, что только это население дает возможность расширить производство до той сте­пени, на которой кризис становится неизбежным. С другой стороны, неизбежность кризисов обусловливается общим ходом развития крупной промышленности и служит самым наглядным доказательством неспособ­ности буржуазии распоряжаться созданными ею самою производитель­ными силами. «Участие в пользовании результатами производительных сил» никогда не было «регулировано» в буржуазном обществе, но только крупная машинная промышленность до такой степени увели­чила эти силы, что они стали в противоречие с данным способом произ­водства. Возрастание производительных сил требует расширения рын­ков; но чем более расширяются рынки, тем труднее становится для каждого отдельного предпринимателя следить за всеми колебаниями спроса и предложения. Каждый предприниматель не может действовать иначе, как ощупью, тем не менее он должен спешить доставить на ры­нок возможно большее количество продуктов, если он не хочет упустить благоприятный момент и быть опереженным своими конкурентами. Не­которое время доставляемые на рынок продукты находят себе сбыт, и тогда производительные силы разных стран обнаруживают все свое мо­гущество. Но вслед за тем рынки переполняются товарами, спрос от­стает от предложения, и промышленная горячка сменяется кризисом. Находящиеся на рынке продукты являются излишними, конечно, только в относительном смысле этого слова. Мы видели уже, что рабочее насе­ление терпит страшную нужду именно в то время, когда товары не на­ходят себе сбыта*.* Но капиталиста интересуют не общественные потреб­ности, а так называемый «действительный спрос», т. е. спрос, опираю­щийся на покупательную силу. По справедливому замечанию одного эко­номиста, даже во время голода хлеб ввозится в страну не потому, что население голодает, а потому, что предприниматель надеется получить прибыль. Чтобы иметь возможность покупать переполняющие рынки тoвары, рабочие должны иметь заработок, а заработок они могут иметь только в том случае, когда предприниматель рассчитывает обратить труд их в прибавочную стоимость. Во время кризисов он лишается этой на­дежды, поэтому товары гниют в складах, производительные силы обще­ства остаются без всякого почти приложения, а рабочие превращаются в нищих. Будучи употреблены в дело в широких размерах, производи­тельные силы капиталистического общества приводят в полное рас­стройство весь ход его экономической жизни и наполняют ее целым ря­дом самых нелепых противоречий. Ясно, что механизм этой жизни не соответствует более состоянию производительных сил общества и нуждается в перестройке. Но предлагаемый Родбертусом план этой пе­рестройки так же односторонен, как и учение его о причине кризисов. Если, по справедливому замечанию Энгельса, «недостаточное потребле­ние рабочих классов так же мало говорит нам о причинах появления кризисов в настоящее время, как о причинах отсутствия их в про­шлом»[[139]](#footnote-139), то увеличение покупательной силы этого класса не может считаться радикальным средством устранения кризисов. Причина кризи­сов лежит в несоответствии капиталистического способа производства с современным состоянием производительных сил общества. Только при­ведя организацию производства в соответствие с состоянием производи­тельных сил, можно уничтожить этот «бич, терзающий даже капитал». Но, чтобы установить это соответствие, недостаточно «регулировать поль­зование результатами производительных сил». Для этого нужно «регу­лировать» самое производство, поставивши его под контроль общества. Тогда, вместе с другими противоречиями капитализма, торговые кри­зисы отойдут в область истории, и человечество войдет в новый период своего развития, в котором продукт не будет более господствовать над производителем. При всей плодотворности усвоенного им исторического метода экономических исследований, Родбертус так же не выяснил окон­чательно исторического значения кризисов, как не усвоил он вполне точных и законченных понятий о меновой стоимости, капитале и товар­ном производстве.

### XVI.

Закравшиеся в его учение о стоимости противоречия послужили главным основанием ошибочных представлений его о поземельной ренте. Исходным пунктом его учения о ренте является вопрос о значении материала в земледельческих и промышленных предприятиях. «То, что входит в понятие о материале в фабричных предприятиях, или со­вершенно отсутствует в земледелии, или составляет продукт собствен­ного хозяйства, а потому совсем не требует издержек или требует их в очень ограниченных размерах. В земледелии сама почва заступает место материала»[[140]](#footnote-140). Читатель знает уже, какие выводы делал Родбертус из этого обстоятельства. Он был убежден, что его теория ренты неопровер­жима, и что если бы Рикардо оставался верен своему учению о стои­мости, то непременно пришел бы к тем же выводам. Но, по смыслу учения Рикардо, меновая стоимость продуктов не всегда определяется един­ственно количеством труда, затраченного на их производство. Правила это «значительно изменяется, — говорит он, — вследствие употребления машин и другого рода постоянного и медленно обращающегося капи­тала»[[141]](#footnote-141). Рикардо не говорит, правда, о влиянии различий в стоимости материала. Но, раз допустивши изменение коренного своего положения ввиду неодинаковой стоимости орудий труда, он должен был признать возможность такого же изменения ввиду различной стоимости мате­риала. И он несомненно признал бы это изменение, если бы не усмотрел каких-нибудь новых факторов, устраняющих влияние различной стои­мости материала в различных предприятиях. По замечанию г. Зибера, к числу таких факторов должна быть отнесена практикуемая предприни­мателями система взаимного кредита, благодаря которой переход про­дуктов из одной отрасли производства в другую не представляет уже «непрерывного ряда продаж и покупок», требующих немедленной рас­платы и потому увеличивающих издержки предприятий. Стоимость ма­териала не входит в таком случае в эти издержки и не влияет на уро­вень прибыли. Потребитель выплачивает, конечно, стоимость материала предпринимателя. Но он выплачивает ее в размере труда, затраченного на производство материала; и каждый отдельный предприниматель по­лучает ту часть этой стоимости, которая соответствует труду *его* ра­бочих. Вследствие этого стоимость материала не может влиять на вы­соту уровня прибыли в различных предприятиях. Замечательно, что Родбертус, который не принял во внимание влияния указанного фактора, сам должен был признать, что общий закон меновой стоимости не­сколько изменяется вследствие неодинаковой стоимости материала в различных предприятиях. «Принятый Рикардо и МакКуллохом закон меновой стоимости изменяется, — говорит он, — в настоящее время под влиянием другого закона, по которому прибыль стремится к равному уровню во всех предприятиях. На этом основании он и допускает, что меновая стоимость продуктов тех предприятий, которые обрабатывают более дорогой материал, несколько превышает количество труда, за­траченного на их производство»[[142]](#footnote-142). В своем учении о ренте он забывает сказанное им в учении о стоимости и упрекает при этом Рикардо в не­последовательности. А между тем единственно его собственной непоследовательности обязана своим существованием его поземельная рента. Из двух воззрений он должен был остановиться на каком-нибудь одном: он должен был или признавать, или отрицать изменение общего закона о меновой стоимости под влиянием стремления прибыли к одинаковому уровню во всех предприятиях. В первом случае его поземельная рента не может иметь места потому, что стоимость фабричных продуктов несколько превышает количество труда, затраченного на их производ­ство, стоимость же земледельческих продуктов опускается ниже этой нормы, так как фабричная деятельность нуждается в более дорогом ма­териале, чем земледелие. Благодаря этому отклонению меновой стои­мости от обычной ее нормы, уровень прибыли будет одинаков во всех предприятиях, и составляющий поземельную ренту остаток прибыли земледельческих предприятий будет равняться нулю. Во втором случае Родбертус, действительно, мог с грехом пополам доказать, что земле­дельческие предприятия должны приносить сверх обычной прибыли еще известный остаток в виде поземельной ренты. Но, оставаясь последова­тельным, он должен был придти к тому неизбежному выводу, что подобный же остаток дают и фабричные предприятия. Так, например, несо­мненно, что ткацкая фабрика нуждается в более дорогом материале, чем бумагопрядильня, потому что первая подвергает дальнейшей обработке продукт, изготовленный второю. Повторяя известное читателям рас­суждение Родбертуса, мы придем к тому заключению, что, при прочих равных условиях, бумагопрядильня должна принести более высокую при­быль, чем ткацкая фабрика. Но так как в стране не может быть двух различных уровней прибыли, то приносимый бумагопрядильней доход распадается на две части: обычную прибыль предприятия и еще некото­рый остаток, соответствующий поземельной ренте в земледелии. Как назвать этот остаток? Поступит ли он в распоряжение предпринимате­ля? Но это противоречило бы «закону равного уровня прибыли во всех предприятиях». Или он отойдет каким-нибудь другим лицам, существо­вания которых не подозревала до сих пор экономическая наука и не обна­ружила практическая жизнь? Разумеется, нам нет основания думать, что наша прядильная рента будет явлением исключительным. Количе­ство видов нового рода ренты будет так же бесконечно велико, как бес­конечно различна стоимость материала в различных предприятиях. Разнообразие ее видов увеличивается еще вследствие неодинаковой стои­мости орудий труда в различных отраслях производства. Если, при про­чих равных условиях, одно предприятие нуждается в более дорогих ма­шинах, чем другое, то *уровень* прибыли не может быть одинаков в этих предприятиях. Поэтому фабрикант, употребляющий более дешевые ма­шины, сверх обычной прибыли, получит еще известный доход в виде ренты. Его, конечно, будут мучить угрызения совести, так как он нару­шит «закон равного уровня прибыли», удерживая свою ренту. Но пока последователи Родбертуса не укажут ему, как распорядиться с этой рентой, он не будет в состоянии снять с души своей это тяжелое бремя. Читатель видит, что теория поземельной ренты Родбертуса приводит к абсурду. И это совершенно понятно, потому что наш автор исходит в своем учении о ренте частью из совершенно произвольных и недоказан­ных положений, частью из явления слишком общего для того, чтобы оно могло объяснить существование социальной категории дохода. Он совер­шенно неправ, говоря, что материал «или совершенно отсутствует в земледелии, или составляет продукт собственного хозяйства», а потому и не входит в понятие об издержках производства. К таким «продук­там собственного хозяйства» относит он семена и удобрение. Но разве сельский хозяин не относит употребленного на обсеменение полей хлеба к издержкам производства? Разве не вычитает он стоимости этого хлеба из валового дохода имения при определении своей чистой прибыли? Когда, в случае неурожая, он теряет надежду на получение прибыли и заботится только о покрытии своих издержек, разве согласится он при­знать, что обсеменение полей ему ничего не стоило? Наконец, употре­бление для посева своего или покупного хлеба зависит не от общих зако­нов земледелия, а от случайных расчетов сельского хозяина. Он может продать весь свой яровой хлеб осенью, в надежде купить семена весной. В таком случае и сам Родбертус не отказался бы, конечно, отнести эту покупку к издержкам производства. Можно ли строить теорию позе­мельной ренты на таком основании? Если семена и удобрение не входят в понятие об издержках производства на том основании, что «они составляют продукт собственного хозяйства», то зачем же относить к этим издержкам содержание рабочего? Известно, что земледельческие рабочие гораздо чаще фабричных получают от хозяина помещение и пищу, причем последняя почти исключительно состоит «из продуктов собственного хозяйства». Почему бы не выводить принципа земельной ренты, между прочим, и из того обстоятельства, что сельский рабочий получает свою плату «натурой»? Тогда было бы еще яснее, что земле­дельческие предприятия должны приносить более высокую прибыль, так как понятие об их издержках ограничивалось бы главным образом ору­диями труда и не распространялось бы даже на заработную плату.

К сожалению, всякое исследование о распределении дохода в капи­талистическом обществе должно иметь в виду не натуральное, а де­нежное хозяйство, в котором каждый продукт имеет меновую стоимость. Зная рыночные цены, сельский хозяин имеет полную возможность оце­нить и отнести к своим издержкам даже те из «продуктов, предназна­ченных для дальнейшего производства», которые обязаны своим суще­ствованием его собственному хозяйству. Таким образом речь может идти не об «отсутствии» или «присутствии» материала в земледелии, а только о величине его *стоимости,* которая, как мы видели, различна в различных отраслях производства. И если мы не хотим признать суще­ствования особого рода ренты во всех отраслях, употребляющих дешевый материал, то мы должны согласиться, что дешевизна земледельческого материала не объясняет еще происхождения поземельной ренты. Да и можно ли с уверенностью сказать, что *все* отрасли фабричных пред­приятий нуждаются в более дорогом материале, чем земледелие? Мы по­лагаем, что вопрос этот остается пока открытым.

Другие возражения Родбертуса против теории ренты Рикардо так же неосновательны, как и только что рассмотренное. Так, например, предложенную им «задачу» последователи Рикардо могли бы решить в утвердительном смысле, нисколько не противореча основным положе­ниям своей теории, хотя нужно заметить, что все подобного рода «за­дачи» напоминают собою уравнение со многими неизвестными, потому что условия их никогда не определяются надлежащим образом. Как помнит читатель, в «задаче» Родбертуса речь идет о круглом острове, в центре которого находится город, служащий для сбыта земледельче­ских продуктов. Каждое из имений этого острова «простирается от го­родских стен до берегов» и, заключая в себе «около 5.000 магдебург­ских моргенов», имеет фигуру сектора. Будет ли существовать здесь по­земельная рента? — спрашивает Родбертус. Ответить на этот вопрос можно только, принимая в соображение доходность различных участков каждого данного имения. Посмотрим же, будет ли она одинакова для всех участков. В каком бы пункте внутри имения ни лежал «хозяйский двор», участки не могут находиться на одинаковом от него расстоянии, потому что имение представляет собою фигуру сектора, а не круга. А, между тем, расстояние это играет важную роль в вопросе о доходности участков. С возрастанием его, уменьшается доходность участка, не­смотря на то, что, по условиям задачи, почва острова повсюду отли­чается одинаковым плодородием. При прочих равных условиях, отдален­ные участки будут приносить меньший доход, и если потребности на­селения вынудят взяться за их обработку, то ближайшие участки, сверх обычной прибыли, дадут еще поземельную ренту. Величина этой ренты будет одинакова в каждом из имений секторов, так как они представляют собою не только *подобные,* но и равные фигуры. Решив в этом смысле предложенную им задачу, последователи Рикардо могли бы вос­пользоваться ею, как оружием против самого Родбертуса. Они могли бы сослаться на удовлетворительное решение ее, как на доказательство того, что теория Рикардо имеет в виду не только различную величину «поземельной ренты», но и самый ее *принцип.* Что касается «колебаний уровня прибыли, случающихся раза два в год», то, вопреки мнению Род­бертуса, явление это не может служить аргументом против теории Ри­кардо. Поземельные участки сдаются, по меньшей мере, на год. Каковы бы ни были колебания прибыли в течение года, арендатор легко может определить средний ее уровень, который и послужит нормой его дохода. Он согласится платить ренту только за те участки, которые приносят доход, превышающий средний уровень прибыли. При долгосрочном кон­тракте он окажется, конечно, в проигрыше, если обычный уровень при­были возвысится. Возможность проигрыша арендатора есть единствен­ное заключение, к которому можно придти ввиду продолжительных ко­лебаний уровня прибыли. Но опровергает ли это заключение теорию Рикардо? Мы этого не думаем. Из всей теории поземельной ренты Родбертуса должно быть признано справедливым только учение его о про­изводительности земледельческого труда. Это учение проливает новый свет на распределение национального дохода. Но, по словам самого Род­бертуса, оно не касается *сущности* теории Рикардо. Возрастание произ­водительности земледельческого труда не устраняет, или,по крайней мере, до сих пор не устранило различий в степени плодородия участков.

### XVII.

Нам остается сделать несколько замечаний относительно «практи­ческих предложений» Родбертуса. Выше мы говорили уже, под какими «практическими» влияниями находится Родбертус как реформатор. Он выступает перед нами в этих планах не столько в качестве беспри­страстного ученого, сколько в качестве померанского помещика, ни­когда не теряющего из виду связи интересов землевладения с интересами капитала. Взглянем теперь на его «планы» с точки зрения их осуще­ствимости. Теоретическим центром тяжести всех его планов является установление нового «мерила стоимости», замена денег — товара «про­стыми билетами». На эту меру опираются все другие предложения Род­бертуса, и хотя практическое осуществление некоторых из них воз­можно, по его мнению, и при современном денежном хозяйстве, но он категорически заявляет, что только введение нового «мерила стоимости» дало бы прочность и законченность предлагаемой им реформе. Он со­вершенно прав в этом отношении: планы его утрачивают всякое практи­ческое значение для того, кто считает ошибочной основную его по­сылку. Поэтому мы и обратимся к оценке ее теоретического и практи­ческого значения.

Учение Родбертуса о «рабочих деньгах» тесно связано с учением его о стоимости, которое было далеко не безошибочным. Он утвер­ждает, что идея прудоновской «valeur constituée» принадлежит ему, так как он ее высказал несколькими годами ранее Прудона. Действи­тельно, мы находим ее уже в сочинении его «Zur Erkenntnis etc.», вы­шедшем в 1842 году. Но в то время она была далеко не нова. Еще в 1831году английский писатель Джон Грэй выработал проект националь­ного банка, который, имея отделения во всей стране, выдавал бы производителям, в обмен на их продукты, свидетельства, с обозначением рабо­чего времени, затраченного на изготовление этих продуктов. Предъяви­тели таких свидетельств получали бы из складов банка соответствующее количество товаров, обращение которых совершалось бы, таким обра­зом, без посредства нынешних денег. Грэй так верил в практичность своего плана, что после февральской революции представил временному французскому правительству записку, в которой доказывал, что Фран­ция нуждается не в «организации труда», а в «организации обмена»[[143]](#footnote-143)*.*

Как видит читатель, в «практических предложениях» Родбертуса цели­ком повторялись идеи Грэя, с тою, впрочем, разницею, что наш автор, кроме «организации обмена», предлагал еще законодательное регулиро­вание заработной платы. Но это различие не могло придать более веса основным его положениям. Он повторил в них ту же ошибку, которую ранее его сделал Грэй, а после Прудон, и которая состояла, по выраже­нию Маркса, в «элементарном непонимании необходимой связи между товаром и деньгами». Товары представляют продукт индивидуальных производителей, так что воплощенный в них труд есть *индивидуальный,* а не *общественный.* Меновая же стоимость продуктов определяется *общественнонеобходимым* трудом, затраченным на их производство. Чтобы знать меновую стоимость продукта, мы должны, следовательно, знать, как относится воплощенный в нем индивидуальный труд к труду «общественнонеобходимому». В настоящее время отношение это опре­деляется в процессе товарного обращения. Необходимым следствием обра­щения продуктов в товары является превращение одного из товаров в деньги, во «всеобщий эквивалент», в различных количествах которого все другие товары выражают свою меновую стоимость. Товарденьги ста­новятся, таким образом, «воплощением общественного рабочего вре­мени» в противоположность всем другим товарам, как воплощению ин­дивидуального рабочего времени различных производителей. Отноше­нием каждого отдельного товара ко всеобщему товаруденьгам и выра­жается отношение индивидуального рабочего времени к общественному. По проекту Родбертуса, это последнее отношение определяется в самом производстве. Путем опыта государство находит среднюю произ­водительность труда в каждом из бесчисленных его отраслей. Таким образом приводится в известность общественное рабочее время, необхо­димое на производство каждого отдельного продукта. Стоимость про­дуктов определяется именно этим общественным временем, независимо от того, каких усилий потребовало производство их от данного индиви­дуума. Но воплощенный в продуктах труд становится общественноне­обходимым трудом только в том случае, если они удовлетворяют извест­ные общественные потребности. Будучи произведены в излишнем количестве, продукты перестают соответствовать потребностям общества. Время, затраченное на производство излишних продуктов, есть просто даром потерянное время. А так как ни один производитель не поль­зуется на рынке какими-нибудь преимуществами перед другими, то по­теря эта распределяется между ними пропорционально количеству про­изведенных ими продуктов. Только часть труда, воплощенного в каждом из их продуктов, признается на рынке трудом общественнонеобходи­мым. «Рыночная цена» продуктов опускается ниже «естественной цены» их, как сказал бы Рикардо, и предприниматели сокращают свое произ­водство до тех пор, пока оно не придет в равновесие с потребностями общества. Колебание рыночных цен регулирует, таким образом, произ­водство. Чем думает заменить этот регулятор Родбертус? Должны ли товары иметь, по его проекту, кроме «конституированной стоимости», еще и рыночную цену, или, правильнее, развивается ли первая во вто­рую? Конечно, нет; весь секрет «valeur constituée» именно в том и со­стоит, что она устраняет различие между ценою и стоимостью продук­тов. Родбертус забывает при этом, что «различие между ценою и стоимостью есть не номинальное только различие», что «в нем концентри­руются все те невзгоды, которые грозят товару в действительном про­цессе обращения»[[144]](#footnote-144). Устранить его можно только с устранением самого товарного производства, т. е. путем такой организации производства, в которой продукты не будут иметь ни цены, ни стоимости по той простой причине, что они не будут товарами. Но при такой организации произ­водства сама «valeur constituée» не имела бы ни малейшего смысла. Чтобы быть последовательным, Родбертусу ничего не оставалось, как отказаться от «принадлежащей ему» идеи «конституированной стои­мости» и стремиться к новой, планомерной организации всего произво­дительного механизма, в которой не имела бы места современная проти­воположность между индивидуальным и общественным рабочим време­нем. Сама логика вещей привела к этому его предшественника Грэя, ко­торый «отрицает», по словам Маркса, одно за другим условия буржуаз­ного производства, хотя и предполагает ограничить свою «реформу» деньгами. Так, он обращает капитал в *национальный* капитал, поземель­ную собственность — в национальную собственность, и если вниматель­нее приглядеться к его банку, то окажется, что этот последний не только одною рукою получает товары, а другою выдает свидетельства с обеспечением затраченного труда, но регулирует и самое производ­ство[[145]](#footnote-145). Читатель помнит, однако, что, предлагая государству осуще­ствить реформы, которые, чтобы привести к чемунибудь, должны были бы привести к устранению буржуазного способа производства, Родбер­тус хотел в то же время удержать буржуазный способ распределения на­ционального дохода. Он хотел сохранить во всей неприкосновенности современные отрасли этого дохода; поземельную ренту, прибыль и зара­ботную плату. Конечно, реформаторской фантазии нельзя положить предела, но можно требовать по крайней мере, чтобы одно «практиче­ское предложение» реформатора не противоречило другому.

Нетрудно подвести итоги сказанному нами о практических планах Родбертуса. Они неполны, односторонни, внушены соображениями, не всегда согласными с беспристрастием ученого, окончательно отказавше­гося от известных интересов и предрассудков. Наконец, — и это глав­ное, — в основе их лежит недостаточно выясненное понятие о сущности современного производства. Он хочет сохранить это производство, устраняя необходимейшие его условия, хочет товаров без денег, «бур­жуазии без пролетариата». Если эта неясность понятий повредила много его теоретическим исследованиям, то она лишила всякого значения *его* «практические предложения».

Заканчивая наш не в меру растянутый этюд о Родбертусе, мы мо­жем повторить сказанное нами о нем в начале статьи. Смешно ставить его учение не только выше учения Маркса и Энгельса, но и на одну доску с этим последним. Воззрения Родбертуса сложились в тот период истории экономической науки, когда старое здание классической эко­номии оказалось тесным, обветшалым и потребовало радикальной пе­рестройки. Сочинения его были замечательнейшим «знамением» этого переходного времени, но не ему суждено было стать архитектором, за­ложившим фундамент новой науки. Он усердно и добросовестно трудился над ее обновлением, не ограничивал поля своего зрения интересами од­них высших классов, не утаивал результатов, добытых классической экономией. Все это обеспечивает ему почетное место в истории науки. Верный последователь Смита и Рикардо, он был *бесконечно выше* со­временных ему вульгарных экономистов.

1. См. настоящий том, стр. 56, где Плеханов цитирует Зибера, не называя его. Цитата взята из статьи «Теория общественной кооперации», «Слово» 1887 г. январь, стр. 195—196. Статья эта вошла в книгу Зибера, «Д. Рикардо и К. Маркс в их общественно-экономических исследованиях», Петербург 1885 г., глава IX, стр. 430—431. [↑](#footnote-ref-1)
2. Аптекман, О., «Земля и Воля» 70х годов, стр. 139, 146, 168 и 182 [↑](#footnote-ref-2)
3. Попов, M. Р. «К истории рабочего движения в конце 70х годов, «Голос Минувшего». 1920—21. [↑](#footnote-ref-3)
4. Прошу читателя не забывать, что я говорю здесь о народниках революцио­нерах. Легальные народники, вроде г. В. В., ожидали осуществления своих рефор­маторских планов от царизма. Но до них мне нет здесь никакого дела. [↑](#footnote-ref-4)
5. Кстати, кто-то, — если не ошибаюсь, Рязанов, — заметил, что выражение «Осво­бождение Труда» неправильно и что следовало сказать: освобождение рабочих или рабочего класса. Это так, и это показывает, что лицо, сделавшее это замечание, по­мнило тождественное замечание Маркса в его знаменитых «Glossen» на проект про­граммы немецкой социалдемократической партии. Но беда не очень велика. В не­мецком переводе устава Интернационала, сделанном, если не самим Марксом, то, весьма вероятно, под его редакцией, тоже говорится об освобождении труда. [↑](#footnote-ref-5)
6. Каждый прядильщик (мюльщик) работает на двух станках, при чем у него есть два подручных мальчика: т. н. «средний» 17—19 лет и «задний» 12—14 лет. Эти последние работают те же 14 часов, что и взрослые. [↑](#footnote-ref-6)
7. Хозяева разных табачных фабрик, очевидно, стакнулись понизить плату одно­временно. [↑](#footnote-ref-7)
8. Нужно заметить, что фабричные рабочие живут артелями, человек по 10—15. [↑](#footnote-ref-8)
9. Мы приводим цифры, показывающие численное отношение земледельческого класса, с одной стороны, и промышленного и торгового — с другой: в Англии, Франции и Пруссии.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Классы. | Англия | Пруссия. | Франциая. |
| Земледельческий |  7,3% | 17,6% | 13,7% |
| Торговый |  3,6% |  1,9% |  4,0% |
| Промышленный . |  22,7% |  9,1% | 10,6% |

Точной статистики распределения населения по занятиям в России не суще­ствует. Если судить но численности сословий сельских и городских, то отношение бу­дет таково:

Промышленные классы . 10%

Земледельцы 86%

Распределив в процентах по занятиям одно производительное население Англии, Пруссии и Франции, мы получим следующие цифры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Классы. | Англия | Пруссия | Франция |
| Земледельческий |  17,0% | 48,7% | 37,0% |
| Торговый  |  8,3% |  6,8% | 11,0% |
| Промышленный . . |  52,5% | 25,6% | 28,4% |

(См. «Сравн. статист.» Янсона, 98 — 106 стр.)

Эти цифры указывают на громадную разницу в хозяйственном складе России и главных европейских стран, — разницу, имеющую громадный интерес для всякого прак­тического деятеля в России. [↑](#footnote-ref-9)
10. Бенефициальная система, отдача должностей на откуп, коммендация и патри­мониальная юстиция. [↑](#footnote-ref-10)
11. 1) Т. е., собственно говоря, родовой, так как о переделах на равные доли мы нигде не встречаем и помину, по крайней мере, в Мексике и Перу в эпоху их завоева­ний испанцами (стр. 42 Общ. Земл.). [↑](#footnote-ref-11)
12. Сборник Стат. Свед. [↑](#footnote-ref-12)
13. См. «Критическое Обозрение», 15 августа 1879 г., рецензию г. Кареева о книгеСонино. [↑](#footnote-ref-13)
14. См. кн. Р о м а н о в и ча - С л а в а т и н с к о г о: «Дворянство в России», где представлена перепись этих волнений. [↑](#footnote-ref-14)
15. Более полно эти мысли были развиты нами в № 3 «Земли и Воли» в статье «Закон экономического развития и задачи социализма в России», к которой мы и отсылаем читателя. [↑](#footnote-ref-15)
16. Это заявление было напечатано в польском социалистическом журнале «Równość» после выхода 1го № «Ч. П.», где помещено начало «Чигир. дела». [↑](#footnote-ref-16)
17. 1) Просим иметь в виду, что все сказанное нами по поводу социалистической литературы на «русском» языке — относится, собственно, к великорусской литературе. [↑](#footnote-ref-17)
18. Все, что мы говорим здесь o заводских рабочих, не относится к так назы­ваемым чернорабочим, живущим нисколько не лучше крестьянина. [↑](#footnote-ref-18)
19. Прим. к изданию 1905 г. Теперь, когда Михайлова уже нет в живых, можно сказать, что он участвовал тогда в попытке освободить Войнаральского. [↑](#footnote-ref-19)
20. Прим. к изданию 1905 г. Прибавлю, что, главным образом, благодаря его усилиям взялся за свою оригинальную деятельность знаменитый Клеточников, кото­рому многие из нас, — я в том числе, — обязаны были тем, что могли счастливо избегать полицейских ловушек. [↑](#footnote-ref-20)
21. Из предыдущего изложения читатель понял уже, вероятно, что «рабочею груп­пою» называлась группа, специальною целью которой была деятельность среди город­ских рабочих; в нее входили как рабочие, так и «интеллигенция». [↑](#footnote-ref-21)
22. Прим. к изданию 1905 г. Это был Л. Тихомиров. [↑](#footnote-ref-22)
23. Как известно, Михайлов осужден на пожизненную каторжную работу. Это наказание представляет собою смягчение первоначального приговора — жертвой казни «чрез повешание».

Прим. к изданию 1905 г. В тюрьме Михайлов скоро умер. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ом. Réflexions sur la formation et distribution des richesses, p. 10. [↑](#footnote-ref-24)
25. Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, p. 88*—*89*.* [↑](#footnote-ref-25)
26. Сочинения Рикардо, выпуск 1, стр. 51-55. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ad. Smith, ibid, p. 89. [↑](#footnote-ref-27)
28. Quesnay, „Le droit naturel", p. 53, édition Guillaumin, Paris. 1846. [↑](#footnote-ref-28)
29. Цитировано у В. Скаржинского, „Ad. Smith als Moralphilosoph und Schöpfer der Nationalökonmie", S. 256. [↑](#footnote-ref-29)
30. См. „Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus", Dührings, стр. 368—369. [↑](#footnote-ref-30)
31. Quesnay, Maximes générales du gouvernement économique d'un Royaume Agricole, p. 99, maxime XX. [↑](#footnote-ref-31)
32. Das Kapital, von К. Marx, S. 816. [↑](#footnote-ref-32)
33. Le socialisme contemporain par Em. de Laveleye, p. 2. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid., p. 8. [↑](#footnote-ref-34)
35. Die neuere Nationalökonomie in ihrenHauptrichtungen, S. 168. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibid., S. 170. [↑](#footnote-ref-36)
37. Die neuere Nationalökonomie, S. 91. [↑](#footnote-ref-37)
38. Das Kapital, zweite Auflage. S. 653. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid., S. 654. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ibid., S. 671. [↑](#footnote-ref-40)
41. Die Arbeiterfrage, dritte Auflage, Winterthur 1875, S. 31 — 37. [↑](#footnote-ref-41)
42. Das Arbeitsverhältnis etc., S. 182. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibid, S. 221-231. [↑](#footnote-ref-43)
44. См. Морица Мейера Die neuere Nationalökonomie etc., S. 78. [↑](#footnote-ref-44)
45. Ad. Smith, ibid., кн. 1, гл. V*,* стр. 38, édition Guillaumin. Paris 1843. [↑](#footnote-ref-45)
46. Karl Marx, ibid, S. 816. [↑](#footnote-ref-46)
47. См. статью Ад. Вагнера в „Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft", 1878 года, erstes u. zweites Heft: „Einiges von und über RodbertusJagetzow". [↑](#footnote-ref-47)
48. «Вы увидите, — говорит он в одном из своих писем к Вагнеру, — что уже с 1842 года я неизменно держусь одних и тех же воззрений и что другие, как, например, Маркс, натолкнулись на многое из того, что уже раньше было напечатано мною». [↑](#footnote-ref-48)
49. Ср. Histoire de l'esclavage ancien et moderne par A. Tourmagne, главу III пятой книги Le christianisme atil détruit l'esclavage?, a также F*.* Laurent, „La féodalité et l'egliseˮ главу — ,,Affranchissement des serfsˮ. [↑](#footnote-ref-49)
50. См. „Исследования в области национальной экономии классической древности". Выпуск первый, стр. 15, 34—35. [↑](#footnote-ref-50)
51. Статья эта была уже окончена, когда появилась в печати переписка Род­бертуса с Рудольфом Мейером, в виде двух небольших томиков, содержащих в себе также некоторые статьи Родбертуса из «Berliner Revue». Нам придется коснуться этого издания при оценке «практических предложений» автора. [↑](#footnote-ref-51)
52. См. „Zur Erkenntnis unserer staatswirthsch. Zustände", S. 28—29 в примечании. [↑](#footnote-ref-52)
53. См. „Zur Beleuchtung der sozialen Frage", zweiter Brief, S. 1. [↑](#footnote-ref-53)
54. „Zur Erkenntnis etc.", S. 29. [↑](#footnote-ref-54)
55. „Zur Beleuchtung etc.", S. 25. [↑](#footnote-ref-55)
56. „Zur Erkenntnis etc.", SS. 8, 9. [↑](#footnote-ref-56)
57. См. брошюру „Der Normal Arbeitstag", перепечатанную в „Zeitschrift für die gesamte Staatswisseschaft" 1878 года, Erstes u. zweites Heft, S. 345. [↑](#footnote-ref-57)
58. Сочинения Рикардо, выпуск I, стр. 55. [↑](#footnote-ref-58)
59. „Zur Beleuchtung etc.", S. 25. [↑](#footnote-ref-59)
60. „Zur Beleuchtung etc.", S. 25—26. [↑](#footnote-ref-60)
61. „Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft", S. 219—220. [↑](#footnote-ref-61)
62. „ZurErkenntnis unserer staatswirthschaftlichen Zustände", 75, в примечании. [↑](#footnote-ref-62)
63. „Zur Beleuchtung etc.", S. 28. [↑](#footnote-ref-63)
64. Ibid., S. 150. [↑](#footnote-ref-64)
65. См. „Zeitschrift für die ges. Staatswissensch.”, S. 337. [↑](#footnote-ref-65)
66. „Zur Beleuchtung", S. 28. [↑](#footnote-ref-66)
67. „Zeitschrift für die ges. Staatswiss.", 345. [↑](#footnote-ref-67)
68. К „теоретикам сбережения” (Spartheoretikern) Родбертус обращается с следую­щими словами Гейне:

Ich kenne die Weise, ich kenne den Text,

Ich kenn'auch die Herren Verfasser,

Ich weiss, sie trinken heimlich Wein

Und predigen öffentlich Wasser.

См. „Zur Erklärung und Abhülfe der heutigen Kreditnoth des Grundbesitzes”, II. S. 294, в примечании. [↑](#footnote-ref-68)
69. „Zur Beleuchtung der socialen Frage”, S. 32. [↑](#footnote-ref-69)
70. В сборн. «За 20 лет» выпущен следующий абзац:

„И пока не вышло в свет обещанное Ад. Вагнером издание посмертных сочинений Родбертуса, нельзя даже приблизительно сказать, насколько под­винулось у него вперед обоснование одной из важнейших посылок его теории кризисов и пауперизма. Поэтому в нашем дальнейшем изложении нам при­дется иметь дело лишь с учением нашего автора о распределении и с дока­зательствами, приводимыми им в пользу того положения, что производитель­ность труда возросла и продолжает возрастать также и в земледелии”. [↑](#footnote-ref-70)
71. „Zeitschrift für die gesamte Staatswissensch.", S. 234. [↑](#footnote-ref-71)
72. „Zur Beleuchtung der socialen Frage", S. 70-71. [↑](#footnote-ref-72)
73. „Zur Erkenntnis unserer staatsw. Zustände", S. 5. [↑](#footnote-ref-73)
74. „Zur Beleuchtung der socialen Frage". S. 69. [↑](#footnote-ref-74)
75. „Zur Beleuchtung etc.", S. 71. [↑](#footnote-ref-75)
76. „Zur Beleuchtung", S. 71. [↑](#footnote-ref-76)
77. Сочинения Давида Рикардо, выпуск I, стр. 1. [↑](#footnote-ref-77)
78. „Zur Erkenntnis etc.”, S. 130. [↑](#footnote-ref-78)
79. „Zur Erkenntnis”. S. 132. [↑](#footnote-ref-79)
80. См. «Zeitschrift für die gesam. Staatswissensch.». S. 203. [↑](#footnote-ref-80)
81. «Zur Beleuchtung», S. 75. [↑](#footnote-ref-81)
82. „Zur Erkenntnis", S. 67. [↑](#footnote-ref-82)
83. „Zur Beleuchtung", S. 79-80. [↑](#footnote-ref-83)
84. Ibid., S. 81. [↑](#footnote-ref-84)
85. См. „Einleitung zur Geschichte der Hof-Mark-Dorf und Stadtverfassung”, S. 225. [↑](#footnote-ref-85)
86. „Zur Beleuchtung", S. 85. [↑](#footnote-ref-86)
87. „Zur Beleuchtung", S. 85; см. также „Zur Erklärung und Abhülfe der Kreditnoth des Grundbesitzes". Th. II, S. 295. [↑](#footnote-ref-87)
88. Письмо это не появилось до сих пор в печати. [↑](#footnote-ref-88)
89. „Zur Beleuchtung", S. 81. [↑](#footnote-ref-89)
90. Ibid. [↑](#footnote-ref-90)
91. «Cours éclectique d'écon. politique» par Florès Estrada, t. I, pp. 363—364. [↑](#footnote-ref-91)
92. „Zur Beleuchtung", S. 89. [↑](#footnote-ref-92)
93. «Zur Erkenntnis unserer staatswirthsch. Zustände», S. 67. [↑](#footnote-ref-93)
94. «Wealth of Nations», p. 77 (в изд. «The world Library of standard Books»). [↑](#footnote-ref-94)
95. «Zur Erkenntnis unserer staatswirthschaftlichen Zustände», S. 72. [↑](#footnote-ref-95)
96. Mунк, в своей „Geschichte der römischer Literatur", I Band S. 239, приводит весьма характерную выписку из сочинений Катона-цензора „De re rustica". „Наши предки, — говорит этот Стародум римского общества, — приго­варивали вора к возврату украденного в двойном размере, ростовщика — к возврату суммы, вчетверо превышающей взятый им процент. Отсюда можно видеть, во сколько раз ростовщик казался им хуже вора". [↑](#footnote-ref-96)
97. „Zur Beleuchtung", S. 100. [↑](#footnote-ref-97)
98. Изданные Людовиком Св. в половине XIII столетия постановления, изве­стные под именем «Etablissements des métiers de Paris», содержат, по словам Бланки, «правила, относящиеся более чем к 150 различным профессиям», «Histoire de I'économis pol». V édit, p. 161. [↑](#footnote-ref-98)
99. „Zur Beleuchtung etc.", S. 102. [↑](#footnote-ref-99)
100. „Zur Beleuchtung", S. 106. [↑](#footnote-ref-100)
101. „Zur Beleuchtung der socialen Frage", S. 109. [↑](#footnote-ref-101)
102. „Zur Beleuchtung", S. 62. [↑](#footnote-ref-102)
103. „Zur Beleuchtung", S. 100; ср. также „Zur Erklärung und Abhülfe der Kreditnoth des Grundbesitzes", I Band. [↑](#footnote-ref-103)
104. Op. «Zur Beleuchtung», S. 113. [↑](#footnote-ref-104)
105. „Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft”, 1878, erstes und zweites Heft, S. 230. [↑](#footnote-ref-105)
106. „Zur Beleuchtung", S. 115. [↑](#footnote-ref-106)
107. „Zur Erklärung und Abhülfe der heutigen Kreditnoth des Grundbesitzes" Jena 1876, T. II S. 334 в примечании. [↑](#footnote-ref-107)
108. „Zur Beleuchtung”, S. 123. [↑](#footnote-ref-108)
109. „Zur Beleuchtung", S. 132. [↑](#footnote-ref-109)
110. „Briefe und socialpolitische Aufsätze von Dг. Rodbertus-Jagetzow, herausgeg. von Rud. Meyer, l Band. S. 228. Родбертус утверждает, что до него ни один экономист не обратил внимания на разницу между повышением и увеличе­нием прибыли. [↑](#footnote-ref-110)
111. „Briefe und socialpolitische Aufsätze", I Band, S. 239. [↑](#footnote-ref-111)
112. „Briefe und socialpolitische Aufsätze", I Band, S. 252. Вышеприведенные слова Родбертуса кажутся, с первого взгляда, совершенно противоречащими действительности. Мы считаем поэтому нелишним напомнить читателю, что результаты исследований Роджерса приводятся также г. Янжулом в первом томе его »Английской свободной торговли". [↑](#footnote-ref-112)
113. „Briefe und Aufsätze", I В., S. 328—340. Как видно из этого письма. „Einkommenspyramide" и есть найденные А. Вагнером в бумагах Родбертуса опыт о распределении дохода в Англии. Но странно, что берлинский профес­сор находит «незаконченным» и не печатает сочинения, посылавшегося в печать самим автором. Впрочем, Р. Майер предполагает, что издание «литературного наследства» нашего автора просто противоречит видам «железного канцлера». [↑](#footnote-ref-113)
114. „Zur Erklärung etc. der Kreditnoth”, Th. II, S. 23. [↑](#footnote-ref-114)
115. „Briefe und Aufsätze”, 1 Band, S. 290—291. [↑](#footnote-ref-115)
116. „Zur Erklärung der Kreditnoth”, II, S. 25,26 и 276. [↑](#footnote-ref-116)
117. Впрочем, такой же точно пример русский читатель может видеть у себя дома. В некоторых местностях России арендные цены на землю в течение лишь десяти лет после освобождения крестьян возросли на 300—400% (Я н с о н, «Опыт исследования о крестьянских наделах и платежах», стр. 89). По заме­чанию г. Янсона, такое возвышение арендных цеп «объясняется единственно малоземельем крестьян». Не находя другого приложения для своих хозяйствен­ных сил, крестьяне вынуждены отдавать землевладельцам значительную часть того, что должно было бы составлять прибыль свободных крестьян-арендаторов. А рядом с этим другое, на этот раз совершенно «самобытное» явление: г. Орлов («Форма крестьянского землевладения в Московской губернии») приводит при­мер того, что будущий «крестьянин-собственник» отдает в аренду свой надел, «за что и обязуется платить» с своей стороны известную сумму денег. Оказы­вается, что «поземельная рента» может представлять собою и отрицательную величину, чего, разумеется, не предвидел ни один из экономистов «гнилого Запада». Наше народное хозяйство, действительно, непохоже на хозяйство западноевропейских стран. Жаль только, что различие это было до сих пор не в пользу экономического положения трудящегося населения. [↑](#footnote-ref-117)
118. „Zur Beleuchtung". S. 67. [↑](#footnote-ref-118)
119. „Zur Beleuchtung", S. 169. [↑](#footnote-ref-119)
120. „Briefe und socialpol. Aufsätze, I В., S. 160. [↑](#footnote-ref-120)
121. Ibid., S. 228. [↑](#footnote-ref-121)
122. «Briefe und Aufsätze», 1 B, S. 313. [↑](#footnote-ref-122)
123. „Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft", S. 34. [↑](#footnote-ref-123)
124. „Zeitschrift etc.", S. 343. [↑](#footnote-ref-124)
125. „Zur Erk. etc.", S. 63. [↑](#footnote-ref-125)
126. „Briefe und Aufsätze", S. 70. [↑](#footnote-ref-126)
127. «Briefe und Aufsätze», 1 Band, S. 216. [↑](#footnote-ref-127)
128. „Briefe und Aufsätze", I Band. S. 341. [↑](#footnote-ref-128)
129. „Крестьяне на Руси", стр. 19. [↑](#footnote-ref-129)
130. „Einleitung zur Geschichte der Mark-Hof-Dorf und Stadtverfassung", S. 183. [↑](#footnote-ref-130)
131. Ibid., S. 129-134. [↑](#footnote-ref-131)
132. Brentano „Das Arbeitsv. gem. dem heut. Recht", S. 30. [↑](#footnote-ref-132)
133. „Das Kapital" S. 572. [↑](#footnote-ref-133)
134. „Zeitschrift für die ges. Staatswissensch.", I u. II Heft. 1878. S. 223—4. [↑](#footnote-ref-134)
135. „Zur Beleucht. etc.", В. I, S. 98. [↑](#footnote-ref-135)
136. „Zur Erkenntnis etc.", S. 29. [↑](#footnote-ref-136)
137. Das Kapital, S. 615-616. [↑](#footnote-ref-137)
138. Ibid., S. 619. [↑](#footnote-ref-138)
139. „Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft" S. 238. [↑](#footnote-ref-139)
140. „Zur Erklärung etc. der Kreditnoth, I Th., S. 123. [↑](#footnote-ref-140)
141. Works, p. 20. [↑](#footnote-ref-141)
142. Ср., „Zur Erkenntnis unserer staatsw. Zustände", S. 160-161. [↑](#footnote-ref-142)
143. См. „Zur Kritik der politischen Oekonomie", von Karl Marx, Berlin 1856, S. 61. [↑](#footnote-ref-143)
144. К а г 1 M a r x, „Zur Kritik etc." S. 46. [↑](#footnote-ref-144)
145. Ibid., S. 63. [↑](#footnote-ref-145)